

МАКСИМ ЦАГАРАЕВ

ОСЕТНИСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Г

Г

Г





О С Е Т И Н

МАКСИМ
ЦАГАРАЕВ

Повести
и
рассказы



Советский
писатель

Москва

1965

БЫЛЬ

С К А Я

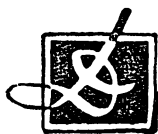
ПЕРЕВОД С ОСЕТИНСКОГО



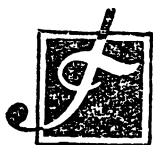
Автор этой книги — талантливый осетинский прозаик Максим Цагарав. Его повести и рассказы из народной жизни Осетии переведены на русский и другие языки народов СССР и пользуются заслуженным признанием и любовью читателя.

В остросюжетной и динамичной повести «Пастух Черной горы» изображена жизнь и борьба горцев — рабочих и крестьян-бедняков — в предреволюционные годы. Повесть «Осетинская быль» написана на современную тему — о людях осетинской деревни в наши дни.

Рассказы М. Цагарав, включенные в сборник, интересны по содержанию. Образность языка, лиризм и поэтическая символика характерны для стиля этих произведений.



убок на скале



оры. Могучие, белоснежные. На их вершины опирается синее-синее небо. Сколько чудесного видели они, сколько легенд о них переходит из поколения в поколение! Наверное, они и молчаливы потому, что многому были свидетелями. Горы рожают людей храбрых и сильных. Рядом со слабыми они и сами выглядели бы не так мужественно.

Как великолепна и замечательна жизнь! Вот я стою над шумной и озорной горной речкой и вижу крошечный кусочек земли, величиной с ладонь. Может быть, кто еще помнит и расскажет, как появилась эта земля на голой скале? Чьи неутомимые и упорные руки принесли ее сюда? Чьим потом и кровью полита тропинка в скалах, ведущая на гору? Кто оградил эту собранную по крупинке и перенесенную на скалу землю от ветра и дождя каменной изгородью? Кто же?

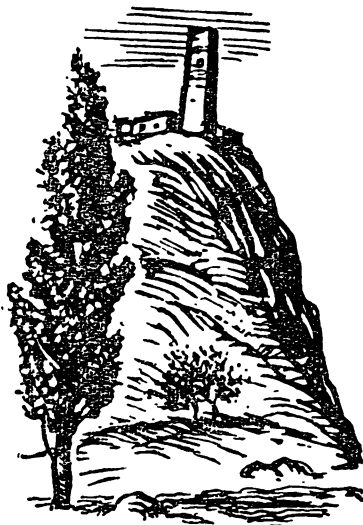
Горец! Сильный и упорный, мужественный человек. Там, где ступала его нога, оживали кам-

ни, мертвые скалы начинали дышать и говорить языком буйных трав и ярких цветов.

Видишь, в скалу вцепился черными крепкими корнями, похожими на медвежьи когти, дубок. Вокруг не было ни единой травинки, ни кустика. Порыв бури оторвал его от родной семьи и занес на эту голую скалу. Он зацепился за нее и выжил, выстоял. Ласковые лучи солнца отогрели его, разгладили помятые резные листья, обильная роса залечила его раны. Окреп и возмужал дубок. Еще глубже пустил свои корни. Теперь он гордо смотрит вниз, в ущелье. Благодаря ему на скале появилась жизнь. И он не одинок уже. Рядом кусты и травы. Вместе они радуются лучам солнца. Ему не страшны теперь зимние ураганы. Тихо колышутся резные листья, и кажется, шепчет дубок, чуть слышно говорит мне на ухо:

— Ты знаешь, как я появился и жил здесь. Смотри и помни: моя судьба очень похожа на судьбу твоих предков-горцев.

РАССКАЗЫ



ПАМЯТНИК В ГОРАХ
*
КОММУНИСТ
*
РОЖДЕНИЕ ПЕСНИ
*
КРЕСТИНЫ
*
МИЗИНЧИК ЗАРЕМЫ
*
БУДИЛЬНИК
*
ГАБОЦИ ОПЯТЬ ЗАСМЕЯЛСЯ
*
ЧУЖОЙ
*
УКРАДЕННАЯ ПЕСНЯ
*
ФОРЕЛИ БЫДЗЫГО
*
ГОСТИ



амятник в горах

1



центре села, возле нихаса, где обычно собирались крестьяне, чтобы решать свои дела, остановился всадник. Взяв кнут в левую руку — так держит кнут вестник несчастья, — он спрыгнул с коня и, не проронив ни слова, опустил глаза в землю. Вороной поджарый конь тяжело дышал, тонкие ноздри его раздувались, из них вырывались белые клубы пара. Грустными глазами глядел конь сквозь заиндевелые ресницы на встревоженные лица людей. Все больше народа собиралось на нихасе, но никто ни о чем не спрашивал приезжего и даже близко не подходил к нему. С поникшей головой молча стоял он поодаль от толпы.

Но вот вперед вышел высокий, крепкого сложения старик. Крупные, как бусины, теплые слезы, оставляя влажный след, катились по его небритым щекам. Обветренные, посиневшие от мороза губы чуть заметно шевелились. Приезжий поднял взгляд и узнал отца своего Аузби. В добрых и умных глазах старика была тоска. Огрубевшие руки, много потрудившиеся на своем веку, дрожали. И чтобы скрыть дрожь, он все крепче сжимал жилистыми пальцами суковатую березо-

вую палку. Сделав несколько несмелых шагов, Аузби приблизился к сыну и спросил еле слышно:

— Какое горе постигло нас?

— Скончался. Отец, нет больше того, к приезду которого ты с такой любовью выращивал быка, чтобы устроить пир...— снимая лохматую папаху, ответил сын и смолк. Комок подкатил к горлу и не давал говорить.

Молча склонив головы, люди сняли шапки. Мертвая тишина воцарилась над площадью. Только ветер, словно дикий зверь, завывал в горах да снежинки, медленно кружась, опускались на обнаженные головы.

— Люди добрые! — комкая в руках шапку, воскликнул Аузби.

Он хотел еще что-то сказать, но в груди его словно что-то оборвалось, дыхание перехватило, глаза застлал серый туман. Аузби все крепче опирался на палку, но и она подвела, он покачнулся. Твердая рука Батырбека подхватила старика.

— Зачем ты поторопился приехать, сын мой? — придя в себя, упрекнул его Аузби.— Остался бы возле праха. Позор, если никого из наших там не будет.

К ним подошел мужчина средних лет, в темно-серой черкеске. Согласно обычаю, он несколько секунд постоял в скорбном молчании и только потом заговорил.

— Отныне лишь хорошие вести приноси нам, дорогой Батырбек! — Голос его звучал печально. И, поздоровавшись с Батырбеком за руку, он спросил: — Когда хоронят?

— В пятницу. Скончался вчера, в понедельник, — ответил Батырбек.

Сумерки спустились над селом, а народ не расходился. Все взоры устремлены были на траурный стяг, развевавшийся над сельсоветом. Злая вьюга с таким неистовством трепала его, точно хотела сорвать и унести, чтобы не верили люди разразившейся над ними беде. Старый Аузби глядел на трепещущий флаг, и ему каза-

лось, что это душа народа мечется и стонет в тяжком горе.

Лютые морозы стояли в эту зиму в горах. Старики таких не помнят. Ледяной коркой оделись дороги. По ночам трескались от стужи скалы и оглушительно скрипели деревья. Застыл, заиндевел сосновый бор, на опушке которого, словно боясь сорваться в пропасть, прилепилось село Фазикау. Как ретивый всадник, гарцевала выюга по узким улочкам, поднимала тучи снежной пыли, наметала высокие сугробы.

Фазикау — это значит село на поляне. Кому пришло в голову назвать его так? Разве только в насмешку! Ведь во всем селе, кроме маленькой каменистой площади возле сельсовета, места ровного нет. Дома громоздятся друг на друга, на улицах две арбы разъехаться не могут — так узки они. Длинные полосы пахотной земли и луга, покрытые летом цветущей азалией, из села не увидишь — их скрывает от глаз скалистый гребень горы. Правда, на перекрестке трех дорог, что ведут к селу, есть ровная площадка. Может, потому и называли село Фазикау?

Дико, злобно воет буря. Скрипит дверь в плосккрышей сакле старого Аузби. Прыгает пламя в лампе, и темные тени, обгоняя друг друга, бегут по каменной стене. Еле теплится огонь в очаге. Не спится Аузби...

Он вернулся из хлева, где кормил отрубями бычка. Едва старик показался на пороге, как бычок, фыркая, бросился ему навстречу и шершавым языком стал лизать ладони. Аузби расчувствовался и поспешил уйти. Засунув руки в рукава шубы и надвинув до бровей лохматую папаху, расхаживал он взад и вперед по сакле, вымеряя шагами земляной гол. Батырбек до сих пор не пришел. Аузби беспокоился: о чем они толкуют весь вечер, какое решение приняли? Э, сколько бы ни совещались они в сельсовете, все равно им ничего не придумать лучше того, что придумал Аузби. Ему не терпелось скорее рассказать все

сыну. Не может быть, чтобы Батырбек с ним не согласился.

А ветер все выл. Так завывал он в ту ночь, когда скончался отец Аузби. Седьмой год шел тогда мальчику, но он на всю жизнь запомнил эту скорбную ночь. В доме ночевали соседки, — так велит обычай, нельзя оставлять семью наедине со своим горем. Плач не прекращался. Женщины, причитая, рыдали над покойником, печалились о том, что станет с бедной вдовой и несчастными сиротами. Не плакала только мать Аузби. Неотрывно смотрела она на бледное лицо мужа, губы ее шевелились, казалось, она разговаривала с усопшим, но слов ее никто разобрать не мог. Аузби прижался к материнским коленям, и вдруг теплые слезы упали на его лохматую голову. Мать обняла единственного сына, что-то заклокотало у нее в груди. Это билось в безысходной тоске материнское сердце. Оно словно кричало:

— На кого ты покинул меня, горе мое? За что учинил над нами расправу, безжалостный ты наш кормилец?

Стараясь отогнать мрачные воспоминания, старик поднялся и снова зашагал из угла в угол. Но не так-то легко уйти от гнетущих тяжелых дум. Картины давно минувших лет, одна мрачнее другой, всплывали в его памяти. Сиротство, одиночество... Куда только не забрасывала его судьба, в чьих только домах он не трудился, за чьим скотом не ухаживал! Кусок черствого чурека был высшей наградой за непосильный труд. Разве не о нем писал Коста, извечный заступник горских бедняков:

И упреков, и побоев
Сколько испытал!

Стар Аузби, годы назад не вернешь. Об одном он жалеет: почему раньше не пришла эта новая жизнь? Но недаром гласит народная мудрость: все хорошо, что хорошо кончается. Сын вон в какие люди вышел! В районе работает. Да и сам Аузби не сдается. Настанет весна, и он

обязательно выйдет в поле, разомнет онемевшие за зиму кости. Нет, не время сейчас стареть.

Воеет ветер, стонет дверь. Уже перевалило за полночь, а Батырбека все нет. Хрипло прокричал какой-то непутевый петух. Который час? Нет, не может сегодня старый Аузби сладить со своими мыслями: как волны разбушевавшейся реки, набегают они друг на друга. Одна мрачнее другой, и кажется, будто их не остановить. А тут еще ноги разболелись. Чтобы хоть немного утишить боль, Аузби подсел к очагу. Может, от тепла станет легче? Он подбросил полено и не отрываясь смотрел, как огонь выцеживает из березового полена живительные, пахнущие весной соки. Почему эта горящая головешка напомнила ему давний осенний день, невеселый день его жизни?...

Словно въявь видит Аузби: стоит он с друзьями на нихасе. Вдруг въезжает на нихас картавый Майрам Губаев. Вид у него такой гордый, будто он один только что взял неприступную крепость Карс. Он слез с коня и развязно крикнул:

— Добрый день, голоногая молодежь Фазикау! Вот я и вернулся... А вы что? Объяедаюсь с богатого пира дожидаетесь? Тогда прошу ко мне! Клянусь землей и небом, сын Губе всех накормит вдоволь... Двух баранов хватит? Пара баранов в моем стаде все равно что капля в море!.. Четыреста голов в стаде у сына Губе!

— Ехал бы ты подобру-поздорову, — не сдержался Аузби. — Чего расхвастался, хмельная твоя башка?..

— О-о, сам Аузби! А я-то гадаю: откуда па нихасе тухлятиной потянуло? Не знал, что батрак наш сюда явился... Сучий сын, сволочь! — вдруг визгливо заорал Майрам и схватился за револьвер. — Давно ты стоишь у меня поперек горла!

Раздался выстрел, и белый клубочек дыма на мгновение повис в воздухе. Аузби вздрогнул, глаза его налились кровью, и он разъяренно бро-

сился на Майрама. Не помня себя от гнева, Аузби поднял Майрама над головой и, точно мешок с мякиной, со всего маха швырнул о камни. Минуту Майрам бился в агонии — потом из груди его вырвался протяжный звериный крик:

— Уби-или!..

Кровь хлынула из горла, глаза закатились.

— Торопись скрыться, Аузби! — окружив его, советовали товарищи. — Иди, мы постоим за тебя перед Губе и его родичами.

— Никуда не уйду. На языке оружия поговорю я с Губе, — упрямо и гордо твердил Аузби. — Сам буду держать за себя ответ! — Но вдруг он покачнулся и схватился за левую ногу. — Перевязать бы... — пробормотал он смущенно, и в глазах у него потемнело.

Узнав о гибели единственного сына, Губе пришел в ярость и стал угрожать кровной мстью. Старики отправились было к Губе, чтобы уговорить его простить Аузби, но он их даже на порог не пустил.

Однажды мгlistой темной ночью в селе появились неизвестные люди. Никто не сомневался, что это убийцы, подкупленные Губе. Аузби пришлось уйти из села. На этом настояла мать. Больной, с открытой раной, покинул Аузби родной дом. Прощаясь, он сказал:

— Губе думает, если он богатый, ему все дозволено! Но я не прощу обиды даже самому господу богу! Передайте Губе: если с головы моих близких упадет хоть один волос, я истреблю весь его род. И пусть не воображает, что я трус и прячу свою голову в глухих ущельях. Я готов встретиться с ним с глазу на глаз в любое время и в любом месте!

Эти слова испугали старую лису Губе. А тут еще вскоре разнесся слух, что Аузби стал абреком. Губе совсем перетрусил и не смел тронуть семью Аузби. Теперь, встречаясь на нихасе со стариками, Губе произносил льстивые елейные речи:

— Не будет у меня в жизни дней тяжелее нынешних! Беспризорна старость моя! Кто похо-

ронит мои старые кости? Кому нужна беззащитная голова? Для чего мне жизнь? Признаюсь: сын мой повинен был, первым затеял ссору. Но с кем мириться, где Аузби? Чего он боится? Зачем скрывается?

В селении хорошо знали повадки Губе и не верили его сладким речам. Впрочем, кто мог сказать, где скрывается Аузби? Не легко найти человека в Кавказских горах...

Аузби жил в Алагирском ущелье у родных матери. Там познакомился он с человеком, который хоть и не знал ни слова по-осетински, но вскоре стал для Аузби самым близким другом. Звали его Федором. От него впервые услышал Аузби слова, от которых светлела душа и легче становилось жить. Федор говорил, что скоро станут новые времена, богатых прогонят, а земли их разделят между бедняками. Он назвал имя того человека, в знак кончины которого приспущен сегодня траурный стяг над сельским исполкомом...

Воет, свистит ледяной ветер. Далеко-далеко уносят мысли старого Аузби. Он даже не слышит жалобного скрипа двери. Давно догорела березовая головешка, а старик все сидит у очага, потирая шершавой ладонью шрам от бывшей раны. Но вот клубы морозного дыма заполнили комнату. Аузби очнулся и увидел на пороге Батырбека.

— Вернулся? Наконец-то! — обрадованно воскликнул он. — Что решили?

— В пятницу, на поляне у развилки трех дорог, будет траурный митинг. Приедут соседи из окрестных сел... Еще хотим именем его назвать школу в Березовке, — ответил Батырбек, грея над очагом оковеневшие руки.

— Школу? Это хорошо. И что из других сел придут — тоже хорошо... Но и нам с тобой есть о чем подумать! Ложись, я разбуду тебя на рассвете. Хоть и не расспросил я тебя о твоём городском житье-бытье, да ладно уж, отдыхай! Вид у тебя нехороший, кашляешь. Уж не простудился ли в дороге? — Старик поднялся и, кутаясь в

шубу, добавил: — Ложись! А я пойду, в катух загляну,— кажется, забыл бычка привязать.

Батырбек не стал предлагать свою помощь, понимал: старику хочется побыть одному. И в самом деле, Аузби даже не заглянул в катух. Прислонившись к холодной каменной ограде, он стоял возле ворот, подставляя лицо ледяному ветру. Смотрел вдаль.

Ветер разогнал тучи, небо очистилось, и на нем холодно и равнодушно поблескивали высокие звезды. Аузби казалось, что они посинели от мороза. Луна опустилась за горы, но ее бледные лучи еще бродили по краю неба, тускло освещая вершину Цораева ледника. Все так же бился траурный стяг над сельсоветом, и Аузби казалось, что ветер вот-вот сорвет его и понесет над горами, ущельями, аулами, оповещая всех о великом горе.

Плач, вой, январский ветер! Рыдайте, горы и скалы! Никогда еще не слышали вы столь скорбной вести!

2

Рано утром, едва первые лучи восходящего солнца окрасили горные вершины, отец и сын направились вверх по ущелью. Чистый, только выпавший снег слепил глаза. То справа, то слева мерцала ярко-синяя ледяная гладь реки. Ветер утих, но мороз продолжал свирепствовать: обжигал лицо, забирался под шубу.

Аузби молча шагал впереди. Батырбек следовал за ним, глядел на его широкую, согнувшуюся от старости спину и тоже молчал. В руках он нес лом и молот.

— Давно не ходил я по этим тропам, — заговорил Аузби. — Но там есть, есть этот волшебный камень... Поторапливайся, к пятнице успеть надо...

Когда-то давным-давно, разыскивая заблудившихся овец, Аузби забрел в это ущелье и увидел там необыкновенные камни — белые, свер-

кающие словно серебро. Вчера, когда пришла в село тяжкая весть, старик твердо решил: только из этого камня должен быть сделан памятник.

Порой Аузби останавливался, оглядывался, смахивал со лба выступавшие капли пота и снова шагал дальше, тяжело опираясь на березовую палку. Время от времени он предупреждал сына:

— Осторожно: здесь опасно. Иди по моим следам...

— Не тревожься за меня, отец, — отвечал Батырбек и послушно шел за ним.

Не впервые поднимался Батырбек по этой дороге. Он и раньше бывал в ущелье Туров, но камней, о которых говорил отец, видеть ему не приходилось. Должно быть, в глухом месте спрятааны они, если, кроме старого Аузби, никто о них не знает.

С детства повторял сыну Аузби: труд украшает горца. Если сызмальства не привыкнешь трудиться, потом в поле спины не разогнешь. Человек, который не умеет трудиться, обуза для народа, трутень...

На всю жизнь запомнил Батырбек эти слова. И сейчас, идя по следам отца, вспоминал, как, бывало, на рассвете он будил его, маленького, сонного, и брал с собой в поле. Батырбек просыпался с трудом, долго тер слипающиеся глаза, сладко и долго зевал. Не открывая глаз, поворачивал к отцу лицо, словно умоляя: еще минутку поспать, одну только минутку! Случалось, что жалость брала верх в отцовском сердце. Потоптавшись в нерешительности, Аузби снова укладывал сына в постель и уезжал один. Батырбек до сих пор помнит, как тоскливо бывало у него на душе в такие дни. Он места себе не находил, дожидаясь, когда вернется отец. Зато чего только не привозил Аузби своему баловню: и бруснику, и малину, и лесной пчелиный мед...

— Ты еще помнишь вершину Дзири? — спросил вдруг Аузби, словно отвечая на мысли Батырбека.

— Еще бы! — усмехнулся Батырбек.

Вершина Дзири... Давно это было. Так же,

как сейчас, послушно шел он, еще мальчик, по следам отца. Только тогда было лето, солнце стояло высоко и склоны гор весело пестрели цветами. Жужжали пчелы, порхали бабочки. Батырбек гонялся за ними, то и дело сбегая с узенькой тропинки. Кругом было так красиво, воздух чист и прозрачен. Сердце мальчика переполняла благодарность к отцу за то, что тот взял его с собой. Новые чувяки скользили по шелковистой траве. С каким удовольствием Батырбек снял бы их, да отец не позволял. Он то и дело покрикивал: «А ну возвращайся на тропинку! Или хочешь в пропасть свалиться?..»

Батырбек возвращался, но через минуту, забыв о предупреждениях отца, вновь бежал за пестрокрылой бабочкой. И случилось то, чего так опасался Аузби,— Батырбек поскользнулся. Очнулся он на отцовских руках. «Крепись, мой мальчик,— ласково говорил Аузби.— Все будет хорошо...»

Батырбек взглянул в бледное, перепуганное лицо отца и понял: он успокаивал не только сына, но и самого себя. Болела голова, саднили исцарапанные щеки, правая рука не двигалась,— казалось, на ней висел многопудовый камень. Аузби оторвал рукав от своей нижней рубахи и перевязал голову Батырбека, обложив ее душистыми травами.

Как мог Батырбек позабыть вершину Дзири!

«Видно, я ему и сейчас кажусь маленьким, вот и вспомнил эту историю»,— подумал Батырбек и поймал себя на том, что теперь он боится за отца и следит, как бы старик не поскользнулся.

Справа, из-за самой высокой вершины, выплыло белое пухлое облако. Аузби поглядел на него и покачал головой.

— Недобрая это примета, торопись, сын мой! — сказал он и, глубоко воткнув в снег свою корявую палку, легко перепрыгнул через большой камень.

Прошли еще немного. Белое облако исчезло, и, словно торопясь ему на смену, из-за гор потя-

нулись тяжелые серые тучи. Небо помутнело, снежные хлопья закружились в воздухе. Идти стало трудно, но старик упорно продолжал путь.

— Вот и добрались! — обрадованно воскликнул он, указывая на высокую скалу. Потом быстро спустились к высохшему руслу, где когда-то протекала небольшая речка.

Батырбек бросил на землю инструмент и, вытирая пот с разгоряченного лба, посмотрел туда, куда указывал ему отец, однако он ничего не увидел. Все вокруг было серым. Солнце ушло за тучи, и крупные хлопья снега, падавшие с серого неба, тоже казались серыми. Ветер подхватывал их и уносил вниз, в серое ущелье.

— А ну, сынок, дай-ка сюда лом! — повелительно крикнул Аузби, и эхо гулко повторило его слова.

Батырбек взял инструменты и подошел к отцу. Аузби стоял возле длинного камня.

— Видишь вон ту скалистую вершину? — обратился он к сыну. — Эти камни оттуда. А когда их промоет дождь, как заблестят они, как заиграют! — Старик полой шубы смахнул с камня снег и продолжал: — Возьми-ка молоток да сруби с него острые углы. А потом мы перевернем камень и столкнем вниз. Если не застрянет по дороге, вон в той груде осыпи, — долетит до окраины села. А там нам помогут...

Батырбек со всей силой ударил молотком по камню. Отвалился небольшой кусочек. Батырбек нагнулся и взял его в руки. Место надлома сверкало множеством серебристых блесков.

— Волшебный камень! — в восторге воскликнул Батырбек. — Почему ты до сих пор молчал, отец?

— Таких сокровищ в наших горах много, — с гордостью ответил Аузби. — Не беспокойся, я уже послал в район образцы. А теперь поторапливайся, сын мой, надо засветло вернуться домой.

С помощью лома они перевернули камень на гладкую сторону и столкнули с высоты. Оглушительный гул прошел по ущелью. Камень по-

катился по узкой тропе, и далеко в горах откликнулись раскаты эха. Следом за ним спешили Аузби и Батырбек. Встречный ветер безжалостно хлестал их разгоряченные, потные лица, слепил глаза. Крупные снежинки падали на лоб, на щеки и тут же таяли.

Устал Аузби. Ноги не слушались его. Но старик не сдавался и продолжал идти впереди сына. Трудно было спускаться по крутому обледеневшему склону. На одном из поворотов Аузби чуть не сорвался в пропасть, но Батырбек вовремя подоспел на помощь. Порою след камня терялся в глубоком снегу, и тогда приходилось возвращаться и проследивать весь отрезок пути, проваливаясь в сугробы чуть ли не по самые плечи. Наконец они добрались до груды осыпавшихся камней, среди которых, белый от снега, нерушимо лежал заветный камень.

Аузби и Батырбек снова перевернули его и подтолкнули. Старик постоял, прислушиваясь.

— Теперь сам доберется, куда надо,— со вздохом облегчения проговорил он и вдруг пожаловался: — Старая рана... Разболелась. Ступить не могу...

Он тяжело опустился на большой придорожный камень. Батырбек склонился над отцом и заглянул в его побледневшее лицо. Потом встал на колени и быстро разрезал кинжалом ноговицу из грубой домотканой шерсти. Нога Аузби посинела и распухла. Лицо его искривилось от боли.

3

На следующее утро Аузби не мог подняться с постели. Мучила старая рана. Ничего не помогало: ни горячие кирпичи, которые Батырбек прикладывал к больной ноге отца, ни целебные травы, ни ржаные отруби. Всю ночь Аузби не сомкнул глаз и только к утру немного забылся. И тут кошмары, словно поджидая, набросились на старика. Ему мерещилось, что крадется с кинжалом Майрам, а чуть поодаль, за изго-

родью, стоял Губе. Он подзадоривал и науськивал сына... Аузби уговаривал их одуматься, покончить дело миром, но спесивый Майрам знать ничего не хотел. Аузби бросился на врага, сбил его с ног. А тут Губе выскочил из засады, кинулся на помощь сыну. И вот они уже лежат рядом, поверженные, у ног Аузби.

Очнувшись, старик глубоко вздохнул, провёл рукой по ноге.

Острая боль не утихала. Он вспомнил, как прошлой осенью, когда Губе пытался поджечь сельсовет, его вели по селу под конвоем, небритого, с завязанными глазами. Он кричал в бесильной злобе:

— погоди, Аузби, мы ещё встретимся! Я отомщу за все: и за овец, и за отнятые земли, и за кровь моего сына!.. О, как я мечтал, чтобы сгорел твой выродок! Сегодня на вашей улице праздник, Аузби! Но это ненадолго! Плачут по ярму ваши шеи. Мы не дремлем!..

Аузби ответил ему тогда спокойно, с достоинством:

— Ты прав. Сегодня на нашей улице праздник, и не будет конца этому празднику. Ярмо, о котором ты твердишь, мы сожгли, и пепел его развеяло ветром. А с теми, что целятся в наши лбы и хотят прервать наше дыхание, мы скоро расправимся!

Аузби, кряхтя, поднялся и сел на постели. Со двора доносились лязганье железа и глухие удары. С трудом, цепляясь за стены, старик добрался до двери и распахнул ее. Во дворе он увидел сына. В одной руке Батырбек держал зубило, другой стряхивал со лба крупные капли пота. Повеселевшими глазами глядел Аузби, как Батырбек и его друзья возятся с камнем.

— Как будто неплохо получилось... А что вы там ещё делаете? — спросил он.

— Надпись, отец, — ответил Батырбек и ударил молотом по зубилу.

— Какую надпись?

— Имя его и от кого поставлен...

— Как вы пишете? От кого же?

— От жителей нашего аула.

Аузби с минуту постоял в раздумье, потом подошел ближе и негромко проговорил:

— Нет, дети, неверно это! А что скажут те, кто придет сюда завтра из окрестных сел? Пишите так: «От горских народов». Это будет как раз то, что нужно...

— Правильно говоришь, Аузби,— дружно поддержали все старика.

4

Утро в пятницу выдалось морозное, вьюжное. Дул сильный ветер, наметая высокие сугробы. Но никто не обращал внимания на непогоду. У развилки, где сходились три дороги, собрались жители аула. Поляну очистили от снега и камней, разровняли, приготовили к приезду гостей.

Возле родника, бережно закутанный в бурку Батырбека, темнел памятник. Казалось, утомленный путник остановился на мгновение, чтобы отдохнуть и утолить жажду. Бьет ключом родник, и его веселое бульканье гулко отдается в морозном воздухе. Аузби доволен: хорошее место выбрали для памятника. Летом не иссякает родник, зимой не замерзает, из окрестных сел приходят сюда люди, чтобы набрать прозрачной студеной воды. Здесь останавливаются путники,— три дороги сходятся возле родника.

Аузби смотрел на памятник, и ему казалось, что вот-вот спадет бурка и навстречу выйдет желанный гость, протянет руку и скажет:

— Это ты, Аузби? Я пришел в гости к вам, горцы!

Как ждал этого Аузби! Его усталое сердце верило, что настанет день, когда он наконец встретится с тем, кто первый заговорил, как равный с равным, с обездоленным народом. Конечно, Аузби не знал, когда произойдет эта встреча, но каждый день готовился к ней. Все обдумал Аузби: и какое слово сказать на пире и каких людей позвать... К этому празднику он выхаживал и откармливал бычка.

Однажды Батырбек сказал ему:

— Отец, не хочу огорчать тебя, но сам знаешь, горькая правда лучше сладкой лжи. Подумай, сколько на земле таких людей, как мы. Кто не мечтает о встрече с ним? Даже солнце не может обогреть всех сразу...

— Да,— вздохнул старик.— Твоя правда... Но мне кажется, никому не сделал он так много добра, как нам, горцам. Приехал бы, отдохнул, подышал горным воздухом. А если не приедет, пошлем ему, по нашему обычаю, в день рождения почетную долю: ляжку бычка и чашу осетинского пива...

Не сбылись мечты старика!..

К полудню площадь заполнилась народом. С траурными знаменами пришли люди из соседних сел. Поднявшись на телегу, Батырбек снял шапку и, оглядев собравшихся, громко сказал:

— Люди добрые! Сегодня все народы провожают в последний путь самого близкого, самого родного человека. Низко склоняют они головы над его прахом и дают торжественную клятву довести до конца его дело. Огонь, что зажег он в сердцах простых людей, никогда не угаснет. Имя его, как факел, будет освещать наш путь.

Молча слушали люди скорбную речь Батырбека. Слушал ее и Аузби. Гордость за сына переполняла его душу. Он смотрел на его бледное, усталое лицо. Слезы навертывались на глаза.

Взоры всех устремились на памятник. Батырбек скинул бурку, и гул восхищения прошел по толпе: камень сверкал и переливался, словно усыпанный мириадами серебряных блесток. Скорбно и торжественно прозвучал голос Батырбека:

— Клянемся тебе, дорогой Ильич, что горские народы никогда не свернут с проложенного тобой пути!

В морозном воздухе возникла и поплыла мужественная песня. Она ширилась, нарастала, и вместе с ней росло удивление Аузби,— никогда не слышал он, чтобы пели на похоронах. Толкнув

локтем стоявшего рядом с ним юношу, он попросил, чтобы прекратили пение. Но юноша отрицательно покачал головой.

— Эту песню пел сам Ленин...— шепнул он.

К Аузби подошли старики, прибывшие из других сел.

— Благодарим тебя, Аузби! Да пойдут твои заботы впрок великому делу того, кто покинул нас навеки. Ты за всех потрудился, исполнил наш долг.

Аузби не сразу понял, за что благодарят его гости. А когда понял, сказал:

— Пусть это будет последнее наше горе! Отныне только добрые вести слышать нам из уст друг друга!

Сквозь разрывы облаков глянул на мгновение огненный глаз солнца, и в золотистых лучах заиграл разноцветными искрами чудесный камень. На вершине его широко раскинул могучие крылья горный орел. Казалось, он вот-вот взлетит и понесет по ущельям, аулам, равнинам заветные думы собравшихся...

оммунист

Сергею Марзоеву

оросит. Плачет осеннее небо. Крупные редкие слезы роняет наше старое ореховое дерево. Сбившись в кучки, безмолвно, неподвижно стоят под ним люди. В небе застыли иззябшие, потрепанные ветром тучи. Огромные, набухшие влагой, они нависли над всей землей и хмуро смотрят вниз. Как я, как все, кто пришли отдать последний долг умершему.

Люди идут, идут... Мужчины, женщины, далекие, близкие. Нет конца людскому потоку, будто вся Осетия стекается к нашему дому. За плетнем люди, машины, оседланные лошади...

Возле меня во дворе — старейшины нашего рода, старики-соседи, они тихо переговариваются:

- Эти из Куртатинского ущелья...
- Эти из Алагирского...
- Из Даргавского...
- Из Заманкула...
- Хорошо жил с людьми Темуры...

Они говорят о моем отце, о Темуры... Потому и подозревали меня, потому и соболезируют мне люди. Мне, младшему из детей Темуры.

Плачут мои сестры. Их пятеро. Плачут их

дочери, их сыновья. Надвинув шапки на брови, бегают, прислуживают мои зятя.

Лежит отец мой Темырци в красном гробу. Из душных комнат вынесли его в сени. У изголовья стоит моя мать. На ней черная косынка, черная одежда. Она низко склонила голову, беззвучно шевелит губами. Дрожащие, тонкие пальцы перебирают концы косынки. Она смотрит в холодное лицо Темырци. О чем-то спрашивает его, о чем-то неслышно молит.

«Хоть раз, хоть один раз взгляни на меня! Почему молчишь? Все пришли к тебе... Никогда еще в нашем доме не было столько народа, даже когда ты выдавал замуж своих дочерей. В горах и на равнине нет места, откуда бы не пришли люди. Смотри, вот твой названный брат из Куртатинского ущелья Бабо. За ним пришли люди со всего ущелья. Вот друг твой Касполат из Заманкула. Ты вспоминал о нем перед самой смертью. Приехали большие начальники из города, все собрались к тебе. Хоть раз, в последний раз взгляни на своего сына, на своих дочерей. Скажи им что-нибудь... Или ты, как всегда, спешишь? Нет у тебя времени? Когда же теперь оно будет? Никогда у тебя не было времени для своей семьи, для детей. Сколько раз засыпали они, не дождавшись твоего прихода? Сколько раз искали тебя утром в пустой постели?.. Каким праздником были для них дни, когда ты оставался дома. Редко это случалось. Ты спешил к людям, тревожился за них, болел душой за всех. Потому и называли тебя коммунистом.

Все было в нашей жизни. Помнишь, как, истекавшего кровью, принесли тебя в дом? Ты накрыл кулаков, поджигавших колхозные амбары.

Две кулацкие пули... С каждым годом ты сильнее хромотал из-за старой раны, все глубже становился шрам на лбу. Где же теперь Масыкаевы? Почему не пришли на похороны? Совести не хватило? А если кто и придет, стыдясь укоров соседей, радость принесет в своем сердце, а не скорбь. На радостях испекут в жертву богу три пирога, не пожалеют и последнюю корову.

Еще бы! Умер их лютый враг. Смотрят сейчас в щели окон, дивятся, сколько людей пришли отдать тебе последний долг. Пусть задохнутся от злобы...»

Снова и снова мать ищет меня взглядом. Смотрит, будто хочет спросить:

«Сумеешь ли ты заслужить уважение народа? Сможешь ли ты занять место отца? Сможешь! Ты его кровь, его отпрыск...»

О, этот взгляд! Я научился понимать его без слов. И отец, и все пять сестер, и шестнадцать внуков — все понимают этот взгляд... Маленькие черные глаза. Сколько силы, сколько в них огня! Пусть они больше не плачут, пусть не слепнут от слез. Я сын старого коммуниста, сын Темырци. Видишь, меня поставили рядом с собой старейшины нашего рода? За старшего в семье мужчину считают меня...

Смотрит мать на Темырци, молит его глазами. Ничего ей не говорит Темырци. Будто уснул с устатку. Не дрогнут его поседевшие усы, не взмахнут густые ресницы...

Все выше подпирает комок в горле. Задыхаюсь. Кажется, будто глаза заливают кровью, отяжелела голова. Сердце сжимается от плача сестер...

Товарищей, своих сверстников, никогда я еще не видел такими печальными и послушными. Наш бригадир Бадила Марзаев второй день не присядет, не отдохнет. Всех извещает о несчастье, всем прислуживает. Вон он стоит на лестнице, к сельсоветскому знамени прикрепляет черные каймы. Ребята ему помогают, а он молча командует кивком головы, движением бровей... Вот он спрыгнул с лестницы, скрылся в толпе со знаменем в руках. Я почувствовал чье-то теплое дыхание на мокрой шее.

— Накинь плащ: простудишься, — сказал Бадила, набросил плащ на мои плечи и исчез.

Какой он быстрый, Бадила, как умеет подумывать о других. Чем я отплачу ему за заботы? Да не только ему — всем, кто работает со мной. Ребята даже не переменили одежду, оставили

в поле свои тракторы и пришли сюда. Стоит под дождем и мой трактор...

Плачет, крупные слезы роняет ореховое дерево. Стучат дождевые капли по чужому плащу. В ушах стоит надрывный плач женщин, а мысли уносятся далеко, в детство...

...Я стою во дворе один. Полночь. Слышен конский топот. Верно, скачет конь отца. Как долго он едет! Цокот копыт все дальше, дальше... Вот он умолк за селом... Где ты, куда ты пропал, Темырци? Неужели председатель колхоза и ночью должен объезжать поля?

— Пойдем домой. Отец скоро приедет,— слышится голос матери,— верно, задержался у чабанов. Баранье ухо тебе привезет...

Нехотя плетусь за матерью. Долго сижу в постели, не смыкая глаз, жду Темырци, жду бараньего уха... Обида щекочет мне горло, но я засыпаю, не успевая заплакать. Кажется, только секунда прошла, а я оказался в объятиях Темырци. Крепко прижался к его волосатой груди, будто боюсь, что он убежит. Я слышу, как стучит его сердце, чувствую запах табака. Мне очень хорошо. И около моей кровати стоят новые ботинки. Это отец мне купил. Ах, как завтра будут завидовать мне ребята! И кто-нибудь скажет: «Конечно, если бы мой отец был председателем колхоза...»

Темырци о чем-то меня спрашивает. Я не слышал, переспросил, а он только крепче прижал меня к груди и мгновенно уснул.

Сколько таких ночей провел я в теплых объятиях отца!..

— Парень, очнись,— толкает меня в бок старейшина нашего рода.

Я подскочил на месте, будто и впрямь проснулся.

Тучи рассеялись, дождь перестал. Передо мной новые гости.

— Царство ему небесное...

Который раз жгучей болью отзываются в сердце эти горькие слова.

По обычаю, вытянулся я в струнку. Смотрю

на приезжих исподлобья. Незнакомые лица. Они подходят к гробу Тему́рци. Громко плачет моя мать. Заплакали и мои сестры.

— Гости из Кабарды. Угалуковы...— говорят старики.— Надо посмотреть за их конями.

Позвали Бадила. Он появился мгновенно и кивнул в сторону сада.

А там под деревьями стояли лошади. От них еще шел пар, но ребята расседлали их, задали корм — кукурузные стебли.

«Из Кабарды...» — повторил я про себя, и снова подступил к горлу комок. Во двор зашли работники фермы. Эти люди слышали последние слова Тему́рци. Успел добраться с поля на ферму и упал, как срубленный под корень дуб. Они принесли его в селение на черной его бурке. Безмолвные, понурые, усталые. Отец уже не мог говорить. Попытался что-то сказать мне глазами и скончался...

Я и не заметил, как слезы опять потекли из глаз. Сколько слез! Их нельзя остановить. Они как горные родники. Третий день не высыхают, не иссякают...

«Нехорошо, нехорошо мужчине плакать так много. Ты уже мужчина. Люди соболезнование выражают тебе. Единственному сыну Тему́рци, Созырыко».

Знаю, что не годится оплакивать того, кому воздаст честь такое множество людей, а слезы текут, не слушаются меня.

Что это? Музыка? Танцы? Может, мне чудится? Нет. Гул праздничного веселья доносится от Масыкаевых. В день похорон Тему́рци?!

Играют на гармошке. Хлопают в ладоши. Танцуют. Люди на нашем дворе замерли от удивления, повернулись к реке, будто готовые ринуться в бой, на ту сторону.

В глазах у меня потемнело, я рванулся к калитке.

— Спокойно! Обойдется без тебя! — кто-то сильной рукой схватил меня за локоть.

Меня окружили старшие. Бабо хмуро посмотрел и сказал:

— Я думал, ты крепкий...

Крепкий!.. Можно ли крепче? Масыкаевы в день похорон отца веселятся и радуются, а вы связываете мне руки. Когда они мне будут нужны больше, чем теперь? Может, вы спросите, что мы им сделали? Может, они веселятся, вспоминая, как подстрелили Темырци, как он годами страдал от раны? Может, мстят покойнику за то, что были сосланы в Сибирь? Не надо было грабить людей, совершать злодеяния, пресмыкаться перед немцами, резать для них баранов!

Я дрожу, разрывается сердце от бессильного гнева. Но сурово смотрит Бабо, стеной окружили меня старейшины нашего рода. Надо крепиться—старший большая сила. Сдерживаю себя, только глаз не могу отвести от двора Масыкаевых. К ним по мостику уже торопятся Касполат, Бадила и еще несколько человек. Как бы беды не натворили! Касполат постучал в ворота. Неторопливо вышел старый волк — Джамботт Масыкаев. Касполат спокойно объясняет ему что-то, показывает на наш дом. Джамботт снял перед ним шапку, трогает за локоть, приглашает войти...

А в доме еще громче взывала гармошка, еще сильнее затопали плясуны. Окруженная женщинами, с гармошкой в руках, в сених появилась приехавшая из города старшая дочь Джамботта. С силой растягивает она гармошку...

Бадила одним махом перепрыгнул через масыкаевский забор и очутился в сених. Рванул из рук девушки гармошку. Разорвал ее надвое. Еще раз скрипнула она где-то на берегу реки, ударившись о камень. Будто ветром сдуло женщин из сеней, исчез и Джамботт.

— Погоди, старый волк... Мне покуда не до тебя! — взъерошившись как медведь, шепчет Бабо и толкает меня локтем: — Парень, не отвлекайся...

Снова подходят гости, незнакомые мне люди.

— Царство небесное твоему отцу Темырци...

— Прожил честным человеком...

Так говорят о моем отце. О моем отце Темыр-

ци. Как надежный посох, поддерживают меня эти слова, выше поднимаю голову, сердцу становится легче.

...Тучи разорвались. Солнца не видно, но небо будто окрашено кровью. Стонет земля под ногами людей. Склонились траурные знамена. На древках повисли тяжелые капли.

На руках высоко подняли гроб Темырци Бабо, Касполат, Бадила, кабардинские друзья отца. Зашумело листвою наше старое ореховое дерево. Последними слезами плачет оно над Темырци.



рождение песни

*Когда болит сердце, даже из
высохшего глаза бегут слезы.*

Осетинская поговорка



Ветер. Он со злобой рвет и без того изодранные полы шубы одинокого путника, поднимает с земли недавно выпавший снег и мелкую гальку и швыряет их в бледное, небритое лицо человека. Ветер злится, и злоба его все растет. Он завывает, словно дикий зверь, в ярости гонит по дороге колющие снежные вихри. Но путник не чувствует холода. Его мучит жажда, крупные капли пота сбегая по лицу, огнем горят подошвы. Оледенелые холщовые брюки липнут к ногам и мешают идти. А ветер все неистовствует. Кажется, вот-вот он сорвет надетую на плечи путника кожаную наполовину пустую сумку, которая бьет его по спине, точно свирепый козел. И путник из последних сил все туже натягивает ремни, которыми приторочена сумка. Но где ему сладить с разбушевавшимся ветром!..

Он останавливается, прижимается к горе и с тоской глядит вперед. А впереди только голые уступы скал да беспросветное небо, загроможденное черными тучами.

Защищаясь от ветра, путник до самых бровей надвинул папаху. Теперь только узкая лента горной тропинки белеет перед его глазами. И нет конца этой ленте... Где-то глубоко внизу ворчит,

ссорится с берегами бешеная река, ее непокорные волны не сдаются студеному ветру, не дают загнать себя под ледяной покров. Гул реки лишает путника последних сил. «Верно, знает река, как я страдаю от жажды, вот и дразнит меня...» — с горечью думает он. Но останавливаться нельзя. Надо идти все вперед и вперед. Сегодня вечером он должен быть дома.

А силы тают. Сейчас вон там, за поворотом, будет пещера. В ней он отдохнет немного, наберется сил, а за это время, может быть, стихнет проклятый ветер. Еще несколько десятков шагов. Но вдруг стало темнеть, черные тучи двинулись прямо на путника, крупные белые хлопья закружились в воздухе и скрыли все вокруг. Повалил снег. Путник скинул с себя шубу, завернул в нее сумку и, напрягая последние силы, двинулся туда, где должна быть пещера. Пар валил от его лица, снежинки, опускаясь на его угловатые плечи, тут же таяли и превращались в блестящие капельки. Еще немного, несколько шагов, и он у цели!

Но тут силы покинули его, в глазах потемнело, голова закружилась. Путник пошатнулся, хватаясь за камни...

— Ой-ой-ой!.. — послышался отчаянный крик, тут же заглушенный грохотом падающих камней, которые, подпрыгивая и обгоняя друг друга, уже неслись вниз.

Потом все стихло.

Ни души кругом, только разорванная сумка из козьей кожи торчит среди камней у дороги. Безжалостный ветер развеивает кукурузную муку. Намокшая, она облепляет рваную шубу, валяющуюся поодаль.

Небольшой конек, видно, хорошо знал дорогу — галопом несясь он по извилистой тропе. Порою, опасаясь оступиться в пропасть, он прижимался к скале, осторожно переступая ногами, а потом снова бодро бежал вперед. В том месте, где сорвался с обрыва путник, конек остановился так круто, что задние ноги его скользнули по гранитным камням, высекая горячие искры.

Мужчина средних лет соскочил с коня. Подобрал полы бурки и крепко держась за узду, он заглянул в страшную пропасть. Глубокий вздох вырвался из его груди. Он снял шляпу...

Снежинки таяли на его густых черных волосах, на смуглом высоком лбу. Конь прижался к скале, из его раздувающихся влажных ноздрей валил пар, крутые бока дымились.

Всадник грустно посмотрел на коня и медленно проговорил:

— Опоздали мы. Все кончено, погиб человек.

И с таким выражением лица, словно он был виноват в гибели этого незнакомого ему человека, всадник еще раз заглянул в пропасть.

Как он спешил на помощь этому несчастному! Ведь на его глазах путник сбросил шубу и завернул в нее что-то. Он крикнул ему слово ободрения, но несчастный, будь они прокляты, эти извилистые горные тропы, не услышал его голоса.

Буря стала стихать, только в глубине ущелья еще свирепо выл ветер. На противоположном берегу реки поднялся снежный вихрь, завертелся юлой, белым столбом взмыл вверх по склону горы и рассыпался где-то высоко на вершине.

Всадник молча наблюдал за буйными проделками природы, потом рукавом серой черкески вытер влажные глаза и, осторожно ступая, подошел к торчавшей из-под камней сумке. Бережно собрав остатки размокшей муки, он через дыру высыпал ее обратно в сумку.

— Будь ты проклята, бедняцкая доля! — с горечью сказал он. — Несчастный, он отмучился, но его жена, дети... Сколько надежд возлагали они на эти жалкие крохи! Что станется теперь с ними, какое солнце согреет несчастных сирот?!

Он опустился на камни рядом с сумкой. Но вдруг до слуха его донесся зловеющий крик. Всадник вздрогнул, огляделся — нигде никого. Только внизу, на дне ущелья, хрипло каркал ворон, сзывая сотрапезников. И воронье уже

кружилось в воздухе, оглашая окрестности зло-вещим карканьем.

«А вдруг он еще жив? Может, просит у меня помощи?» — подумал всадник.

Быстро поднявшись, он завернул сумку в шубу и привязал сверток к крупу лошади. Накрутив узду на правую руку, он взмахнул плетью и побежал впереди коня.

И вот он уже внизу, на дне ущелья. Заволновалось воронье, увидев живого человека. Отчаянно хлопая крыльями и хрипло каркая, кружилось оно над безжизненным телом, лежавшим на берегу реки. Всадник привязал коня к дереву и, прыгая с камня на камень, побежал к тому месту, где готовились к пиру крылатые хищники...

Вот он, несчастный! Кто он? Но путник молчал. Крупные хлопья снега бесшумно падали на его лицо, но ни одна снежинка не таяла... Всадник завернул мертвого в свою бурку, донес до коня, взвалил тело на седло, вскочил сам и поехал дальше.

Сумерки опустились на горы. Ущелье потонуло во мраке. Все не успокоится воронье — всадник отнял у них добычу. Река продолжает рычать и гневаться, и с прежней силой неистовствует ветер.

Конь, почуяв мертвого, часто вздрагивает, поднимает уши, настораживается. Но не дремлет и всадник. В такие минуты каблуки его сапог вонзаются в бока разгоряченного коня. Вот и дорога... Конь понемногу успокоился. До слуха всадника долетел отдаленный лай собак, потом справа, на склоне горы, блеснул огонек.

И всадник направил коня на этот огонек, вверх, по узкой улочке аула. У крайней сакли, из маленького окошка которой струился слабый свет, всадник остановил коня. Навстречу ему выбежал большой лохматый белый пес и с голодным лаем стал прыгать вокруг коня. Однако, быстро убедившись в том, что лай его никого не пугает, пес опустил уши и понуро поплелся в сторону.

Из сакли никто не выходил. Всадник слез с коня, снял мертвеца и бережно опустил его в снег возле изгороди. Привязав коня к столбу, он осторожно постучал в дверь плетью.

Дверь приоткрылась, и, опережая хозяйку, навстречу всаднику вырвались сизые клубы дыма.

— Кто ты? — тревожно спросила высокая худощавая женщина.

— Простите, уважаемая хозяйка... Аул словно вымер, нигде ни души, а у вас свет.

— Входи. Не стой на морозе, — низким, грудным голосом сказала женщина.

Прикрыв лицо концом черной шали, она быстро вошла в дом впереди гостя и, придвинув к очагу трехногую скамейку, добавила:

— Погрейся. Замерз, наверное...

Смуглый кудрявый мальчик лет двенадцати, увидев вошедшего, быстро вскочил, уступая место возле огня. Прикрывая свой голый живот полами рваного холстяного бешмета, он стал возле почерневшего от копоти столба, на котором играли и переливались отсветы пламени. На ногах мальчика были рваные арчи, из дыр во все стороны торчали пучки сена. Мальчик с любопытством разглядывал незнакомца.

Гость грустным взглядом окинул убогое жилище. На полу, возле самого очага, спали, тесно прижавшись друг к другу, несколько ребятишек, из-под старенького полушубка видны были их голые ноги. Над очагом висел котел, и пар от кипящей воды смешивался с едким дымом, исходящим от сырых дров. В дальнем углу потрескивала сосновая лучина, но свет ее был еле различим в клубах дыма и пара, заполнявших саклю.

Нетрудно было догадаться, почему здесь не спали в этот поздний час. И гость молча стоял у порога, язык его словно прилип к гортани. Мать и сын с тревогой смотрели на незнакомца, Один из спящих детей зашевелился, потянулся, а самый маленький зачмокал губами, — видно, хоть во сне удалось ему вволю поесть.

— Не побрезгуй нами, гость! Да не утешит тебя наша бедность! — сказала хозяйка, с тоской взглянув на дверь. — Может, вернется сегодня наш хозяин, — добавила она, приглашая гостя занять скамейку.

— Благодарю, но я... мне надо еще раз взглянуть на коня...

— Пойди, сынок, помоги гостю да посвети ему... — И женщина стала шарить на полке, ища лучину.

— Не надо, не надо! — поспешно возразил гость. — На улице не так уж темно... — И он быстро вышел во двор.

«Может, вернется сегодня наш хозяин», — про себя повторил он слова женщины. «А вдруг это он?» — с тревогой подумал гость, и в его памяти возникло бледное, изможденное лицо мертвеца. А здесь маленькие дети, спящие на полу, босые детские ноги... И сердце его сжалось от горестного сочувствия.

А ветер все выл, мела метель, и холод сквозь тонкое пальто пронизывал тело незнакомца.

Из сакли вышел мальчик.

— Ты постой здесь, — сказал ему гость, — а то лошадь у меня норовистая, лягнет еще.

Он быстро вышел на улицу и вернулся, ведя под уздцы коня. Отдав поводья мальчику, он повторил:

— Смотри, чтоб она не лягнула тебя. Привяжи ее покрепче, а я сейчас вернусь.

Мальчик удивленно взглянул на гостя, хотел что-то сказать, но тот уже быстро шагал вниз по улице аула. И мальчик, привязав коня, вернулся в саклю.

А через некоторое время гость снова вошел во двор в сопровождении старика соседа. Прикрывая полой шубы горящую лучину, старик нагнулся над мертвым. Вдруг руки его задрожали, он резко выпрямился, лучина упала на землю. Гость хотел было поднять ее, но ветер, словно того и ждал, подхватил лучину, понес ее по улице и ударил о каменную стену. Взлетели искры, и лучина погасла...

— Мой добрый сосед... Бедный Саулаг...— только и смог выговорить старик и снял шапку.— Царство тебе небесное!..— Он шапкой вытер слезы, потом повернулся лицом к сакле и громко зарыдал.— О, какое несчастье упало на мою старую голову! Нет его больше! Погиб, Сохион, кормилец семьи!..

У гостя руки опустились. Он уронил голову на грудь, и по смуглому лицу его покатались теплые слезы.

Дверь сакли открылась. Выбежал мальчик. На мгновение он словно остолбенел и вдруг, поняв, какое несчастье обрушилось на их дом, зарыдал, закричал во весь голос.

— Погас мой день! — раздался отчаянный вопль женщины. Она стояла на пороге, держа в руках черную шаль.

Всполошился аул. Мертвеца внесли в саклю и положили на черную бурку. Увидев мертвого мужа, несчастная вдова без чувств рухнула на каменные ступени.

А ветер продолжал неистовствовать. Он подхватывал душераздирающие крики маленьких сирот, и люди просыпались от этих криков и спешили в саклю покойника. А ветер летел дальше, унося в горные теснины вопли неутешного горя.

Среди мужчин, толпившихся во дворе Саулага, находился и незнакомец. Он продрог в своем тонком пальто, и порою ему казалось, что кто-то положил ему меж лопаток кусок льда, лед этот растаял и холодные капли бегут по телу.

— Коста! Клянусь, это Коста! — раздался вдруг в толпе негромкий возглас.

— Что ты мелешь? Коста в России...— ответил кто-то другой.

Сначала гость, покачивая головой, прислушивался к спору. Но когда спорящие слишком разгорячились, он не выдержал и сказал, наклонившись к уху стоявшего рядом с ним старика:

— Скажите, чтобы они прекратили спор и занялись покойником...

Но разве молодежь удержишь...

— Коста! Коста здесь!..— снова донеслось до его слуха.

Один из парней указывал на него рукой. Гость смутился и снова обратился к старику:

— На спине моей лошади сумка Саулага, и в ней — горсть муки. Надо бы отдать ее вдове и сиротам...

— Мука, говоришь? — переспросил старик и подозвал одного из мужчин.

Невысокий человек лет сорока быстро подошел к ним.

— Сбегай сними с лошади нашего гостя сумку Саулага и отнеси ее в саклю...

— Хорошо, сейчас сбегая. Только не задерживайте гостя на морозе... Коста, прошу тебя... Что, если ты заболеешь? Да лучше я... Возьми, возьми, со мной ничего не случится...— И он, быстро накинув на плечи Коста свою шубу, побежал к коню.

— Подожди! — крикнул ему вслед Коста.— Ведь ты сам в одном бешмете остался!

Но хозяин шубы уже скрылся в темноте.

— Коста?! Так что же ты молчишь? — заволаговался старик.— Так вот кто наш гость! Прости нас, но сам видишь, солнце мое, в какое время ты попал к нам. Что ж, смотри, такая наша участь, участь всех горцев-бедняков...

— Прошу вас, не обращайтесь на меня внимания...— твердил Коста, дрожа от холода, как тополь.— У них такое горе, а я... Я ведь еще останусь здесь...

— Как счастливы мы, что ты живым вернулся домой! И до нас долетели вести о твоих делах. Как болели за тебя наши сердца! Но вот ты снова с нами, наш Коста! Слава тебе, Уастырджи!¹

— Спасибо освободившему тебя, да сгинет тебя арестовавший! Да будет славен бог, который вернул нам тебя! — раздались возгласы.

¹ У а с т ы р д ж и — покровитель путников (в осетинской мифологии).

Люди подходили к Коста и жали ему руку.

— А что я вам говорил? Теперь-то вы верите, что это Коста? — ликовал тот, кто первый признал в незнакомце любимого поэта.

— Послушай-ка, — обратился старик к мужчине, который отдал Коста свою шубу, — ты присмотри здесь, а мы пойдем. Не видите разве — человек устал, замерз, еле на ногах держится. Или нам выпала судьба погубить его? Коста, солнце мое, не задерживайся, идем домой. Мы сейчас здесь не нужны. Молодежь все без нас сделает. А завтра воздадим умершему все почести. Идем, идем, тебе надо согреться...

— Нет, я должен быть со всеми, — ответил Коста. — В такую минуту наш долг — быть ближе к несчастным. Я как и все...

— А разве ты не как все? — перебил его старик. — Разве ты мог бы стать нашим Коста, если бы не был всегда с нами? Ну, разговоры потом! — строго сказал старик и, опираясь на палку, двинулся вниз по улице.

— Правду сказал Боборц. Идите с ним, Коста, идите! — раздались голоса.

И Коста ничего не оставалось делать, как последовать за стариком.

Он хотел вернуть шубу владельцу, но тот решительно отказался ее взять. Идя рядом с Боборцем, Коста узнал, что шуба эта принадлежит его сыну.

— Ничего с ним не случится, — сказал Боборц, поднимаясь по каменным ступеням. — А если замерзнет, там неподалеку его тесть с тещей живут, сбегает к ним, погрееется.

Дома было тихо, пусто. Только маленькая девочка, внучка Боборца, спала на тахте возле очага, и лохматая головка ее виднелась из-под бурки.

На каменной стене висела оловянная керосиновая коптилка, еле освещавшая саклю. Коста подошел к девочке, осторожно поднял край бурки и заглянул ей в лицо.

— Спит... — сказал он, глубоко вздохнув. — Что-то ей снится?

— Э-э, что может сниться ребенку? Кукурузный чурек, белая булка... Садись ближе к огню, погрейся, а тем временем, может, кто из женщин вернется.

Старик суетился у очага и подкладывал одну лучину за другой. Коста молчал. Перед его глазами неотступно стояли бледное лицо несчастной вдовы и маленькие босые детские ноги, так беспомощно торчавшие из-под полушубка, а в ушах звенели детский плач и женские причитания.

Хозяин возился с огнем и приговаривал что-то. Коста слушал его словно сквозь сон. Казалось, кто-то сильной рукой стиснул его сердце. Он дышал тяжело и прерывисто.

— Такая вот, ма хур¹ Коста, жизнь наша,— говорил между тем старик.— Каждый бедняк был бы рад совсем не родиться на свет. Ну, а раз уж родился, надо жить, надо что-то есть. А что есть? Никто при рождении не наделяет бедняка участком земли... А где ж ее взять, эту землю? Ведь наши богачи не делятся с нами своими обширными пашнями, богатыми пастбищами и лугами. Вот и проходит жизнь бедняка на чужих задворках. А что найдешь на задворках? Мох да гнилые отбросы! Это-то уж я хорошо знаю, поверь мне... Вот такова была участь бедного Саулага, царствие ему небесное. Всю жизнь батрачил, а, кроме долгов, ничего не нажил. Пошел достать хлеба для своих малышей, и что же... Да, теперь-то он наконец расплатился со своими долгами, бедный Саулаг... Э-э-э, да разве его жалеть нужно? Он что — он от мучений избавился. Живых оплакивать надо! О, если бы хоть слабый луч надежды согрел перед смертью мое старое сердце!..— сетовал старик.

Неслышно ступая, Коста подошел к старику. Что мог он сказать ему? Чем мог утешить человека, у которого под тяжким бременем жизни согнулась спина и потускнел взгляд?

¹ Ма х у р — мое солнышко.

— Правду говоришь ты, Боборц,— сказал Коста, опускаясь на скамейку возле старика.— Человек рождается для счастья. И разве мы хуже тех, кто кичится своим богатством? Нет, наши души чище, наши сердца отважнее! И мы тоже хотим жить. Но мы должны сами взять свое счастье. Недаром говорят: от народного натиска и скалы взвоят. Надо помнить об этом. Или забыл ты завет предков: «Кто слаб душой, тот не может быть храбрым!..»

Старик внимательно слушал гостя. Подперев щеку своей дубовой палкой, он смотрел, как огонь пожирает влажные можжевельниковые ветви. Пламя освещало его высокий, изборожденный бесчисленными морщинами лоб, поседевшие лохматые брови, крупный нос. Тонкая шея выдавалась из-под старого, истертого ворота ветхой шубенки, и, когда старик говорил, на шее резко выступали жилы, похожие на тонкие бечевки.

— Спасибо тебе, Коста, за твои слова... Трудно выразить то, что думаешь, особенно темному человеку, как я. Лучше я расскажу тебе одно предание. Хочешь? Ведь спать все равно еще рано...

— Я буду тебе очень благодарен, Боборц...

— Так слушай же... Говорят, давно-давно в Черном ущелье жили две птицы. Кто знает, сколько времени они там прожили... Только в один прекрасный день сказала одна птица другой: «До каких пор нам жить такой бесславной жизнью? Что мы видим здесь? Что слышим? Песни наши с одной ветки до другой еле доносятся. Кому мы нужны такие? Полетим-ка, подруга, по белу свету, посмотрим, как люди живут, о чем поют они в своих песнях».

Послушала, послушала ее подруга и наконец согласилась: «Что ж, полетим. Свидетель бог, твоя правда: кроме крика ночной совы, ничего мы тут не слышим, а этак и оглохнуть можно».

Вот и полетели они. Но когда долетели до Кассарского перевала, села вторая птица на вет-

ку азалии и говорит: «Зачем дальше лететь? С меня довольно и того, что я увижу с высоты этого перевала». — Смотри, пожалеешь», — стала уговаривать ее первая птица. Но разве упрямого уговоришь? И тогда сказала на прощанье первая птица своей подруге: «Об одном прошу тебя: не улетай отсюда до моего возвращения. Я прилечу к тебе».

И она улетела. А вторая птица так и осталась сидеть на ветке азалии. Шли дни, шли недели, месяцы сменяли друг друга. С раннего утра до поздней ночи шли через перевал люди и, погоняя навьюченных ослов, приговаривали: «Акыш, акыш». Птица слушала, вытвердила это слово и тоже стала покрикивать со своей ветки: «Акыш, акыш!»

И вот в один из ярких весенних дней, когда вокруг все цвело и благоухало, вернулась из дальних странствий ее подруга. Опустилась она рядом на ветку и спрашивает: «Ну, как твои дела, подружка?» — «Акыш, акыш!» — ответила та. «Как жила без меня, что видела?» — «Акыш, акыш!» — снова ответила птица и посмотрела на подругу тупым взглядом. «Летим-ка скорее домой, в лес, — с тревогой сказала путешественница. — А то, я вижу, ты здесь и свой-то птичий язык забыла, не то что научилась чему-нибудь». — «Акыш, акыш!» — повторила вторая птица и, помотав головкой, поднялась в воздух вслед за подругой.

Прилетели они в лес, и тут залилась первая птица звонкой песней. Чудесные звуки ее песни разбудили лес. Возликовала природа, зашелестели зеленые листья деревьев, лесные звери вышли из своих нор, собрались вокруг певунии и, усевшись на задние лапки, с восхищением слушали это прекрасное пение. Никогда до этого не слышали они таких красивых песен. А песня все звенела, неслась над горами, над лесами, и, услышав ее, усталые путники вновь обретали силы и продолжали свой путь.

А на соседнем дереве покачивалась на ветке вторая птица и, делая вид, что понятны ей песни

подруги, твердила свое одно-единственное слово: «Акыш, акыш!»

Вот так объявился в наших лесах соловей, песнь песней наших дней.

Но не по душе пришлось кое-кому его сладостное пение. «Как это посмел он петь лучше нас? Почему все слушают его песни, а не наши?» — возмутились черные вороны. В гневе покинули они свои темные гнезда и полетели искать управы на соловья у ястреба. С тех пор сдружились ворон с ястребом, вместе преследуют они соловья, кричат, очернить его стараются. Но кто может задержать рождение песни? Все звонче поет соловей, все дальше по горам и лесам летят его чудесные песни...

Старик замолчал, пошевелил огонь в очаге и украдкой взглянул на гостя.

— Да,— задумчиво сказал Коста,— когда песня рождается в сердце, никто не в силах задержать ее.— И он глубоко вздохнул.

— Ты пойми меня правильно, Коста. Я не польстить тебе хочу, я правду говорю. Ты много ездил, с разными людьми встречался, ты все время учился, потому так прекрасны твои песни. И когда кто-нибудь поет их мне, я всегда вспоминаю сказку о горном соловье, и в сердце загорается надежда, что придет время, когда и нам, беднякам, станет лучше жить на свете.

В дверь постучали. Обернувшись на стук, они увидели на пороге женщину. Большой платок покрывал ее голову, скрывая плечи и даже руки, в которых она держала что-то.

— А, это ты, невестка? — сказал старик. — Дай бог стать тебе еще краше. А сейчас достань-ка для Коста чувяки, а то видишь, ноги у него замерзли.

— Спасибо, мне ничего не нужно! — И Коста вскочил с места. — Я согрелся возле огня, и мне сейчас вовсе не холодно.

Но женщина не слушала его возражений. Она прошла в угол, вынула из-под платка и поставила на полку глиняный кувшинчик с изогнутой

ручкой и какой-то сверток, потом перешла на другую половину сакли и вернулась, держа в руках новые чувяки. Эти чувяки старик обувал только по большим праздникам.

— Право же, я согрелся...— твердил Коста.

Старик сидел молча. Задумчиво глядел на огонь, словно ничего не слышал. Невестка тоже молчала и только старалась знаками объяснить Коста, что со стариком спорить бесполезно.

Чувяки были устланы мягкой, ароматной травой, и Коста с нежностью провел пальцами по душистым сухим травинкам.

А через некоторое время он уже сидел рядом со стариком, обутый в мягкие чувяки. Теплая шуба, надетая на него сыном Боборца, приятно согревала плечи. Перед ними на круглом трехногом столике — фынге — расставлены были ячменный хлеб, сыр, вяленое мясо. Невестка стояла поодаль, держа в одной руке кувшин с аракой, а в другой — черный рог.

— Недаром говорят, что народ всегда поможет бедняку,— сказал Боборц.— Видишь, какой стол накрыли нам. Невестка, скажи сыну, пусть он поблагодарит людей за угощение от моего имени, от имени Коста...

Старик принял рог из рук невестки. Осушив рог, он вытер рукой свою пушистую бороду и снова обратился к невестке.

— Спасибо тебе,— сказал он.— А теперь иди,— наверное, несчастной вдове нужна твоя помощь.

Невестка поставила на стол кувшин с аракой и послушно направилась к выходу, но Коста остановил ее:

— Прошу тебя, захвати заодно и шубу! — И он легко сбросил ее с плеч.

Женщина взглянула на старика и чуть заметным движением губ о чем-то спросила его.

— Что ты, что ты, Коста! Мы в ауле живем, у сына моего много друзей... Сядь, будь добр...— И старик с ласковым упреком взглянул на Коста.

— Нехорошо получается: человек в одном бешмете на морозе стоит, а я сижу возле очага в его шубе! Почему он должен губить себя из-за меня? Или он чем-нибудь обязан мне?

— Э-э-э, Коста, разве один мой сын обязан тебе? Все мы твои должники, только бедны мы и не можем достойно отплатить тебе за твои добрые слова. Сядь, ради отца твоего, сядь... А сын мой, поверь мне, одет уже в шубу, которая гораздо лучше этой. Не храбрись. Вот как сейчас начнет дуть из щелей, тогда поймет твоя душа, зачем надели на тебя шубу.

Старик поднялся и снова набросил шубу на плечи Коста.

Невестка ушла. Старик наполнил рог и произнес тост в честь гостя. Коста поблагодарил. Но кусок не шел ему в горло. Глядя на теплый ячменный хлеб, на куски вяленого мяса, Коста вспомнил голодных сирот, и никакие уговоры старика не могли заставить его притронуться к пище.

«Конечно, ради того, чтобы накормить гостя, они готовы сами остаться голодными! Вот накрыли стол — кто араку принес, кто закуску... А сироты Саулага уснули, так и не дождавшись еды... Нет, такую пищу не переварит даже волчий желудок!» — думал Коста.

Старик еще и еще раз просил гостя поесть, но, видя, что уговоры тщетны, смолк, — видно, его разморило от выпитой араки, да и устал он за день — ездил в лес по дрова, — и задремал, а потом растянулся тут же возле очага и захрапел. Сын и невестка не возвращались, девочка мирно спала. Коста прикрыл старика шубой и вышел в сени.

На улице тьма. Ветер продолжал бушевать. Все так же выла метель. Душераздирающие вопли женщин оглашали воздух. Словно вторя им, с высокой башни, что высилась на краю села, кричала сова. В разгоряченном мозгу Коста, обгоняя друг друга, проносились мысли. Казалось, их гонит все тот же неистовый ветер. От этих

мыслей вздрагивало сердце и прерывалось дыхание. Слова теснили друг друга, заставляли шевелиться губы, стывшие на морозном ветру. А перед глазами все стояла нищая сакля Саула-га и звенел в ушах отчаянный крик: «Погас мой день!»

Словно боясь, что ветер унесет его мысли, Коста тихо вернулся в саклю. Он сел у очага, придвинул столик, и вот уже на белый лист бумаги ложатся одно за другим горькие слова:

Можжевельник саклю
Дымом обволок...
Капают по капле
Слезы в котелок.
...На полу холодном —
Кто в тряпье, кто так —
Пять сирот голодных
Смотрят на очаг.
Засыпает младший
Раньше всех детей,
Изнемог от плача
Лучший из людей...

Густые черные брови сошлись у переносицы, тень усталости легла на смуглое лицо Коста. Порою он поднимал от бумаги свои большие карие глаза и устремлял их на огонь. Рука останавливалась... Но разве можно спокойно слушать такие слова? Эти слова жгли его сердце:

— Мама, не готово ль?
Дай похлебки! Дай!
— Всем вам будет вдоволь,
Хватит через край...

Ворочается во сне старый Боборц, вот он повернулся спиной к огню, поджал под себя худые длинные ноги. А на улице ветер воет...

И у ног их, мрачно
Глядя из угла,
Все насытить плачем
Сердце не могла.

Теплые слезы катятся по щекам Коста и падают на бумагу, сливаясь в одно большое пятно.

И снова перед глазами закопченный котел (как бурно кипит в нем вода!) и дети, уснувшие, так и не дождавшись еды... Коста обернулся, взглянул на тахту, где разметалась во сне внучка хозяина, и, обращаясь к спящей девочке, тихо проговорил:

Детям говорила:
«Вот бобы вскипят!» —
А сама варила
Камни для ребят.

Еще раз пробежав глазами строчки, Коста глубоко вздохнул и отложил карандаш. Голова его устало опустилась на руки, веки сомкнулись, и щека, словно мягкой подушки, коснулась рукава черкески...

«Песня Коста, новая песня Коста! Она сочинена у нас в доме, возле нашего очага... Может, и о нас в ней говорится? Как счастлив должен быть человек, составляющий песни, которые так нужны всем! Но что это? Следы слез?..» От волнения у невестки Боборца даже дыхание перехватило. Она бережно положила листки бумаги на стол и тихонько пошла к двери.

А на другой день, когда солнце спустилось на вершины западных гор, Саулага похоронили. Люди отдавали последнее, чтобы с честью проводить умершего...

Когда возвращались домой с похорон, снег больше не шел, только черные тучи по-прежнему застилали небо. Сохион шла спотыкаясь, ничего не видя перед собой, в лице ее не было ни кровинки. Две женщины поддерживали ее под руки.

А следом за матерью, окруженный сверстниками, шел ее старший сын. Он шел низко опустив голову, не отрывая взгляда от протоптанной в глубоком снегу тропинки, словно понимал, какая непосильная ноша свалилась на его еще слабые детские плечи... Малышей на кладбище не взяли, они оставались дома.

«Люди, как прекрасны вы, как бесконечна ваша доброта! Но как суровы и беспощадны бываете вы в минуты испытаний! Что было бы с вами, люди, если бы не делили вы друг с другом ваши бесчисленные горести и беды, если бы не приходили на помощь друг другу в тяжкие минуты?.. А как легко забываете вы о своих невзгодах, когда надо порадоваться счастьем другого, как светлы тогда бывают ваши улыбки! И где взять силы, чтобы облегчить вашу участь? Да, счастлив тот, кто посвятит свою жизнь борьбе за счастье народа!»

Так думал Коста, возвращаясь вместе со всеми с похорон.

Он глядел на спину идущего впереди сгорбившегося старика, и старик, словно угадав его мысли, вдруг обернулся.

— В недобрый час посетил ты нас, ма хур. Но что поделаешь! Впрочем, мало выпало на нашу долю добрых часов. Такова судьба наша, ты уж не чурайся нас, ма хур...— сказал старик и, замедлив шаги, пошел рядом с Коста.

Который раз со вчерашнего вечера слышит Коста такие слова! Но почему все эти люди словно извиняются перед ним за свою беспросветную жизнь? Разве он впервые в горах? Сколько раз вот так же возвращался он с похорон! Гость? Да разве гость он среди этих людей? Ведь его сердце всегда с ними, его помыслы только о них... И, помолчав, он тихо сказал в ответ старику:

— Да придет счастье на смену вашему горю!

На краю аула, возле старой, полуразрушенной стены, собрались дети. К ним подошла группа мужчин. Следом за мужчинами шли женщины, и среди них была невестка Боборца. Коста видел, как она что-то сказала женщинам и те присоединились к детям. Подошел к собравшимся и Коста.

Высокий смуглый мальчик стоял в центре толпы и, размахивая рукой, произносил медленно и печально:

И у ног их, мрачно
Глядя из угла,
Все насытить плачем
Сердце не могла.

— Откуда они узнали? — удивленно спросил Коста.

Он невольно пошарил рукой на груди, где под бешметом спрятаны были заветные листки. И тут он встретился взглядом с невесткой Боборца. Глаза женщины были залиты слезами...

рестины

*А что сказать? Куда ни шло,
Скажу, что говорил всегда:
Прислужник — вот позор и зло,
Погибель наша и беда.*

Коста Хетагуров

ольшое торжество сегодня в доме Асламбега Томаева. Просторный двор тщательно прибран, под раскидистыми кронами плодовых деревьев, в прохладной тени, накрыты длинные столы: обильной снедью, кувшинами с аракой и пенным пивом уставлены они. Много народу собралось на праздник к Асламбегу. С богатыми дарами пришли родственники жены. А сколько араки, пирогов и всяких прочих кушаний принесла многочисленная родня Асламбега! За столом — вся знать, все старейшие селения Ардон. Не забыты и друзья из соседних селений. И все они — и гости и родичи — пришли сегодня сюда, чтобы дать имя новорожденному, сыну хозяина.

Густая листва защищает гостей и от палящих лучей солнца, и от внезапного дождя. Сказать по правде, торопиться некуда! Вот и сидят гости за пышными столами, произносят длинные цветистые тосты, величественно хлопают в ладоши, не спеша попивают крепкую араку и шипучее черное пиво.

Перед старшими, как и положено по обычаю, стоит на столе блюдо, на нем — вареная бычья голова, а рядом, по обе стороны, — две бараньи

головы. Раскрыты бараньи рты, оскалены зубы; кажется, что и бараны радуются общему веселью. Да и как не радоваться? Звенят стаканы, льются звуки гармошки, веселя сердца гостей, пляшет под деревьями молодежь...

Один из трех старших гостей, что сидят за столом,—полковник Хоранов. Весело сегодня полковнику — пей сколько хочешь, только успевай принимать бокалы, которые подносят полковнику младшие по чину, прославляя в своих тостах имя Хоранова. И полковник доволен собой, горд своими наградами, своей знатностью и счастлив тем почетом, который оказывают ему сегодня его земляки. Порою взор его скользит по лицам гостей, и кажется, что он хочет сказать: «Слушайте внимательно, ведь этот тост произносят в мою честь, в честь полковника Хоранова! Это на моей груди столько орденов, что блестят ярче солнца!»

Любит полковник льстивые слова! Хлебом его не кормите, лишите его двойной араки, которую он любит больше жизни, только расхваливайте его! И тогда он испытывает такое блаженство, точно его в знойный летний полдень окунают до самого подбородка в кадушку с прохладной водой. Льстивые слова, подобно мягким пальцам, щекочут ему ухо, и лицо полковника сияет от удовольствия, глаза щурятся и становятся меньше кукурузных зернышек. Но горе, если его не почтят словом! Лучше сразу тупым ножом нарежьте полковника! Надуетса, как лягушка, нахмурит брови и глянет пасмурнее осенней ночи. Плечи его от злости дергаются, взгляда он от своих орденов не отводит! «Радоваться, мол, должны, что снизошел до вас и сижу рядом с вами, за честь великую должны это принимать. Кто смеет хвалить кого-нибудь, кроме меня? Счастье ваше, что вы не солдаты мои, не то я бы всех вас выстроил, все равно как те вон колья, на которых держится плетень, тогда вы бы у меня и пикнуть не посмели! Кто из вас может так же, как полковник Хоранов, запросто, без стука, войти в кабинет начальника области? Да пусть

только кто-нибудь из вас осмелится пройти мимо дверей его кабинета! Как он гаркнет, как сведет брови, так вы за счастье сочтете, если вам за червонец мышиную норку укажут, куда вы могли бы спрятаться от его гнева! А к полковнику Хоранову сам начальник навстречу выходит и свою белую, как пух мягкую руку ему протягивает. Да и супруга начальника не обижает полковника Хоранова... Э, да о чем толковать, все равно вы ничего не понимаете в таких делах! Где вам понять, что супруга генерала может столько хорошего сделать, что подчас это и самому господу богу не под силу!..»

Но сегодня полковника все подряд хвалят, и он доволен. Правда, ему давно уже надо бы выйти из-за стола, но щедрое угощение и тосты, что следуют один за другим, сделали свое дело: ноги не держат его. Полковник тревожно прислушивается к речам, имя его реже и реже упоминается в тостах... Э, да пусть говорят что хотят, пусть похваливают друг друга. Похвальба — это удел мелких душ... И мысли полковника начинают путаться.

«С чего это на меня все насмешливо поглядывают? И особенно тот вон, на язык острый. Кажется, его Василий Касабиев зовут. Учитель семинарии. Видно, опять замышляет что-то...» Рассердился полковник, даже жирную ножку индюшки выронил, и тупо уставился на желтое, быстро расползающееся по белоснежной скатерти пятно. И вдруг, словно чтобы подтвердить опасения Хоранова, Василий Касабиев, стройный черноволосый молодец, поднялся со своего места и сказал:

— Я прошу всех выпить за здоровье самой яркой звезды, сияющей над осетинской землей, — за здоровье нашего Коста! — И Касабиев высоко поднял свой блестящий бокал.

Все гости встали.

— Пусть он живет и здравствует! Пусть сбудется все хорошее, что мы желаем ему! — хором ответило несколько голосов, и звон стаканов пушечным громом отозвался в ушах полков-

ника, которые сразу зарделись, как красный перец.

А учитель, протягивая свой стакан Хоранову, проговорил:

— Мы просим вас, полковник, поддержать этот тост — ведь он поднят за здоровье Коста!

— Или ты думаешь, Касабиев, что я животное, а не человек? Или я без тебя не знаю наших обычаев? — сердито проворчал Хоранов и резко отодвинул от себя стакан с двойной аракой.

Все взгляды устремились на полковника. Тамада привстал и, обращаясь к нему, сказал:

— Созрико! Ради всего хорошего, не будем портить праздник нашему хозяину. Мы, конечно, никого не неволим... Но пусть тому, кто не желает пить за здоровье нашего Коста, не придется больше сделать в жизни своей ни одного глотка! А капризы кое-кому не мешало бы приберечь для своей матери... — закончил он, косо поглядывая на Хоранова.

Полковник с трудом оторвал тяжелый взгляд от жирного куска индейки, который он уронил на скатерть, и медленно повернул голову к тамаде:

— Хоранов не из тех, кто капризничает или заискивает перед кем-нибудь! — Он положил широкую ладонь на ордена, украшавшие его грудь. — Я сам знаю, за кого мне пить! А вот ты, Асахмет, наш старший тамада, не знаешь застольного порядка. Разве это дело, чтобы младший обращался к старшему со словом, когда ему только вздумается? Ведь я, наверное, хоть на один день, да постарше Касабиева! Или ты, Асахмет, не слышал, как я уже несколько раз просил слова? Почему же ты дал слово ему раньше, чем мне? А я имел честь сидеть за одним столом с большими начальниками, и, клянусь богом, они всегда просили меня, чтобы я сказал хоть одно слово. Все начальство меня уважает! А здесь, в родном селении, в доме соседа, мне не дают слова сказать! Смотрите, как бы не пожалеть вам об этом. Кто знает, а вдруг у меня изо рта вместо слов золотые монеты посыпятся!..

— Созрико, если тебе не нравится, как я веду стол, займи мое место,— с грустным достоинством сказал ему тамада.— Не скрою, с большим начальством сидеть за одним столом мне не приходилось, но не сочти за обиду — ни тебе, ни самому высокому начальнику не советовал бы я тягаться со мной в знании осетинских обычаев. Однако мы собрались сегодня сюда не для того, чтобы хвастаться друг перед другом... Вспомни, для какого хорошего дела собрались мы сюда, поддержи тост Василия и после этого говори все, что хочешь, можешь даже спеть!

— Асахмет прав. Созрико, вам нужно поддержать тост! — раздалось несколько молодых голосов.

— Э-эй, да что его уговаривать! — резко выкрикнул Касабиев.— До сих пор он ни одного тоста не пропустил, все бокалы осушил и только мой тост поддержать не желает...

— Не желаю, Василий, не желаю! И пусть твоя немилость падет на меня! Вот здесь сидит брат вашего Коста, Лекси, я и ему это скажу. А вон священник Бигулаев, наш гость из того же ущелья, что и Хетагуровы, пусть и он знает: не буду я пить твой тост! — Хоранов привстал со своего места.— Как умирающий твердит: бог, бог, бог, так и вы заладили: Коста, Коста, Коста... Перед Коста вам и бог не бог! А не ведаете вы того, что ваш Коста натравливает на вас начальство! В прошлом году по его доносу баталпашинская администрация чуть не перебила осетинское население в Лабе. Знаете вы об этом? Не знаете? А я, Хоранов, знаю! Полковнику Созрико Хоранову все известно!..

— Хоранову слишком много чего известно! — угрожающе крикнул Касабиев.— Даром за стол с начальством не сажают! Иначе почему бы Каханову не пригласить нас всех за свой обильный стол? Все язык, язык! Ты языком и гору разрушить способен...— И, поймав жилистую руку Лекси, которая уже легла на рукоятку кинжала, Касабиев добавил:— Рукам волю не давай! Глупому проповеднику нужен умный

слушатель... Не пришло еще время братья за кинжал!

Дрожь прошла по загорелому, сухощавому лицу Лекси. Он нехотя отвел руку и взглянул на священника Бигулаева, как бы спрашивая его: как быть? Священник покрутил свой русый ус и поднял на полковника большие серые глаза. Видно было, что он сердится.

— Простите меня, добрые люди, но у нас в горах нет большего позора, чем за глаза ругать человека. Разве Коста такой человек, чтобы Хоранов мог здесь безнаказанно склонять его имя? Или ты думаешь, что мы не знаем нашего Коста? Нет, мы хорошо знаем его. Все осетины, от чабана, пасущего скот на высокогорных пастбищах, до хлебороба в равнинных селениях,— все мы поем песни Коста. Асахмет, вы старший за столом, так простите нас, ведь мы гости, а ардонцы всегда были гостеприимны...

— А мне, Хоранову, каково, когда Коста распускает про меня всякие грязные сплетни? — вытягивая свою толстую шею из-за пузатого графина, сердито спросил полковник. — Я не какой-нибудь нищий! — И он снова похлопал ладонью по орденам и медалям на своей груди. — Мне царь эти награды дал не потому, что я житель селения Ардон, и даже не потому, что я из рода Хорановых, а потому, что я за царя и отечество кровь проливал, не сгибаясь навстречу пулям шел... жизнью рисковал... И я не позволю, чтобы какие-то мелкие людишки в меня грязью кидали! Да и власть не простит им этого!

Глаза полковника налились кровью, руки дрожали. Злобно взглянул Хоранов на учителя, собираясь сказать ему еще несколько едких слов, но в это время на крыльце дома показался коренастый мужчина средних лет. Черные усики его были коротко подстрижены. Это хозяин дома Асламбег Томаев, это за здоровье его сына сегодня с полудня говорили гости цветистые тосты и речи. Асламбег не присутствовал при начале спора, он принимал вновь прибывших гостей. Хоранов хорошо знал, что Асламбег не потерпит

у себя дома за столом нарушения благопристойности, и потому, встретившись с его спокойным взглядом, поспешил проглотить обиду. Может, на этом и кончился бы спор, но Василий Касабиев не сдержался и сказал:

— Никто не отрицает, Хоранов, твоих заслуг перед царем и отечеством, иначе не сидел бы ты среди почетных гостей. И крови ты пролил немало, мы и об этом знаем. Но зачем ты дотрагиваешься до раны, которая жжет сердце осетинского народа? Есть у нас один человек, который бесстрашно заступает за родной народ... И ты, как и все мы, обязан молиться за его здоровье. А ты вцепился в него своими когтями и о каждом его слове доносишь начальнику области. Запомни: народ не простит тебе этого!

— «Народ! Народ!» — закричал Хоранов, размахивая руками. В гневе он даже позабыл, что хозяин дома стоит с ним рядом. — Скитается ваш Коста из села в село и натравливает народ на власти! Клянусь богом, если б я был начальником области, я бы давно упрятал его куда подальше!..

Но тут вдруг кто-то из молодых, словно не слыша злобных слов полковника, запел звучным голосом:

Давайте дружно песню Коста запоем...
Живи и здравствуй многие годы,
Хетага сын, наш любимый Коста!

Гости разом подхватили песню, и она поплыла в прозрачном осеннем воздухе...

— Пусть ждут вас впереди многие годы радостной жизни, пусть никогда не покидает вас вера в свои силы, славная наша молодежь! — громко произнес учитель Касабиев и высоко поднял свой бокал. Глаза его радостно блестели, и он с восторгом присоединился к общему хору.

Женщины вышли на крыльцо, девушки украдкой поглядывали из окон. Гости пели, и среди прочих голосов мощно выделялся гулкий бас священника Бигулаева. Ветер подхватил песню и понес ее в горы.

И только Хоранов молчал. Одиноко стоял он,

и широкие ноздри его раздувались от гнева. Казалось, вот-вот он гаркнет и все сразу прекратят пение. Но песня звучала все громче, она словно набирала силу, и полковник, взяв свою суковатую палку, которая была прислонена к столу (с какой радостью он пустил бы сейчас в ход эту палку!), тихо отошел в сторону. Однако, взглянув на Касабиева, он все же не удержался и погрозил ему палкой.

— Ладно, я еще припомню тебе, как ты опозорил меня! Не зря у меня сегодня с самого утра чесалась левая бровь... Не позже как завтра утром я сообщу все твои речи, собачий язык! Пусть станет мне ядом материнское молоко, если я не упрячу в Сибирь вашего Коста! И тогда молодежь ваша увидит, будете ли вы так гордо, как нынче, носить свои головы! — вне себя твердил Хоранов.

Последние слова он произнес так громко, что учитель услышал его.

— Да, молодые увидят и во всем разберутся! — смело сказал Касабиев. — Не на тех напал, Хоранов, не боимся мы твоих угроз. Ведь мы не солдаты твои!.. — И, расправив плечи, он высоко поднял свою красивую голову.

— Асахмет, почему нарушен застольный обычай? В доме Асламбега веселье, нет такого человека, который решился бы нарушить радость нашего хозяина, — подходя к тамаде, сказал юноша и глазами указал ему на полковника.

— Хоранов, присядь, ради всего хорошего, просим тебя! — вмешался в разговор интеллигентного вида мужчина с жиденькой бородкой и, сняв с носа пенсне, продолжал: — Согласись, что ты поступил опрометчиво, отказавшись выпить за здоровье Коста. Надо прислушиваться к голосу народа, надо считаться с народом...

— Эй, младшие, подпевайте! А для того, кто не хочет петь, на столе есть все — и выпивка и закуска! Мы сегодня на празднике у Асламбега, так давайте веселиться, петь, танцевать!.. Или я неправ, Асламбег? — подняв свой бокал, обратился тамада к хозяину дома.

Асламбег одобрительно кивнул головой и повернулся к Хоранову:

— Оставь обиду, Созрико!

Полковник, нахмутив брови, сердито ударил палкой о землю и мрачно взглянул на Касабиева. Он хотел что-то сказать, но слова его потонули в громовых раскатах.

В этом году горы трава покрывает,
Песни Коста, как удары грома, сверкают.
Живи и здравствуй многие годы,
Хетага сын, наш любимый Коста!—

пел тамада, и хор вторил ему.

— Асламбег, если ты устраивал праздник в честь Коста, ты мог бы сказать мне об этом раньше! — Хоранов сердито повернулся и, подпрыгивая точно на пружинах, направился к воротам.

Несколько человек побежало за ним, чтобы вернуть его, — нельзя обижать гостя на празднике! — но он даже не оглянулся. Начищенные сапоги его блеснули в воротах, и он исчез.

Живи и здравствуй многие годы,
Хетага сын, наш любимый Коста! —

все громче пела молодежь.

И, словно желая как можно скорее уйти от звуков этой ненавистой песни, полковник Хоранов спешил домой, опираясь на свою суковатую палку. А песня летела на легких крыльях вечернего ветерка и гнала полковника Хоранова по длинным ардонским улицам, все дальше и дальше от людей, сидящих за обильными праздничными столами...

изинчик Заремы

езадолго до Великой Отечественной войны тихим осенним вечером я быстро шел по одной из шумных и узких улиц Грозного, то и дело взглядывая на номера домов. Перед тем как выехать, я созвонился с директором музея и, хотя довольно сильно опаздывал, надеялся, что кто-нибудь меня встретит.

И действительно, на углу, у входа в старинное здание, где раньше была мечеть, я увидел девушку. Ее пушистые черные волосы блестели, словно сбрызнутые росой.

— Простите, не скажете ли вы, я еще застаю кого-нибудь в музее?

— Вы не из Орджоникидзе?

— Да, по дороге случилось что-то с машиной, и вот...— оправдываясь, начал я.

— Мало ли что может случиться! — весело прервала девушка и, протянув мне руку, другой рукой указала на вход в музей.— Пойдемте. Сейчас мы позвоним директору. Его срочно вызвали на совещание, но сейчас он уже, наверное, дома. Он строго наказал мне...

— Пожалуйста, не беспокойте его! — взмолился я.— Я зайду завтра.

Но девушка, не дослушав меня, уже взбежала по каменным ступеням.

Мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Подняв трубку, она вызвала квартиру директора.

— Хадзыбекир? Да, да, только что... Хорошо. Идем! Передать ему трубку? Дома? Ну хорошо! — Девушка обернулась. — Директор ждет вас дома. Пойдемте, я провожу вас, здесь недалеко...

— В таком виде? — растерянно спросил я, оглядывая свое запыленное пальто. — Будьте так добры, если вам это не трудно, проводите меня сначала в гостиницу...

— В гостиницу? Нет, я провожу вас к Хадзыбекиру, а там уж вы договаривайтесь с ним как хотите. Я всего несколько месяцев работаю в музее и не хочу, чтобы меня уволили за невыполнение распоряжений... — добавила она, и приветливая улыбка заиграла на ее округлом смуглом лице.

Мы вышли на улицу. Ветер раскачивал фонари на столбах и шевелил черные кудри девушки. Яркие электрические лампочки вырывали из тьмы номера домов и названия улиц. На городской площади хрипло и мощно орал репродуктор.

— Значит, вы тоже работаете над темой гражданской войны? — спросила девушка после некоторого молчания.

— Откуда вы знаете? — удивился я.

— А как же? Ведь Хадзыбекир мне поручил подобрать интересующие вас материалы! — гордо ответила она, и улыбка опять осветила ее лицо. — Если бы вы знали, как я рада, что вы приехали... — продолжала она. — Ведь я тоже собираюсь к вам в Орджоникидзе и, представьте, по такому же делу. Должна заранее предупредить: не обижайтесь, что я буду назойлива. А теперь, когда мы с вами познакомились, я и вовсе не дам вам покоя своими расспросами.

И она при этом так мило улыбалась, что слова: «Для такой девушки я и жизни не пожелаю!» — чуть не сорвались у меня с языка.

Но тут дородная толстуха чуть не сбила с ног мою спутницу. Я схватил девушку за руку и притянул к себе.

— Простите, я очень испугался за вас...— сказал я, отпустив ее, едва опасность столкновения миновала.— Вы были на краю гибели, а тогда кто бы проводил меня к Хадзыбекиру?

Девушка засмеялась и, посмотрев вслед толстухе, сказала:

— Спасибо. Помните у Коста: «Так чем же нам тебе ответить, чем память нам твою почитать?»

Не знаю, что хотела сказать девушка этими словами: был ли в них скрыт упрек, или ей просто хотелось дать мне понять, что она знает и любит Коста. Мне было приятно, что она произнесла эти стихи на чистом осетинском языке.

— Где это вы выучились так красиво говорить по-осетински? — спросил я.

Спутница моя отрицательно покачала головой.

— Нет, я знаю только отдельные строчки, я слышала их лет двадцать назад, когда была еще совсем маленькая.

Только хотел я спросить, от кого она слышала эти стихи, как она остановилась и показала на высокий дом:

— Вот мы и пришли. Хадзыбекир, наверное, уже волнуется: куда, мол, эта девушка завела моего гостя?..

— Я не думал, что он живет так близко! — подсадовал я.— Такой хороший вечер...

Еще не успел смолкнуть звонок, как мы услышали радушный женский голос:

— Добро пожаловать!

Дверь открылась, и перед нами предстала высокая молодая женщина, руки ее до локтей были испачканы в тесте.

— А Хадзыбекир пошел вам навстречу! Разминулись? Ну ничего, он сейчас придет. Заходите, заходите...— приглашала она, вытирая передником руки.

И вот мы — я и моя спутница — сидим за столом в нарядной, чисто прибранной комнате. Хадзыбекира все нет. Девушка несколько раз выбегала на кухню и предлагала хозяйке свои услуги, но та неизменно отправляла ее обратно, приговаривая, что гостю-де скучно будет.

— Да скажите вы хозяйке, чтобы она не беспокоилась, не хлопотала бы так... — попросил я девушку.

— Она меня и слушать не станет. Аминат, слышите, что гость говорит? Напрасно, мол, хозяйка старается, я ем только то, что приготовлено руками моей жены! — громко сказала девушка, в голосе ее явно слышался смех. — Нет, нет, я шучу. Готовьте все, чем богат ваш дом. Не знаю, как гость, но я больше не в силах ждать, так хочется есть.

Аминат рассмеялась.

— Потерпи немного, Зарема, зато я угощу тебя осетинскими пирогами со свежим сыром! Ты ведь любишь их? А пока займи гостя, ты у нас разговорчивая, а что ж сегодня помалкиваешь?.. У осетин есть такая поговорка: «Одна птица на семи языках разговаривала, а как налетел на нее ястреб, так она и свой родной позабыла...» Уж не случилось ли и с тобой того же? Помни: мои родичи скучных девушек терпеть не могут!

— Вот оно что! Оказывается, он твой родственник, да и близкий, наверное... То-то ты так хлопчешь... — проговорила девушка и подняла на меня свои большие глаза.

— Аминат, простите меня за нескромный вопрос, из какой вы фамилии? — обратился я к хозяйке, чтобы прервать молчание.

Я боялся, что взгляд девушки, с которым я нет-нет да и встречался, унесет меня куда-нибудь слишком далеко...

— Из Палоевых я. Хумалагских Палоевых. Может, вы знаете их? Мой родной дядя Касполат Палоев и сейчас там живет... — по-осетински ответила мне Аминат.

В комнату вошел Хадзыбекир. Из его карма-

нов торчали серебряные головки шампанского, под мышкой он держал какие-то свертки.

— Пусть каждодневно и ежечасно здравствует наш далекий гость! Но я вижу, что гости наши скучают!

— Ждут возвращения хозяина! — ответила Зарема, принимая свертки от Хадзыбекира.

После первого же бокала Зарема порозовела, развеселилась.

— Клянусь, — уверяла она, — Аминат еще никогда не пекла таких вкусных пирогов! Видно, для родственника постаралась... — Зарема поглядывала на меня.

Она сидела напротив меня, хозяин поднял второй тост, я чокнулся с Заремой и чуть не уронил свой бокал: я увидел, что на левой руке девушки не хватает половины мизинца. Зарема тут же быстро спрятала руку, но мысли мои с лихорадочной быстротой шли одна за другой. «Стихи Коста... Зарема... и этот изуродованный мизинец на левой руке... Неужели это и есть та маленькая кудрявая Зарема, которая, когда хоронили ее отца, беззаботно играла? А что, если спросить? Непременно нужно спросить!» — решил я. Но в эту минуту зазвонил телефон. Зарема взглянула на часы.

— Это, наверное, мама. Ведь ключ от квартиры у меня... — озабоченно сказала она и вслед за Аминат побежала к телефону.

— Пригласите вашу маму сюда! — сказал Хадзыбекир. — Пусть придет, посидит с нами.

Но Зарема как будто не расслышала его слов.

— Простите, что так получилось, но мама ждет меня на улице, — появляясь в дверях, сказала она. — Надеюсь, мы завтра еще увидимся, — добавила она и торопливо ушла, пожелав нам счастливого вечера.

Долго не мог я заснуть в эту ночь. Я лежал один в комнате и с трудом удерживался, чтобы не встать и не разбудить Хадзыбекира.

Из темного угла доносилось монотонное тиканье стенных часов. Но мне казалось, что это не часы тикают, а крупные тяжелые капли дождя

стучат по крыше. Нет, нет, это не часы и не дождь, это доносятся далекие, далекие выстрелы... Нет, не то... Это слышится мерная поступь моей суровой юности...

Да, такой была поступь того тревожного времени, когда непроглядными осенними ночами девятнадцатого года мы шли по бездорожью с нашими отцами и старшими братьями...

Вокруг тишина, изредка с опушки леса доносится трескотня пулемета. Это белые. Мы втроем — мой отец Фидар, его побратим ингуш Магомет и я — лежим в мокрой канаве, у шоссе. С вечера мы принесли соломы и устелили ею канаву. Но солома вся пропиталась водой, и лежать на ней очень холодно.

— Пока не нагрянули белые, надо отвести мальчика к нам в селение, — сказал Магомет.

Но отец мой не согласился.

— Нельзя уходить отсюда, — ответил он. — Мы можем прозевать их. Терпи, сынок. — И погладил меня по спине.

Я весь дрожал от холода. До рези в глазах вглядывался в дорогу, но ничего не мог разглядеть, только редкие звезды мерцали в нахмуренном небе. Малейший шорох или писк заставлял меня испуганно вздрагивать.

Магомет укрывал меня полкой своей шубы.

— Держись, мой маленький побратим! Скоро мы разобьем их, и тогда я подарю тебе жеребенка, хочешь? А может, выдать за тебя мою кудрявую дочку? Знаешь, какая она, моя девочка? О-о, вчера я целый день бродил по лесам и полям, думал, может, найду где-нибудь еще одну такую кудрявую, нет, не нашел, второй такой нет на целом свете... Ничего, мой маленький зятек, держись, все будет хорошо... — приговаривал он.

Лежать холодно, но мечты о жеребенке согревают. Нет, не о кудрявой девочке, а о жеребенке мечтал я тогда. «Интересно, какой он, этот жеребенок? И как будут завидовать соседские мальчишки, когда я приведу его домой! Уж скорее пришли бы эти белые. Перестреляем их и уйдем в село, в теплый дом...»

Отец молча курил, пряча огонек сигарки в рукав шубы. Порою он вздыхал так тяжело, что из груди его вырывался хрип. Иногда мне казалось, что он плачет и украдкой смахивает слезу. Кто знает, может, он и вправду плакал? Слышал я, как Магомет старался успокоить его, но отец отвечал сердито:

— Нет, Магомет, слишком больно моему сердцу! Мне бы только мальчика моего устроить, а тогда ни днем ни ночью не буду знать я отдыха и не будет им от меня пощады!

— Ради этого мы дали друг другу клятву верности и стали побратимами,— сказал Магомет,— я ни на шаг не отстану от тебя! А о мальчике нужно позаботиться. До каких пор будет он скитаться с нами? Надо отвести его к нам в селение...

Но отец не соглашался.

— Ты знаешь, Магомет, что, кроме него, никого у меня не осталось! Когда он рядом, мне легче. Что ж, он мужчина, должен с малых лет привыкать. С детства он должен ненавидеть тех, кто осиротил его. Пусть он знает, из-за кого дрожит сейчас здесь на холодной земле, вместо того чтобы сладко спать вместе с матерью в теплой постели... Запомни,— обратился отец ко мне и положил на мое плечо свою большую шершавую ладонь. Он говорил, не переставая напряженно вглядываться куда-то в даль.

Я плотнее прижался к теплому боку Магомета. Наш дом, объятый пламенем, вставал перед моими глазами, снова мы с матерью бежим по огородам. Нас настиг верховой, золотые погоны блестят на его плечах.

— Не уйти вам, партизанское отродье! — кричит он и так круто осаживает коня, что тот встает на дыбы.

Выстрел — и моя мать падает лицом вниз на голое осеннее поле. Откуда-то загрели выстрелы, белый заорал, пошатнулся и вылетел из седла. Упал и я...

«Отец плачет, вспоминая о нашей матери», — думал я. И, положив себе под щеку его шерша-

вую руку, я слушаю, как отец и Магомет тихо разговаривают. Никогда больше с той ночи не знал я прикосновения такой теплой и доброй руки. Только у отца были такие руки.

— Кажется, они...— вдруг шепчет отец.— Легки на помине...

Магомет тоже прислушивается. Подложив под ствол винтовки камень и нахлобучив до бровей мохнатую папаху, он говорит:

— Они. Я выстрелю первым.

— Хорошо. Только, пока не подойдут вплотную, ни одного выстрела...— ответил отец и отполз по канаве.— Сиди спокойно,— добавил он, обращаясь ко мне,— не трусь, но и голову из канавы не высовывай. Слышишь?!

— Пока я тебе не скажу, с места не сходи,— шепнул мне Магомет и бросил на меня свою шубу.— На, укройся, мне она мешает.

Все ближе конский топот. Я крепче прижался к земле, от страха у меня зуб на зуб не попадал. И вдруг словно гром грянул, и над моей головой с жужжанием пролетели пули.

Магомет сердито приговаривал по-ингушски, не прекращая стрельбы. Отца я не видел, но с той стороны, куда он уполз, гремели выстрелы.

— Ал-лах! — донесся вдруг до меня стон отца.

Я высунул голову из-под шубы и увидел, как по канаве, пригибаясь, бежит Магомет. Я хотел вскочить и тоже кинуться к отцу, но в это время снова несколько пуль со свистом пронеслись над моей головой, и я ничком упал на землю. Тут услышал, как Магомет опустился возле меня на колени и всунул мне в руку револьвер.

— Держись, Ахсар! Никого не подпускай. Я сейчас вернусь...

Обеими руками я вцепился в револьвер и направил его в тьму, к дороге. Не помню, почему я выстрелил, наверное от страха, и тут же Магомет встревоженно спросил:

— Ахсар, ты что?

Я оглянулся. Магомет, привстав, обернулся в мою сторону, но вдруг, покачнувшись, упал.

— Магомет, что с вами? Магомет!

Магомет со стоном приложил руку к груди, поднялся с усилием, вскинул на плечо винтовку и, опираясь на другую винтовку, хрипло сказал:

— Пойдем отсюда... Где револьвер? Возьми... Не бойся, Ахсар. Сына брата моего Фидара я не отдам волкам...

К рассвету мы добрались до ингушского селения. Ноги Магомета подкашивались, его одолевала кашель: он харкал кровью. Добравшись до плетня, он обхватил руками кол и прислонился к нему.

Подбежав к крайнему дому, я увидел во дворе маленького белобородого старичка.

— Магомет... — только и смог выговорить я и указал рукой туда, где оставил Магомета.

Старичок с недоумением и испугом посмотрел на меня, потом, подпрыгивая, побежал, опередив меня.

— Человек хороший, очень хороший человек... — на ходу приговаривал по-ингушски старик, словно я не знал Магомета.

Со всех дворов сходились мужчины и женщины. Они подняли Магомета и на руках понесли его по улице. Я видел мертвенно-бледное небритое лицо Магомета. Он кого-то искал глазами. Увидев меня, он закрыл глаза.

Людей собиралось все больше, но среди них не было моего отца.

«Где он? — тревожно думал я. — Его брат Магомет ранен, почему же отец не несет его?»

Время шло к полудню, а народ все еще толпился во дворе Магомета. Наконец и меня подвели к нему. Магомет положил свою холодную бледную руку мне на голову и хриплым голосом проговорил:

— Держись, мальчик! — И он обвел взглядом всех присутствующих. — Сын Фидара. Сирота... Брат мой Фидар поручил мне своего единственного сына, я поручаю его вам. Пусть он никогда не чувствует себя сиротой. Храбрый был человек его отец, сердечный брат мой...

В тот же день Магомета не стало. Вскоре при-

несли и моего отца. Он был завернут в черную бурку. Заплавав навзрыд, я упал на его грудь. А когда поднял голову, то увидел, что во двор вошел статный, тонкий в поясе человек. Его смоляные волосы красиво вились, на бледном лице чернели усы.

— Серго, Серго! — радостно заговорили люди, но мне в моем горе было не до него.

Вдруг кто-то поднял меня, прижал к себе и провел мягкой ладонью по моей голове. Я взглянул и увидел, что тот, кого люди с такой любовью называли «Серго», стоит надо мной. Нахмурив брови, он молча гладил меня по голове, и взгляд его, казалось, говорил: «Держись, мальчик!»

Я остался жить в доме Магомета. Как сына, любила меня его вдова Тамара, ласковы были все в селении, но особенно кудрявая дочка Магомета, четырехлетняя Зарема. Она ни на шаг не отставала от меня, куска в рот не брала, чтобы не поделиться со мной.

Когда мы с отцом покидали наш разрушенный дом, я захватил с собой книгу, дорожке которой теперь не было у меня ничего на свете. «Осетинская лира» называлась она. Я часто читал Зареме стихи из этой книги, и они полюбились ей. Она не раз потихоньку от меня брала эту книжку и рассматривала непонятные знаки. Книга была изрядно потрепана, многие страницы ее выпали, и Зарема спрятала несколько разрозненных листков.

Мне было особенно грустно, я сидел опечаленный. Зарема, увидев меня, решила, что я горюю из-за пропажи этих страниц, хотя я даже и не подозревал о ее проделке. Она убежала куда-то, принесла листки и, подойдя ко мне, виновато сказала:

— Ахсар, вот они... Я их не запачкала!

Я часто видел во сне и отца и Магомета. По ночам мне все казалось, что белых еще не прогнали, что они по-прежнему сидят в своей засаде, замышляя новые злодеяния. И я решил отыскать то место, где был убит мой отец. «Пой-

ду и лягу в канаву,— думал я.— И пусть первый мой выстрел убьет белого начальника, а там я их всех перестреляю! Теперь я ничего не боюсь!»

Однажды Тамара ушла, и мы с Заремой остались дома одни, я взял револьвер, который в ту памятную ночь вручил мне Магомет, и сказал девочке:

— Слышишь, Зарема, ничего не говори Тамаре, сегодня я не буду ночевать дома...

— Ахсар, возьми меня с собой...— умоляюще просила Зарема, и маленькие слезинки блестели в ее широко раскрытых глазах.— Я хочу с тобой...— жалобно тянула она.

— Нет, Зарема, тебе нельзя! Подумай, что скажет мать. А я скоро вернусь и принесу тебе много конфет...— ответил я и погладил ее кудрявую головку.

Услыхав о конфетах, Зарема повеселела. Левой ручкой провела она по блестящему стволу револьвера и, словно читая мои мысли, тихо сказала:

— Возвращайся скорее, а то нани опять будет плакать...

— Хорошо, Зарема, хорошо...— Я нагнулся к девочке, револьвер выпал, раздался выстрел.

Зарема отшатнулась и закричала не своим голосом. Меня охватил такой страх, что я не знал, что делать. Наконец, опомнившись, я бросился к Зареме. Ее левая ручка была вся в крови. Я быстро перевязал ее носовым платком, поднял девочку на руки и внес в дом. Она еще поплакала немного, а потом, успокоившись, заснула, только на пухлой румяной щечке блестела тяжелая капля. Я поцеловал ее и выбежал во двор.

Револьвер валялся на земле, а неподалеку в маленькой лужице крови я увидел пальчик Заремы. Я схватил револьвер, с благодарностью и ужасом оглянулся на дом, приютивший меня, и бросился бежать. Даже книгу Коста не взял с собой.

Когда я очнулся от воспоминаний, в комнате мерно тикали часы, в окнах брезжил свет, ночь миновала. Я задремал и сквозь дрему слышал,

как кто-то вошел в комнату. Передо мной стоял Хадзыбекир в полосатой пижаме.

— Я разбудил тебя?

— Нет, я не спал всю ночь и только недавно задремал...— ответил я и сел на постели.

— Верно, машины за окном мешали? — забеспокоился Хадзыбекир.— Да и обстановка непривычная...

— Нет, не в этом дело! Простите, Хадзыбекир, но у меня к вам большая просьба. Мне все хотелось разбудить вас ночью, чтобы спросить: как зовут мать Заремы?

— Ай-яй-яй...— усмехаясь, ответил Хадзыбекир,— а я-то думал, может, мы чем не угодили гостю! А он, оказывается, из-за девушки всю ночь глаз не сомкнул...

— Нет,— начал было я, но тут же согласился: — Впрочем, вы правы. Я очень прошу вас только об одном: скажите мне, как зовут ее мать? А если вы не знаете, может быть, можно позвонить по телефону?

— Зачем беспокоить телефонистку? Я и сам тебе скажу: Тамара. Клянусь пророком, она будет очень нежна к зятю, особенно к такому, который из-за ее единственной дочери ночей не спит.

— Хадзыбекир, мне надо ее видеть, обязательно видеть! — твердил я, и щеки мои пылали.

— Просьба гостя священна! — ответил Хадзыбекир и вышел в соседнюю комнату.

Я услышал, как он говорил по телефону:

— Зарема, ты? А где Тамара? Дома? Очень хорошо! Немедленно приходите сюда. Очень нужно! Гость? Гость ничего, только всю ночь не спал... Врач? Нет, пока не было. Ждем. Ну да побыстрей! Привет? О, можешь надеяться на меня, передам обязательно.

Аминат еще накрывала на стол, когда в передней раздался звонок. Первой вошла Тамара и обвела нас всех вопросительным взглядом.

Я бросился к ней, взял ее за руку и, взглянув в ее голубые глаза, с волнением спросил:

— Тамара, вы не помните меня? Это я про-

сил вас прийти сюда. Простите, что я затруднил вас... Так вы не помните меня? — повторил я упавшим голосом.

Тамара пристально вглядывалась в мое лицо. Она молчала, но видно было, что она догадывается о том, кто перед ней, и словно боится ошибиться в своей догадке.

— Мизинчик Заремы... — прошептал я.

И тут вдруг морщинка на ее высоком лбу разгладилась, и она обняла меня.

— Сын Фидара! Ахсар!

А я через ее плечо смотрел на Зарему, которая стояла на пороге. Глаза девушки были влажны, крупная слеза катилась по ее округлой щеке, и мне казалось, что это та самая слеза, которая блестела на ее детской щеке двадцать лет назад...

удильник

Памяти поэта Цыппу Хутинаева



ни, наверно, хотели меня подбодрить. Молодой, подающий надежды... Первые самостоятельные шаги... Да чего только не говорили. От этих слов мое лицо горело. Лучше бы я вовсе к ним не приходил. Я только хотел показать кому-нибудь свою рукопись, понять, что я там накрутил-напутал. А они собрались всей редакцией и пригласили самого Цыппу. Он сел напротив и слушал меня, как настоящего писателя, положив перед собой карандаш и бумагу. Подбадривал взглядом: держись, не смущайся...

Держись! Не так-то это просто — читать свои первые стихи перед тем, кого каждый день печатают в газетах, чьи книги выставлены в витринах книжных магазинов. Но я старался крепиться и даже взмок от этих усилий. Невольно я ловил взгляд Цыппу. Движением бровей он успокаивал, поддерживал меня. И я овладел собой. Посмотрели бы на меня со стороны! Вскочил с места и, как заправский поэт, размахивал руками, волосы все время падали мне на глаза... Нет! Энал бы, что соберется столько народу, никогда бы не пришел. Подумаешь, поэт! Явился со свертком бумаги под мышкой... А может, они

правду говорили? Почему же Цыппу с ними не спорил? Верно, стихи сочинял? Едва ли. Он так внимательно слушал, глаз с меня не сводил. А зачем взял мои рукописи? Почему назначил встречу на завтра? Странно, сам писатель и не знает, что до утра я теперь глаз не сомкну. Что же меня ждет завтра?

Так рассуждая про себя, я покидал редакцию «Растдзинад», неторопливо спускаясь по каменным ступеням широкой лестницы. Сверху кто-то окликнул меня:

— Молодой человек, подождите-ка!

Я обернулся. На лестничной площадке, засовывая руку в рукав поношенного черного пальто, стоял Цыппу, продолжая разговаривать с сотрудником редакции. Я рванулся к нему навстречу, но он остановил меня и пошел вниз. Молча взял меня за руку выше локтя и увлек за собой.

— Написано хорошо, надо только кое-где подправить, — сказал Цыппу, когда мы вышли на улицу. — Я живу здесь близко. Зайдем? Еще раз прочитаем, выправим?

Мне все еще не верилось, что мои стихи могут появиться в газете, и я незаметно глянул на Цыппу из-под своей папахи. Его худощавое смуглое лицо было оживленно, он шагал легко и быстро. Но вдруг он пошел потише, опустил голову, видно о чем-то задумался. Я шел рядом и слушал, как хрустит снег под ногами.

— Слышишь? — спросил Цыппу. — Этот хруст мне напомнил моего соседа. За всю жизнь не пришлось ему надеть новую, нелатаную рубашу. На ногах всегда опорки. И однажды зимой, в самые жгучие январские морозы, смотрю, он гуляет взад-вперед по улице. Остановится, поглядит в окна, на ворота соседей и опять, задрав голову, — взад-вперед... Мы с товарищами выскочили на улицу. Очень любопытно было узнать, чего это он разгуливает в такую стужу. Сосед увидел нас, взобрался на высокий камень у самого берега реки и принялся подолом овчинной шубенки отряхивать снег с ног... А на ногах — блестящие новенькие азиатские калоши.

Они ему, как видно, были малы, пришлось их надеть на тонкие носки. Холодно, лицо посинело, зуб на зуб не попадает, а он все ходит туда-сюда, туда-сюда... И глаз не спускает с калош, будто боится, что они соскочат и сами убегут. Ходят калоши по свежему снегу — хруст-хруст, хруст-хруст — и оставляют следы в косую клетку. Я зимой часто вспоминаю своего соседа... Хочется написать рассказ. Как по-твоему, выйдет?

Цыппу снова посмотрел себе под ноги и задумался.

Через несколько минут мы уже сидели у него в комнате. Справа от дверей стояла аккуратно прибранная деревянная кровать. Под окном небольшой четырехугольный столик, прикрытый газетой «Растдзинад». Вокруг него три новых некрашенных табурета. У изголовья кровати — старая тумбочка, а на ней круглый будильник под заржавевшей шапочкой равномерно отбивал: тик-так, тик-так. В углу ведро и старый веник.

— Снимай шубу и повесь на гвоздь. Я сейчас вернусь.

Цыппу вышел, схватив ведро и веник. Из коридора послышался грохот. Вскоре он воротился с охапкой дров, сбросил их около печки и сказал:

— Чего стоишь? Садись. Сейчас так затоплю, что стены треснут...

— Может, вам помочь? — спросил я.

— Эта печь, кроме меня, никого не слушается. Когда разгорится — не отличишь от «кавцинковских». Впрочем, что заранее расхваливать. Разгорится — сам увидишь.

И верно, через несколько минут в круглой чугунке запылал огонь. Как кузнечик в сенокос, тоненько затрещал пузатый красный чайник, будто хотел заглушить тиканье часов.

Наша беседа за маленьким столиком затянулась до глубокой ночи. На рукописи моей не осталось чистого места. Цыппу сплошь исчеркал ее красными чернилами. Мне даже показалось, что он нарочно переписывает и мои слова красными чернилами. Пусть, мол, запомнит получше, пусть знает, что писать не так легко и просто.

— Вот и все! Завтра перепишем начисто и дадим редактору,— сказал Цыппу и снял с печки чайник.

Я не знал, как его благодарить. Выправил стихи, да еще угощает чаем! Никогда я не пил чай с таким удовольствием. Медленно, с расстановкой опорожнил две огромные кружки. Цыппу стал меня уговаривать заночевать у него. Поздно уходить, уляжемся как-нибудь «валетом» на его кровати.

Сказать по совести, я бы с радостью остался. Мог бы лечь на полу, мог бы до утра просидеть на стуле, но мне было неловко, и я отказался. Пробормотал что-то про хозяев дома, у которых остановился. Наверно, я слишком часто поглядывал на часы, и Цыппу заметил:

— Куда спешишь? Что на часы поглядываешь? Понравились?

— Часы хорошие...— невнятно пролепетал я, язык меня совсем не слушался.

Я надел шубу. Цыппу проводил меня до ворот.

— Сегодня еще раз посмотрю рукопись. А завтра приходи прямо в редакцию,— теплым, душевным голосом сказал он и попрощался со мной.

Я шел с высоко поднятой головой, казалось, счастливее меня нет никого во всем городе. На улицах еще встречались редкие прохожие. Снег под ногами скрипел ночью еще сильнее. Мне хотелось поскорее излить свой восторг. Но кому сказать? Кто знает меня в большом городе? Ладно, поделюсь радостью со своими хозяевами...

Снова и снова перед глазами вставали худые, жилистые пальцы Цыппу. Крепко вцепившись в тонкую деревянную ручку, они выводят красными чернилами слова, слова громоздятся друг над другом, для иных не хватает места между строк, и тогда кончик пера перескакивает на поля, пишет нужное слово и, обвязав его красной нитью, тащит к строчкам. Снова я вижу утомленный взгляд Цыппу, снова привычным движением по-

правляет он растрепавшиеся волосы. И, торопясь заглушить тиканье часов, коротким носиком попыхивает пузатый чайник на печке...

Снег сухо скрипит под ногами. Морозный ветерок пощипывает нос, щеки. Дом уже близко. Только пройти один темный переулок. Кругом ни души, глубокая тишина. И вдруг в моем кармане раздается резкий звонок. Я аж подпрыгнул. К чему скрывать — испугался до смерти. Потом опомнился, схватился за свою овчинную шубенку. В правом кармане билось что-то круглое, живое, гудело, как сирена. Будильник! Будильник, который так трудолюбиво отбивал такт на тумбочке Цыппу.

Значит, он подарил мне его? Незаметно сунул в карман? Я прижал часы к груди.

А будильник все звонил и звонил, и в морозной тиши далеко раздавался его звон.



абоци опять засмеялся



огда приближаешься к селу Нагорному, то первое, что слышишь,— это звон наковальни. Значит, колхозный кузнец Габоци уже на своем посту. Никаких сомнений в этом быть не может. А впрочем, если вам когда-либо пришлось побывать в Нагорном, вы тогда, конечно, видели Габоци. Он невысок ростом, крепкого телосложения. Усы у него густые — они словно крючки, на которых осетины подвешивают к потолку сало. У нас после того, как зарежут скотину, скатывают ее сало в круглый ком и туго перевязывают его. И такой шар сала подвешивают на крючок, вбитый для этой цели в потолок. Вот на такой крюк, черный и крепкий, походили закрученные вверх усы Габоци. Между его румяных пухлых щек виден небольшой острый нос. Глаза у него голубые, маленькие, живые. Летом он носил черную войлочную шляпу, длинную рубаху из простого ситца, широкие брюки, сафьяновые мягкие сапожки и поверх них мелкие чуваки. Зимой надевал на голову бурую папаху и носил шубу с суконным верхом и сапоги.

Но вот сколько лет Габоци, того он сам не знает. В сельсовете он отмечен как пятидесяти-

пятилетний. Так оно, наверное, и есть. Но, представьте, сам Габоци не хочет согласиться с этим.

— Слушайте,— говорит он,— почему вам так хочется записать меня в список стариков? Нет, принять на себя столько лет я не согласен.

Впрочем, долгое время Габоци никакого внимания вопросу о своем возрасте не уделял. Сколько, мол, хотите, столько и считайте, от этого я старше не стану. Но в начале войны этот счет повернулся по-серьезному. Тут-то Габоци и не признал данных сельсовета о своем возрасте.

— Ошиблись они,— настаивал он, разговаривая с райвоенкомом.— Видно, спутали меня с кем-нибудь из однофамильцев. Что вы, да разве мне может быть столько лет? Нет, это ошибка. Ради всего лучшего, прошу, не ставьте мне препятствий. Старший сын мой уже там, и я должен быть там.

— Ничего не могу поделать, дорогой. Если я даже и отправлю вас, все равно в городе вам откажут, и придется домой вернуться,— ответил военком.

— Так я вам о чем и говорю? Ведь возраст мой неправильно показан. Возьмите и вот здесь переправьте, чтобы меньше возраст был,— умолял Габоци.

— Нет, давайте решим так, Габоци. Всем нам на фронт уйти никак нельзя. Надо кому-нибудь и в тылу помогать Красной Армии. Какое значение имеет сейчас для колхоза ваша работа, вы сами лучше меня понимаете. Вот и все. Пока идите, а как только подойдет надобность, вызовем и вас.

И как ни умолял, ни убеждал Габоци военкома, тот остался непоколебим.

«Этих военкомов не переспоришь»,— сказал сам себе Габоци и возвратился домой.

С этого дня и началось с ним то, о чем следует здесь рассказать. Как известно, в любом селении бывает свой шутник и весельчак. Люди привыкают к нему и так его любят, что ни минуты не могут обойтись без него. Таким в Нагорном селе считался Габоци.

Почему Габочи так весел, об этом в селе толковали немало.

— Характер у него такой,— говорили одни.

— Жизнь у него без забот,— говорили другие.

Может быть, обе стороны были правы, а может, и нет, но сам Габочи, слушая такие споры, весело смеялся и говорил:

— Известна ли вам поговорка о том, что работа без человека мертва, а человек жизнь ей дает? Работу поднять надо, сдвинуть с места и дать ей жизнь надо. И когда докрасна раскаленное железо кладешь на наковальню, вертишь его так и сяк и бьешь по нему тяжелым молотом, который гнет и мнет железо, точно это тесто, а кругом все звоном звенит, как тут не веселиться и не радоваться? Или вот вы говорите о смехе. Как я понимаю, это для человека такое хорошее лекарство, которое даже больного может поставить на ноги. Только избави вас бог от дурацкого смеха без причины, он хуже яда вредит человеку. И для того, чтобы жилось весело, есть еще одно важное дело: у настоящего мужчины жена должна быть хорошей хозяйкой. Такая хозяйка, когда муж вернется с работы, вместе с куском хлеба рог араки подносит. А почему без этого нельзя обойтись? А потому, что за долгий день работы в горло набивается всякая пыль и копоть, и когда зальешь в рот араки, то она все это бесследно смывает. Тут же и охота к еде у тебя появляется. Нет лучшего средства для того, чтобы всегда веселым и здоровым быть, чем рог араки после работы. Но если араку с утра глушить, то от этого никто не поправлял своих дел и своего здоровья.

Предки наши говорили, что муж и жена одним топором рублены. Это верно. Конечно, жена Габочи Ацырухс худощавее его, но характером очень к нему подходит. Если мы уж заговорили о ней, нельзя утаить того случая, который соединил их вместе. Несправедливо будет скрыть этот случай. Кроме того, они так любят друг друга, что им приятно будет вспоминать об этом.

Ведь об одном глазе никогда не говорят, можно только сразу говорить об обоих. Словом, когда Габоци было впору жениться, он однажды ясным днем проходил по улице соседнего села. Вдруг до ушей его донеслась песня — пел приятный девичий голос. И, услышав этот голос, Габоци почувствовал, как дрожь прошла по его телу с головы до ног. Крадучись пошел он туда, откуда слышна была песня. Видит: возле дома, под навесом, сидит совсем молоденькая девушка, смуглая, стройная. Она вяжет чулок и поет:

Только из шелковых ниток
Пусть мне пояс соткут,
Только за того, кого люди уважают,
Пусть замуж меня отдадут.

Слушая эту песню, Габоци, забыв обо всем, стал на колени возле плетня и прильнул к щели. Девушка так понравилась ему, так пристально глядел он на нее и так внимательно слушал ее песню, что даже не заметил, как к нему подошел мужчина. И тут вдруг Габоци услышал:

— Молодой человек, не собрался ли ты среди белого дня что украсть ненароком?

Габоци вскочил. Он взглянул на того, кто задал ему вопрос, и покраснел. Но тот, видно, понял все и улыбнулся.

— Не так поступаешь, как надо, молодой человек. Подойди прямо к ней...

Вот на этой-то девушке и женился Габоци. То, о чем мечтала Ацырухс, сбылось. Вышла она замуж за человека, уважаемого всеми и к тому же веселого.

Так вот, вернувшись из военкомата, перестал Габоци смеяться. Всю жизнь смеялся и вдруг... замолк.

Население села Нагорного не привыкло жить без смеха, веселых разговоров и песен Габоци. Но в колхозной кузнице смолкли песни и смех. Зато все громче звенел там молот о наковальню.

Бывало, колхозники пытались по-всякому вызвать смех у Габоци. Для этого они приходили в кузницу, со всех сторон окружали Габоци и за-

брасывали его веселыми вопросами и замечаниями. Но пронять Габоци было невозможно. Он будто не слышал их и работал еще усерднее. Скоро его оставили в покое.

Когда фронт приблизился к селу Нагорному, правление колхоза поручило Габоци укрыть в потайном месте весь колхозный инвентарь. Большую половину он успел уже спрятать, когда на краю села появились немцы.

Секретарь райкома и председатель колхоза посетили Габоци в его опустевшем доме.

— О семье своей, Габоци, не беспокойся. Наши семьи, верно, уже миновали ущелье. Но самому тебе придется остаться здесь. Ведь кому-нибудь из наших надо остаться,— так говорили секретарь райкома и председатель колхоза.

— Умоляю вас, не оставляйте меня под немцами,— просил Габоци.— Я вместе с вами пойду партизанить. Какое угодно дело на себя возьму, только в волчьих когтях не оставляйте.

— Ты и будешь нам здесь помогать, если сумеешь,— коротко ответил секретарь райкома.

Габоци вздохнул и согласился.

— И только семье моей сообщите обо мне,— попросил он.

И через час после этого разговора какая-то непонятная хворь вдруг поразила Габоци в бедро — совсем охромел наш кузнец.

Немцы заняли село Нагорное. В эти чудовищные дни Габоци в своем саду под деревьями соорудил незаметную землянку. Никто из соседей ни разу не заметил, чтобы Габоци вышел на улицу. Но немцы сами прискакали к нему.

— Ты для нас самый нужный работник, вернись сейчас же в кузницу,— сердито говорили они.

— Я не наберусь силы даже из постели вылезть, какая же речь может идти о кузне? — пыхтя и кряхтя, отвечал Габоци.

Немцы сначала ему не поверили. Они даже несколько раз пригрозили ему плетью... Но тон у Габоци был убедительный, по всему видно было, что он рад бы пойти в кузницу, но вот

проклятая хворь поразила бедро. И он кряхтел, пыхтел, проклиная болезнь, и так это было убедительно, что немцы оставили кузнеца в покое.

Если бы все на этом кончилось! Но тут вдруг, откуда ни возмись, землянку Габоци отыскал молодой человек из верхнего квартала села — он недавно поступил на службу в полицию. Сейчас он был вдребезги пьян и еле стоял на ногах перед Габоци.

— Друг, приятель отца моего, добрый вечер... По делам службы прислали меня на нижний квартал, и, проходя мимо, зашел я навестить тебя. Эх, даже лампа не горит у тебя! Видно, русских бомб боишься? Что ты молчишь? Подожди-ка, стой, или ты не Габоци? Не разберу я впотьмах...

— Еще о чем спроси! Или ты не знал, куда ноги несут? — нехотя ответил Габоци.

— Кто? Я не знал? Я к тебе направлялся, Габоци, — повысил голос полицейский.

— Напрасно ты все-таки в темные ночи по селу шляешься. Попадешь в руки честным людям, нехорошо будет с тобой.

— Так вот как ты смеешь со мной разговаривать! То-то вдруг ты в убогого, хромого превратился. Колхозное имущество запрятал? Большевистский агент... Прощайся с жизнью, я приговорил тебя к расстрелу! — залпом выпалил предатель и наставил на Габоци автомат. — Рассказывай все: где добро? где партизаны?

В эти минуты мозг Габоци работал напряженно: «Как быть? Убить, задушить проклятого холоуя? Нет, лучше связать и бросить в темный подвал под домом, который только одному мне известен!» Да, решено! Могучим ударом Габоци выбил автомат из рук врага: пьяный полицейский зашатался и упал на пол. Габоци теперь легко было с ним справиться: он связал полицейского проволокой и опустил в глубокий, темный подвал.

Тяжелы и длинны были те короткие дни: смерть кружилась вокруг Габоци, но ни на одну минуту не забывал он о порученных ему делах.

Днем болел, ночью выходил... Немцы бесились и рыскали всюду в поисках добычи. Габоци тоже ждал к себе «гостей» и готовился к приему. Немало у него было припрятано добра. Нашел яичек, две курицы: знал он лакомства врагов. И когда нагрянули к нему два немецких солдата, он показал им свое «гостеприимство»: пьяные и обезоруженные, они очутились рядом с полицейским, которого искали...

И вот грянул веселый гром, затряслась земля. Всполошились немцы и бежали из Нагорного села, бросая своих мертвых и раненых.

Прошло не то три, не то четыре дня после бегства немцев.

Солнце уже довольно высоко взошло, когда к воротам Габоци подошли секретарь райкома партии и председатель колхоза. Были с ними и другие колхозники.

— С праздником, Габоци! Спасибо тебе от имени партизан! — произнес секретарь райкома и пожал руку Габоци.

— Все это очень хорошо. Но есть одно дело...

— О судьбе своей семьи хочешь спросить? — подхватил разговор председатель колхоза. — Чего тебе бояться за нее? Да как же я не сообщил тебе об этом раньше! Твою Ацырухс в горах похитил какой-то старик. — И председатель колхоза первый рассмеялся во весь голос над своей остротой.

— Этого-то я как раз не боюсь. Прирученная она у меня, кто бы ни похитил, домой прибежит, — ответил Габоци.

— Тогда с тебя магарыч. Она едет за нами следом, — видя, что Габоци волнуется, поспешил сообщить секретарь райкома.

— Извините меня, но сейчас я так хочу ее видеть, даже слов не нахожу выразить это желание. Эх, если бы в такой момент была она возле меня! — говорил Габоци и все поглядывал в сторону улицы.

— Сейчас она будет здесь. Если дорога разрыта, так хоть ползком, а доберется она до тебя, — улыбнулся секретарь райкома. — А теперь

покажи мне те места, где ты запрятал имущество. Колхоз восстанавливать надо...

— Ладно, ладно, дорогие мои,— ответил Габоци и повел их по тем местам, где спрятал имущество колхоза. Все оказалось в сохранности и порядке.

— Есть еще одно дело, братцы,— сказал Габоци и повел своих друзей к тому подвалу, куда он сбросил пленных, опустил лестницу и попросил колхозников помочь. А сам продолжал объяснять:— Смотрите сюда. Сейчас я вам покажу то, что мною здесь спрятано. Только не ждите каких-либо ценностей, хотя спрятать это было даже труднее, чем если бы это были ценности. И если вы не пожалели меня и оставили здесь, то я вам сейчас полностью отчитаюсь... Только еще раз предупреждаю вас: это отнюдь не ценности, а просто, если правду сказать, так совсем дрянь... Теперь идите за мной и смотрите...

Габоци зажег карманный фонарь и стал спускаться по лестнице.

— Эй, фрицики, еще не подошли? — не удерживая своей радости победителя, крикнул Габоци в темный подвал.

Партизаны удивленно смотрели на Габоци.

— Отойдите, а то слуги Гитлера, что здесь в засаде так долго сидели, задавят вас, чего доброго,— взглянув на удивленные лица своих спутников, весело сказал Габоци.— Ну, вставайте, если отоспались после долгих походов и осетинской араки,— еле сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, добавил он.

— Пора вам опохмелиться, «завоеватели мира»,— сказал секретарь райкома, и тут все засмеялись. Но громче всех, во весь голос, первый раз после долгого молчания рассмеялся Габоци.

— Ой, дорогие мои! — раздался вдруг радостный голос Адырухс.— Слышу я, снова вернулся смех к моему благоверному!

Адырухс стояла в дверях скрестив руки на груди и, улыбаясь, глядела на собравшихся людей и на своего мужа.



Уо двор зашли трое наших соседей. Впереди старший — Бындзи. Он шел согнувшись, будто придавленный тяжким бременем; казалось, вот-вот ноги откажутся ему служить. У порога он снял лохматую папаху, ударил ею о колено, стряхнул с воротника шубы снег и исподлобья посмотрел на меня. Я сразу понял и подался ему навстречу, чтобы помочь преодолеть ступеньки. Небритый, худой Кази опередил меня. Он взял под руку старика и легко ввел на лестницу, будто поднимал за крыло. Следом за ними подскочил Мандзай. Маленький, головой по грудь своим товарищам, он как нельзя лучше оправдывал свое имя¹.

Все трое очень дружили с дедом. До глубокой осени вместе с ним работали в поле, вместе возвращались домой, толковали о колхозных делах. С тех пор как дед заболел, друзья не находят себе места. Приходят чуть ли не каждый день, развлекают, вспоминают старые забавные истории. И если случается, что друзья долго не показываются, дед очень по ним скучает.

¹ М а н д з а й — маленький.

— Нет, Саулаг, пока мы опять не вырастим на своем поле хорошей кукурузы, мы тебя никуда не пустим. И если сказать правду, то сейчас мы здесь нужнее всего. Вырастим, а потом попросимся с младшими нашими. В этом году тот хумалагский опередил нас, но на следующий от него мухи полетят! Так я говорю, Мандзай, или нет? — спрашивает Бындзи, поглаживая белую бороду.

— Клянусь нашими отцами, мы еще не сидим в яме, — немедленно откликается Мандзай; слова, как горох, быстро сыплются с его языка. — Правду я говорю, Кази?..

— Правильно, как стрела. Что ты скажешь, Мандзай, — все будет сделано. Разве я вру, Саулаг? — спрашивает Кази дедушку.

Дедушка улыбается.

— Мандзай не такой человек, чтобы попусту говорить. Пусть расскажет, как тонул.

— Ой-ой, Саулаг, ты всегда эту историю вспоминаешь! Клянусь отцом, Мандзай много раз вытаскивал из воды чурбанов поздоровей вас. Но я знаю, что вы не оставите меня в покое, придется рассказывать. Уаллаги, если бы не эта паршивая арака, я бы и подошвы не замочил! Был я выпивши, захотел прогуляться по берегу реки. Посмотрели бы вы тогда на меня, хожу себе победителем, будто я фашистские войска разбил. Не поверите, я сперва подумал, что хожу вдоль своей канавы. Дай, думаю, перепрыгну... Как я очутился на самой середине реки, даже и не понял. Сперва мне понравилось. Лежу как на пуховой перине. Потом вода в рот набралась. заломило поясницу... Эх, думаю, пропал Мандзай, и стал vyplывать к берегу. Шляпу свою войлочную увидел невдалеке при лунном свете. До берега осталось совсем близко, и тут чувствую, что мне кто-то левую ногу оторвал... Еле-еле выбрался. Вздохнул, встал, а нога болтается, как неживая. Пропадет мой труп ни за грош, ни за денежку, думаю. Стал ползти. Услышали мои стоны собаки. Сбежались. Одна схватила за больную ногу, потащила меня за собой. Я кричу, собаки

лают... На шум собрался народ. Отняли меня у собак.

«Так ему и надо. Таким арачным бурдюкам это наука. Так-то будет лучше!» — ворчит кто-то.

«Я же Мандзай, ваш Мандзай,— говорю.— Поищите мою левую ногу, кажется, она осталась в воде»,— говорю.

«Не беспокойся о ноге, лучше думай о своей дурной башке»,— опять ворчит тот же голос.

«Лучше бы ты выпил свою долю похоронного, Мандзай!»— сказал кто-то и ударил меня прямо по больной ноге.

С тех пор я твердо решил:

«Ах, собака, собака, собака ты, Мандзай, чтобы ты еще когда-нибудь араки выпил!..»

Эту историю Мандзай давно не рассказывал. И односельчане о ней забыли. А теперь дед снова напомнил, но Мандзай не обиделся. Старики хотели хоть как-нибудь развеселить больного. Улыбка деда всего дороже. Без шуток, без улыбки дед на себя не похож. Никто его не видел немощным и мрачным. И все носили ему вкусные гостинцы: кто сладкий пирог, кто спелую грушу. А если дома ничего не было, зайдут в магазин и купят конфет или лимонов. Ничего не жалели для деда.

— Говорил вам, не балуйте меня. Теперь поздно пирогами угощать,— шутил он.

Тогда Мандзай всех перебивал:

— То, что мы принесли, пойдет тебе впрок. Но чем говорить, лучше покушай. Около тебя горы яств...

— Я все время говорю, ничего мне не нужно, но никто не слушает. Идут, несут кто что может, а как помешаешь...

— Завтра же стану у ворот, никого к тебе не пушу!

— Что ты скажешь, Мандзай, то и сделаешь. Но пусть и каждый делает, что считает нужным,— сказал Кази.

— Но он же ничего не кушает! Что из того, что приносят? Что тут, музей подарков?..

— Прекратите этот бессмысленный спор,— сказал Бындзи и завел какую-то длинную старинную историю.

И вот наступил вечер, когда не слышно было веселых разговоров стариков. Хуже стало деду. Днем у нас был председатель колхоза Агубе и привез с собой районного врача, пришел и сельский врач. Они вышли во двор и не заметили, что я стою в сарае.

— Ну как? — спросил Агубе приезжего врача.

— Что же скрывать... Нельзя надеяться, что выживет,— ответил врач, и я услышал тяжелый вздох Агубе.

Вскоре меня позвал дед. Своими холодными, худыми пальцами прижал он мою руку к своей волосатой груди. Как будто боялся, что я убегу, пристально смотрел на меня. Его черные глаза, покрытые мутной пеленой, вдруг заблестели. В груди будто что-то порвалось, захрипело. Он хотел говорить, но его посиневшие губы только шевелились. Долго смотрел он на меня, потом глубоко вздохнул, и я услышал шепот:

— Лаппу, семью оставляю на тебя...

Посмотрел на бабушку и отпустил мою руку.

Я вздохнул. Слезы остановились в горле. Ничего не смог ему сказать. Он снова взглянул на меня и глазами сказал, чтобы я ушел.

В сарае я уже не смог сдержать слез. У меня еще дрожали руки от прикосновения холодных пальцев деда.

— Лаппу, иди возьми меда у Сахама. Дед совсем уже дышать не может... Может, от меда легче станет,— услышал я рядом голос бабушки, и она подала мне стакан.

Сахама я встретил во дворе. Он нес из сеновала кукурузные стебли.

— Дед очень плох. Немного бы меда ему...

Сахам даже не взглянул на меня. Исчез в хлеву со стеблями. Вскоре снова появился. К его лохматой шапке прилипли гнилые листья и свисали до самого носа. Он еле улыбнулся мне.

— О-о, это ты, бабе! Откуда явился в вечернюю пору?

Я еще раз объяснил ему, зачем пришел. Он принялся чистить шапку и захихикал.

— Ищи прошлогодний снег... какой еще у нас мед? Соседи разобрали. Саулагу говорил — заведи пасеку. А теперь, видишь, понадобилось ему... Нету меду, бабе, нету. Соседи разобрали. Я для Саулага души своей не пожалею. Мы же соседи, хлеб-соль вместе кушаем, мы же ничего не делим... А откуда возьмешь, если нету?

На крыльцо выглянула кудрявая дочь Сахама.

— Папа, а Сережа мне мед на голову налил...

Сахам завертелся как юла, крикнул на дочь:

— Иди домой, говорю! Зачем на холод без платка выходишь? Одна чашка меда осталась и ту пролили. А если для спасения души понадобится?... Вот, окаянные, сейчас я вам покажу!

— Деду нужно. Плох он,— повторил я.

— Дай бог...— начал Сахам и оборвал речь на полуслове.— Некогда мне с тобой, скотину нужно убраться.

Оставив меня посредине двора, он ушел в хлев.

От злости у меня даже в горле пересохло. Вынул из кармана стакан и что было сил запустил в столб, подпиравший хлев, и выскочил на улицу, будто в этом дворе у меня ноги горели.

«Неужели дед ничего не сделал для Сахама на стакан меда? Он же сам говорит, что от деда много видел хорошего,— думал я, покуда бежал домой.— Эх, если б был жив баппу! Когда он уезжал на фронт, Сахам прятался. Легкие, видишь ли, у него не в порядке! Потом огородился от людей колючей проволокой. Как хорек, все ташил в дом...»

Во дворе меня встретила бабушка.

— Где мед?

— Нету!..

Бабушка помолчала, потом кивнула мне.

— Поезжай, Лаппу, в лес за дровами. Возьми кого-нибудь из наших. Лошадей Агубе обещал.

Племянник бабушки Айтег учился со мной

в девятом классе. Я зашел к нему, запрягли лошадей и поехали в лес.

Лес у нас недалеко, и дрова у меня были заготовлены. Надо торопиться. Лошадей нельзя задерживать, нужны колхозу.

Уныло скрипят колеса арбы, и мне кажется, что это стонет дед. Ветер дует, поднимается метель, холод пронизывает тело насквозь. Айтег злится на Сахама.

— Хапуга он. Чужой человек... Из-за своих пчел весь лес эксплуатирует. Где картофель сажает, где кукурузу сеет, капусту... Лесники молчат, терпят. Купил он их аракой с медом. Удивляюсь, как прощает сельское начальство! Устроился лучше всех, богат. Папаха молодецкая, будто дразнит других...

Село наше скрылось из виду. Слышен только лай собак.

«Интересно, на кого лают? Может, дед?.. Похоже, наш Корноухий воет...» — думал я, и сердце неровно стучало в груди. Снова в ушах отдавались слова деда. И шум колес превращался в его непрерывный стон.

Солнце низко опустилось, когда мы погрузили дрова на арбу и вернулись в село. С утра оно только раз и показалось. Серый туман заволок землю — не поймешь, где лес, где поле. Только кружатся перед глазами плоские белые снежинки. Ветер не может одолеть туман, мучается, а не может. Собирает над ними снежинки, крутит их, как в воронке, а туман все держится. Около села он сделался совсем густым. Лошади побелели от инея.

В селе туман немного рассеялся. Я посмотрел вдаль и увидел, что люди группами идут к нашему дому.

— Пропали мы! — только и сказал я Айтегу.

Айтег кому-то передал лошадей, и мы, плача, пошли вслед за людьми.

Во дворе возле сарая собралось много народу. Из дома доносились женские причитания. Я никого не узнавал, помню только, кто-то меня обнял, кто-то дрожавший как в ознобе.

А позже, когда я замерз и стоял в избе в коридоре, глядя, как мужчины возятся возле большого котла, увидел, как Сахам, засучив рукава, орудует шумовкой с мясом.

— Как же это? Что ж он теперь так старается?.. — Кулаки невольно сжались, глаза налились кровью, задрожали ноги.

— Подожди! — поймал меня за руку Айтег и посмотрел на Сахама.

Кирпично-красный, в папахе, лихо надетой набекрень, он потрясал шумовкой с куском мяса и приговаривал:

— Мясо готово... Опаздываем... Неудобно перед людьми...

Отрезал кусок, полюбовался на него, будто кого-то дразнил, и попробовал.

Я рванулся к нему, но Айтег опередил меня.

— Люди добрые!.. Скажите этому человеку, чтобы он убирался отсюда! Уходи отсюда, куда не случилось беды! Умиравшему ты стакан меда пожалел, а на поминках ты главный?

— А ты кто такой? Какое у тебя право меня гнать? — закричал Сахам, и кусок мяса с шумом упал в котел.

Я бросился к нему. Меня схватили. Я встретился взглядом с Сахамом. Он посмотрел на меня серыми глазами, потом опустил рукава и направился на улицу, будто боялся, что его ударят...

— Иди, иди... Тебе с людьми нельзя жить! — сказал Мандзай и плюнул в сторону.



краденная песня



дверь постучали, и не успел я ответить, как в кабинет вошел человек с красным обветренным лицом, лет двадцати пяти.

— Простите,— сказал он и смущенно взглянул на свои запыленные сапоги.

Поздоровавшись, он робко подошел к моему столу, осторожно отряхнул пыль с синих галифе и уселся. Я видел этого человека впервые. Однако, чтобы убедиться, что это действительно так (а вдруг он окажется старым знакомым, которого я не видел много лет!), я украдкой еще и еще раз взглядывал на него. Посетитель молчал. И тогда, чтобы прервать молчание, я спросил его так, словно мы были давно знакомы:

— Ну какие новости? Все живы? Здоровы?

Парень удивленно посмотрел на меня и ответил несколько растерянно:

— Новости? Нет, ничего такого я не слышал... Простите, о ком вы спрашиваете? Разве в нашем селе у вас есть родные или друзья?

— Скажите, из какого вы села, и тогда узнаем, есть ли там у меня друзья и родичи.

— Я из Овражного... Вы бывали там? — несколько нерешительно спросил парень.

— Овражное? Нет, слышать слышал, а бывать никогда не бывал. Простите за любопытство, что привело вас ко мне?

Гость отвел глаза от стены, которую он внимательно рассматривал, придвинул ближе ко мне свой стул и быстро заговорил:

— Дело... видите ли, в том... Как бы это сказать? Одним словом, о моем отце сочинили песню. Хорошую песню! Только в последнее время почему-то совсем перестали ее исполнять. Вот я и пришел к вам. Может, вы скажете кому надо, и снова запоют эту прекрасную песню...

— А кроме как в вашем селе эту песню пели еще где-нибудь?

— Вот этого я вам не скажу. Думаю, что ее знают все... Может быть, вы думаете, что это обыкновенная песня? Нет, клянусь всеми святыми, это такая песня... Хотите, спою?

— Нет, нет,— запротестовал я.— Я плохо разбираюсь в музыке. Вот композиторы...

Но гость не дал мне договорить и низким сипловатым голосом тихо затянул песню. Вскоре он, по-видимому, забыл, где находится, и стал петь все громче и громче.

— Прошу вас, пожалуйста, потише,— умолял я.— В рабочее время, в учреждении... Нет, нет, это невозможно.

Но ни слова, ни отчаянные жесты, которыми я пытался прекратить пение, не действовали: казалось, он меня не слышит.

Наконец он смолк.

— Что ж, песня неплохая,— сказал я, чтобы не обидеть певца.

— А что я говорил! — воскликнул парень.— А если бы ее спел артист, да в полную силу, стены бы содрогнулись, стекла в окнах разлетелись бы вдребезги...

Видно было, что он в восторге от песни.

Я впервые слышал ее, и мне она понравилась, только текст показался неясен.

— Вы показывали эту песню кому-либо из композиторов? — спросил я.

Парень удивленно посмотрел на меня и тихо,

точно боясь, что кто-нибудь подслушает, ответил:

— Нет, никому. Да и признаться...— Он замялся.— Ну, да ладно, скажу все по правде: я не верю этим вашим композиторам и боюсь, присвоят они эту песню, переделают немного и выдадут за свою. А вот вам я верю! Я знаю, вам ничего не стоит устроить, чтобы лучшие артисты исполнили эту песню по радио. Прошу вас, устройте это дело, подумайте, такая песня зря пропадает! А все злые языки!.. Завидно, видите ли, что песня эта о моем отце...

— А кто же все-таки они такие, эти злые языки?

— Э-э, да что говорить, есть такие! Даю вам слово, что другой на месте моего отца уже лопнул бы от их клеветы, как старый бурдюк... Прошу вас, ради уважения к отцу и матери вашим, проверните мне это дельце! Сами подумайте: кто сложил эту песню? Народ! Значит, народ должен ее слушать! Пусть только хоть один раз передадут по радио, а уж мы в долгу не останемся!

Мне начал надоедать этот парень.

— О радиопередаче я вам ничего обещать не могу. А вот просмотреть текст песни и вместе с вами поправить его, если это необходимо, это в моих силах. Ну-ка, продиктуйте мне слова...

— Слова, говорите? — Он помолчал.— Как бы это вам объяснить? Когда я пою, слова поются сами собой, а так я не помню их.

Я испугался, что он сейчас снова запоеет.

— Попросите кого-нибудь, кто хорошо знает слова, записать их и принести мне завтра.

— Прекрасно! Завтра же песня будет у вас! Спасибо.— И парень уже направился было к двери, но вдруг остановился.— Простите, пожалуйста, я совсем забыл: завтра прийти никак не смогу. Я пришлю вам песню с одним своим хорошим другом, можно? Он тоже в писанине разбирается...

На другой день никто не пришел. Прошло еще несколько дней, а текста песни так никто и не принес. Наконец как-то утром я обнаружил

у себя на столе смятый потрепанный конверт, — видно, его долго носили в кармане. В конверте на двойном листе клетчатой бумаги, вырванной из школьной тетради, неразборчивым почерком написан был текст. Я прочел его раз, другой, но так ничего и не понял, настолько это все было бессвязно, нескладно и, я бы сказал, глупо. В недоумении я перевернул листок и на обороте прочел следующее:

«Простите, что не удалось зайти самому. Но время теперь летнее: то косить надо, то скирдовать, да и вам мешать не хотелось, от работы отрывать. Вы мне очень понравились. Только, пока ехал от города до нашего села, чуть со стыда не сгорел: сколько времени я отнял у вас своими разговорами! Простите меня. Буду краток: надеюсь, что вы исполните мою просьбу и мы на днях услышим по радио нашу любимую песню. Клянусь, что если вы хоть раз услышите ее в исполнении хорошего артиста, вы велите записать ее на пластинку. Какая песня, ах, какая чудесная песня! Ах, какие прекрасные слова, не правда ли? Когда я вернулся домой и передал ваше обещание отцу, он от радости весь этот день просто порхал по воздуху. Он готов был резать в вашу честь свою последнюю корову... Я пишу вам, и мне все кажется, что из репродуктора, который висит в центре села, вот-вот донесутся желанные слова: «Внимание, товарищи, сейчас народный артист (я вас очень прошу, чтобы это был именно народный артист) исполнит песню о Бибо». Неужели мои уши когда-нибудь услышат это? И уж, пожалуйста, скажите тому артисту, чтобы он не выпустил из песни ни одного слова, а последние пусть споет как можно громче и тянет как можно выше... И еще последняя просьба: как только закончится выступление, вы того артиста никуда не отпускайте, а тут же вместе с ним отправляйтесь в наше селение...»

«А еще пишет «буду краток», — с раздражением подумал я и, не дочитав письма, снова попытался вникнуть в смысл песни.

Загорская утка
Боялась индюшки,
А Гагудз Кутов
Глядел из конюшни...
Гей тох, гей тох! Уарайда! ¹

Ничего не понимая, я опять взялся за письмо.

«К вашему приезду,— читал я, пробираясь сквозь неразборчивые строки,— мы приготовимся как следует, клянусь в этом! Запах шашлыка встретит вас у въезда в ущелье. Если этого не случится, можете плюнуть мне в лицо и тут же повернуть обратно. Ну, я кончаю («Наконец-то!» — Я с облегчением вздохнул), надо идти и предупредить, чтобы пустили радио на полную громкость, а то наш радиотехник имеет привычку уезжать в город и вдруг в нужный момент его не окажется на месте?.. Ждем вас. Не забудьте привезти с собой артиста».

«Шалопай какой-то, бездельник...» — подумал я и уже хотел было разорвать и письмо и эту бесвязную песню, но воздержался. Дай, думаю, посмотрю, как имя и фамилия этого парня... И что же? Сколько ни вертел в руках письмо, так и не нашел ни подписи, ни обратного адреса.

Прошло еще несколько дней. Я сидел и работал, как вдруг раздался телефонный звонок. Сняв трубку, я услышал голос знакомого журналиста из редакции нашей газеты.

— Присылали вам из села Овражного песню о Бибо? — спросил он.

— Присылали. А вы откуда об этом знаете?

— Как же мне не знать, когда тут на вас столько жалоб поступило, что ими можно целый матрац набить. Он жалуется...

— Кто он? — перебил я своего знакомого. — Вам известны его имя и фамилия?

— Нет, не известны. Очень уж подпись неразборчива, настоящая филькина грамота...

— Так как же я могу ответить, если так же, как и вы, не знаю, кому я должен отвечать?

¹ Последняя строка — обычный припев осетинских народных песен.

— Кому вы должны отвечать, я не знаю,— засмеялся мой собеседник,— а вот что он тут о вас написал, это я хорошо знаю, да и вам не мешало бы знать... Вот послушайте: «Боюсь, что песню эту он подправит немного, да и напечатает в газете как свою. Я ведь его разгадал с первого взгляда. По тому, как он смотрел мне в рот, когда я пел, мне сразу стало понятно, что он хочет украсть слова моей песни. Иначе зачем он стал бы так долго держать у себя эту песню?..» Ну, как вам все это нравится?

— Очень нравится!..— сердито ответил я.

— Послушайте, друг мой, или перо ваше затупилось? Как говорится в пословице: олень сам кладет свою голову под топор... Чего вы ждете?

«Верно,— подумал я,— чего мне еще ждать?»

И на следующее утро, положив в карман злощастное письмо, я на попутной машине отправился в Овражное.

Был полдень, когда я подъехал к ущелью. Дальше надо было идти пешком. Я слез с машины и решил, что после утомительной и тряской дороги нужно немного отдохнуть. Конечно, шашлыками, о которых так соблазнительно писал мой корреспондент, здесь и не пахло, да, впрочем, я и не рассчитывал на торжественную встречу. На склоне горы, поросшем ярко-зеленой травой, один над другим расположены были каменные домики, их плоские крыши образовывали причудливую лестницу. На вершинах голых скал, словно охраняя село от невидимого врага, высились две старинные башни. Ветер, дожди и время разрушили камень, и башни хотя и выглядели надменно, но было в них что-то грустное: казалось, они горюют о чем-то. Впрочем, может, им просто надоело без конца смотреть и смотреть вниз, в теснину... Узенькая тропинка вилась над селом и уходила высоко в горы, до самого гребня скалы, где в синеве неба блистали вечноглубые снега. А внизу, у подножия, неслась строптивая горная речка и чуть заметный легкий туман струился над ней...

Повеяло прохладой, я вздохнул полной гру-

дью, потянулся, свежий воздух наполнил легкие, и усталость точно рукой сняло. Умывшись ледяной водой, я закурил.

Откуда-то с противоположного берега донеслась песня. Я огляделся по сторонам, взглянул на вершину скалы — никого. Только среди низкорослого березняка высились, словно громадные войлочные колпаки, стога сена. Правее стелились посевы ячменя и пшеницы, они взблескивали на солнце под нежным ветерком. Откуда доносилась песня, я так и не понял. Все было так прекрасно, что, если бы мне сказали, что это поет сама природа, я не удивился бы.

На противоположном берегу я заметил всадника. Его гнедая лошадка подошла к самой воде и, просунув морду между камней, стала пить с такой жадностью, как будто она впервые в жизни видела воду. Она тяжело дышала, бока ее то вздымались, то опускались, словно мехи гармоники, когда на ней играют. Всадник что-то бормотал, но за шумом реки я не мог разобрать что. Лошадь продолжала пить, а когда напилась, опустила свои короткие уши и, не дожидаясь приказа хозяина, стала переправляться через реку.

— Счастливого пути тебе, гость! — весело сказал всадник, легко спрыгивая на землю и протягивая мне свою огромную, как лопата, руку.

— Спасибо, — ответил я и встал, приветствуя незнакомца.

— Вижу, что путь твой лежит издалека... — продолжал он.

Намотав уздечку на переднюю ногу лошади, он опустился на корточки возле воды и стал умываться — ополоснул свое небритое круглое лицо и докрасна растер загорелую крепкую шею. Облегченно вздохнув, он взглянул на меня и сказал:

— Воду эту я не променяю ни на одно лекарство! Вон видишь мост против школы? Что может быть полезнее для здоровья, как посидеть вечером у этого моста? Глядишь на речку, и ка-

жется тебе, что это совсем не река, а громадный котел с кипящим молоком. Разве это простая вода? Это — целебное молоко лани!

Он достал из кармана огромный красный носовой платок, досуха вытер им лицо и шею и опустился рядом со мной на траву.

— А теперь, если не жалко, угости папироской, — попросил он. — Очень уж завидно смотреть, как ты дым пускаешь... Так... так... — Он закурил, с наслаждением затягиваясь, и добавил: — Голодный, говорят, ничего не понимает... О делах мы поговорим после.

На вид ему было не больше пятидесяти. Небольшой, коротконогий, с толстыми икрами, которые еле влезали в сапоги, он напоминал кражистый дубовый пенек. Тоненький ремешок с серебряным набором прятался в глубоких складках гимнастерки, острые наконечники строптиво топорщились, словно готовы были в любой момент защитить от внезапного нападения его большой, изрядно выпиравший живот. Войлочная шляпа прикрывала волосы, однако я заметил на висках тот иней, который зовется сединой.

— Бывал ты раньше у нас в Овражном?

— Нет, — ответил я.

Новый знакомый бросил на меня очень выразительный взгляд. Упрек, изумление, недоверие — все было в этом взгляде, и мне стало стыдно: как это я действительно до сих пор не удосужился побывать здесь?

А вокруг стояла ненарушимая тишина... Став лицом к речке, собеседник заговорил:

— Ты не смотри, что она такая маленькая, наша речка. Она озорная... Когда весенние ветры несутся по ущелью, с ней никто не сладит. Что ни попадетсЯ ей на пути — мосты, дома, дороги, — все смывает в один миг. Вон там, у Охотничьего холма, видел, как она расчленила гору? Ровно пополам! А сейчас, гляди ты, тихонькая, бежит себе зигзагами, словно это и не она весной столько бед натворила. Ничего, беги, беги, пока мы тебя не взнуздали!

Он говорил это не то шутливо, не то сердито и даже погрозил реке.

— Вы так хвалили свою речку, говорили, что не вода в ней течет, а молоко лани... И вот браните...

— Эх, если бы она всегда была такая спокойная, как сейчас. Ты посмотри на нее весной! Целые скалы,— да что там скалы! — горы тащит она по ущелью, бушует, беснуется. Знаешь, где весной сбегает вниз ледниковая вода? Вон там, где левая башня. Вот мы и думаем: почему бы нам не обуздать нашу речку и не построить здесь электростанцию?

Он попросил у меня еще одну папироску и закурил с такой же жадностью, как и первую.

— Видишь, вон там высоко березы. Среди этих берез растет удивительный цветок. У нас в горах этот цветок называют «мужественное сердце». Да, да, «мужественное сердце», не тебя одного удивляет это название. Никогда не вянет этот цветок: ни зимой ни летом, ни днем ни ночью. Приходят осенние холода, иней покрывает вершины гор, все цветы опускают головки, сбрасывают свой яркий наряд, и только «мужественное сердце» по-прежнему цветет. Вот какой это цветок! Лют дожди, бушуют метели, проносятся ледяные ветры. Кажется, вот-вот они вырвут его с корнем, но нет, не сдается цветок! И всегда этот цветок растет среди березок: наверное, потому, что они гибко гнутся под ветром и защищают своего маленького соседа.

Старики рассказывают, что жил некогда в Овражном юноша. Остался он круглым сиротой. Был он беден, но обладал мужественным сердцем. Уважали юношу за его храбрость и скромность. Но невзлюбили его наши сельские гордецы, при каждом удобном случае старались задеть его, оскорбить. А потом и вовсе решили его уничтожить. Однажды устроили они засаду на скале (на той, где растут сейчас эти удивительные цветы) и, когда юноша отправился на охоту, выстрелили ему в затылок. А когда он упал мертвый, убийцы вынули из его груди

сердце, швырнули его на землю и придавили огромным камнем. А тело сбросили в пропасть. Когда на следующее утро пришли на скалу односельчане, они не нашли громадного камня, которым придавили злодеи сердце юноши, а на месте, где он лежал, покачивались яркие невиданные цветы. Когда настала ночь, убийцы прокрались на скалу, вырвали с корнем цветы, растоптали их ногами. Но взошло солнце, и цветы расцвели еще краше, и прозвал их народ «мужественное сердце».

Собеседник мой замолчал, вздохнул, лицо его стало грустным. Я с недоумением слушал его, не понимая, почему он завел этот рассказ о диковинных цветах. Он мельком, словно нехотя, посмотрел на меня и продолжал:

— Не только за красоту почитает народ эти цветы... Сорвать такой цветок может лишь тот, кто отправляется из Овражного в далекий путь. Перед отъездом, в присутствии всего села, он дарит этот цветок своей любимой девушке или жене, и нет у нас в селении клятвы крепче и вернее, чем клятва, произнесенная при вручении этого цветка... Немногим посчастливилось произнести эту клятву, но, поверь мне, я был бы среди этих немногих, если бы... Ох, ох! — вдруг прервал себя рассказчик. — Сколько времени я отнял у тебя своими разговорами... Да и мне спешить надо! Ну, да ведь ты в село едешь, значит, еще увидимся! Не по правилам это — тебя одного оставлять, ведь ты гость наш, да не могу, должен еще косарей проведать, дела, дела... — И, взяв у меня еще одну папиросу, он сел на лошадь.

— Так, слышишь, будь моим гостем! И не вздумай остановиться у кого-нибудь другого, а то придется тебе козла покупать!¹ А найти меня не трудно, спроси у любого, где Гагудз живет.

«Гагудз, — посмотрев вслед всаднику, подумал я. — Не тот ли это Гагудз, о котором поется в песне:

¹ По осетинским обычаям гость, изменивший своему хозяину, покупает и режет козла.

Гагудз скрылся в чаще, потом еще раз появился на поляне, обернулся, показал мне рукой в сторону села и снова исчез среди деревьев.

В сельсовете я никого не застал. На облезлой, давно не крашенной двери висел замок. Чуть поодаль играли дети. Только я хотел обратиться к ним с расспросами, как из ворот дома напротив вышла молодая женщина. Увидев меня, она насторожилась. Под мышкой у нее была какая-то крышка, видно встреча с незнакомым человеком была для нее весьма нежелательна, она торопливо прикрыла эту крышку своим черным платком и уже хотела возвратиться в дом, но я задержал ее вопросом:

— Простите, не скажете ли вы мне, где все ваше начальство?

— Гагудз...— начала она дрожащим голосом,— Гагудз к косарям уехал... А еще здесь Со-на Таймуразова работает, так она в районе.

— А сколько у вас в селе проживает Гагудзов?

Женщина помолчала, раздумывая.

— Один,— ответила она,— председатель сельсовета.

— Спасибо. Я дождусь Гагудза.

Женщина сделала несколько шагов, потом остановилась и сказала, обращаясь ко мне:

— Добро пожаловать к нам, гость, мы тоже тут недалеко живем!

— Спасибо, спасибо, но я лучше здесь подожду...— ответил я, и женщина, не оглядываясь, пошла по узкой улочке.

Она перешла через мост и вошла во двор низенького дома, расположенного на склоне горы, на том берегу речки. Каменная ограда, окружавшая дом, кое-где была разрушена. Плетеные ворота покосились, словно устав стоять прямо. Сам домик, низенький, с плоской крышей, казалось, прятался под скалой. Его маленькие окна поблескивали в лучах заходящего солнца,— так блестят

в темноте глаза испуганного зверя. По двору кто-то ходил взад и вперед, и сквозь разрушенную ограду виднелась черная папаха.

Я пустился к одинокому домику. Черная папаха то показывалась из-за ограды, то снова исчезала,— похоже, что наблюдавший прятался от меня! «Может, беится, что я зайду к нему в гости? — подумал я.— Но ведь женщина приглашала меня именно в этот дом?..» Я решил все-таки зайти спросить о Бибо да взглянуть на того, кто с таким любопытством следит за мной. Но не успел я осуществить своего намерения, как услышал за оградой нарочито громкий кашель, ворота приоткрылись, и навстречу мне вышел небольшой мужчина. Он делал вид, будто не замечает моего присутствия, потом повернулся и, словно впервые увидев меня, принужденно улыбнулся и кивнул головой. Я ответил на приветствие.

— Какому солнцу, каким дождям обязаны мы, что такой хороший человек посетил наше забытое богом и людьми селение? — спросил он и так насупил брови, что его и без того глубоко посаженные небольшие серые глаза стали почти совсем не видны.

— Привели меня сюда дела, но, по правде говоря, я жалею, что до сих пор не удосужился побывать у вас в Овражном... Какая у вас тут красота, а воздух какой!..

Собеседник мой ничего не ответил. Вид у него был такой, как будто его только что кто-то сильно обидел или он ждал, что с неба вот-вот повалит снег. Но день был летний, небо безоблачно, а обида?.. Я его, кажется, ничем не обидел...

— Дела, говорите? — медленно проговорил он, глядя вдаль.— Это хорошо. Дела человек делает. Я в ваши годы тоже делами занимался. А теперь вот никуда не годен стал, не нужен никому...

— Зачем вы так говорите? — удивился я.— Вы еще совсем не стары и, наверное, верхом проскочите лучше любого юноши. Я встретил тут вашего председателя сельсовета — Гагудза, раз-

ве он намного моложе вас? А как он на лошади гарцует, как по скалам, по оврагам скачет!

Собеседника моего вдруг качнуло, будто ему в спину вонзили кинжал. Ноздри его тонкого с горбинкой носа раздулись, рыжие усы сердито задвигались. Однако он тут же спохватился и льстиво улыбнулся, обнажив блестящие золотые зубы.

— Болезни... Болезни крадут годы у человека. Когда человек болен, ничего не в радость ему: ни горные реки, ни цветущие луга. Да что же это я...— вдруг засуетился он.— Даже не зову вас в дом... Нет, нет, клянусь шелковым одеянием моей матери, которое мы приготовили ей в последний путь, я не отпущу вас. Вы должны отведавать моего хлеба-соли! Добро пожаловать! Не то что скажут люди, которые увидят вас идущим прочь от моей калитки. Не обижайте меня... Такой хороший гость!

И, схватив мою руку, он потянул меня к воротам.

Выслушав мой рассказ о том, что привело меня в Овражное, хозяин мой распустил крылья.

— Пусть твои болезни перейдут ко мне!— воскликнул он.— Так это ты? Что же ты молчал до сих пор? Но сердце мое не обмануло меня. Я сразу понял, что такой хороший человек зря в наше село не приедет! Сын мой так хвалил тебя, и, клянусь шелковым нарядом моей матери, он был прав... Эй, невестка,— крикнул он,— знаешь ли ты, кто стоит у наших ворот? Тот, кого мы так хотели увидеть, сам пришел к нам! Ну-ка, приготовь нам что-нибудь закусить, да поживее!

Во дворе показалась молодая женщина, которую я встретил возле сельсовета. Она успокоительно кивнула старику, как бы давая понять, что, пока мы разговаривали, она успела все приготовить.

— Хорошо, хорошо,— сказал он и повернулся ко мне: — Идем!

И мне ничего не оставалось делать, как последовать за ним.

— А сын ваш, верно, с косарями? — спросил я, когда мы остановились посередине двора.

— Что ты сказал? — Старик с неудовольствием обернулся ко мне. — О сыне спрашиваешь? Да если бы он мог косить или какими другими работами заниматься, что еще мог бы я пожелать? Ты не смотри, что с виду он крепкий такой. Болен он, болен... Вот бедняга и мечется туда-сюда. Из-за него я с равнины в горы переселился: думал, может, здесь окрепнет. Да он, наверно, сам тебе уже все рассказал!..

— Нет, он мне о себе ничего не говорил. — И я представил себе коренастого, краснолицего парня. — И он ничего не делает? — удивленно спросил я.

— Так, кое-что по дому... — уклончиво ответил старик. — Сейчас он в городе. Все по докторам бегают... Как жаль, что ты не застал его. Увидел бы он тебя в своем доме, так про все болезни забыл бы, клянусь богом и всеми святыми. Как он хвалил тебя! И почему он тебя так полюбил? Невестка, накрывай на крыше, там прохладнее...

Невестка взбежала по каменным ступеням на плоскую крышу, накрыла фынг — низенький, трехногий столик — и встала в стороне, держа в руках кувшин, полный араки. Опустив голову, она смотрела из-под платка, как от горячих уалибахов¹ и янтарно-желтой курятины поднимался над столом ароматный пар.

— А теперь оставь нас одних, — сурово сказал старик, когда мы поднялись на крышу и уселись за столик.

И, взяв из рук невестки кувшин, он наполнил аракой рог и встал. Сняв шляпу и обернувшись лицом к селу, он заговорил:

— Да не отнимет у нас несравненный всевышний наше счастье принимать хороших гостей! Да избавит нас бог от плохого гостя!

¹ У а л и б а х и — пироги с сыром.

Ни одного бога, ни одного святого не пропустил мой хозяин. Он говорил так громко, словно выступал на сходе, и все выше и выше поднимал рог. Он восхвалял меня на все лады, и, сгорая от стыда, я слушал слова этой грубой лести. С тоской смотрел я вниз, в село. Солнце зашло, и летний вечер крадучись заполнял синевой узкие улочки. Люди возвращались с полевых работ и принимались за свои мирные домашние дела. За мостом на крылечке белого домика стояло несколько человек; глядя в нашу сторону, они о чем-то говорили между собой. Мой хозяин тоже время от времени взглядывал в их сторону и, словно поддразнивая их, все вертел и вертел над своей головой рог с аракой...

У сельсовета уже стояла на привязи знакомая мне лошадь Гагудза. Я видел, как люди один за другим заходили в сельсовет. А хозяин мой все говорил и говорил...

— Вот какие наши дела... Разве можно позволить впиться ногтями в такого больного, бессильного человека, как я? Да и за что? За то, что предан я нашей власти? За то, что всегда защищал ее? Не любим мы тут друг друга, нет, не любим! Будь ты чуть умнее своего соседа — тебя от зависти живьем съедят... Клянусь покойниками, среди которых и мой любимый отец, правду я говорю. Видишь, как они косятся на меня. А почему? Завидуют, что такой хороший гость посетил мой дом! Или вот Гагудз... Он с меня глаз не сводит, как на прицеле меня держит, людей на меня натравливает...

Бибо вдруг замолчал на полуслове, словно поперхнулся, и хмуро взглянул на меня.

— Ты очень обижаешь нас, — сказал он. — Почему не выпил нашей араки? Конечно, вы там в городе к хорошим напиткам привыкли. Я в твоём возрасте тоже мог выпить. Клянусь богом, бывало, придут товарищи из района, так крыша эта ходуном ходила от их пения и плясок. Все село диву давалось... Эх, да какая польза от этих воспоминаний? Пойдем-ка лучше в дом, а то еще простудишься, чего доброго. Да и отдохнуть

не мешает, ты ведь человек служащий. Тебе, верно, завтра на работу надо, значит, и поспать вволю не придется...

— Нет, мне надо еще кое с кем повидаться,— возразил я,— да и Гагудзу я слово дал, что ночевать приду к нему. А за араку простите, что не выпил,— мы с ней не в ладах живем...

Я поднялся, чтобы идти, но Бибо вцепился в мой рукав. Однако, поняв, что я своего намерения не изменю, он обиженно поджал губы и, опираясь на свою кривую суковатую палку, сказал:

— Уходишь, значит? Нехорошо это, в сумерках покидать наш очаг! Был бы сын дома, не отпустил бы тебя. Узнав, что ты не застал его, он прямо жизни лишится!

— Если сегодня ваш сын вернется, завтра мы с ним сможем увидеться.

И, поблагодарив хозяина за угощение, я спустился с крыши. Бибо сделал несколько шагов, провожая меня, извинился и дальше не пошел. Выйдя на улицу, я еще раз оглянулся: Бибо стоял на крыше молчаливый и неподвижный как камень.

Я направился было к мужчинам на крыльцо белого домика, но они, увидев меня, быстро разошлись кто куда. Когда я проходил мимо забора, кто-то выглянул и тут же исчез.

«Что за дьявольское место? — подумал я. — Неужели здесь все жители похожи на Бибо?» И тут же, словно в ответ на мои мысли, услышал:

— Паршивая лошадь о паршивую трется!

— Ворон на падаль летит!

Я оглянулся, но никого не увидел.

«Паршивая лошадь, ворон... О ком они говорят?»

Я ничего не понимал.

Гагудза я застал в сельсовете. Горела лампа; вокруг стола, покрытого красным, сидело несколько человек; когда я вошел, они переглянулись между собой. Только Гагудз встал мне навстречу, приветливо протягивая руку.

— Скучал? — спросил он. — Нет? Понравилось наше село? — Лицо его сияло доброжелательством.

— Скучать ему не пришлось, — сказал один из сидящих за столом.

— Как же, арака Бибо, — ответил сосед. — Где уж тут заскучать! От этой араки дьяволом обернешься...

— Погодите, гость еще не успел в село войти, а вы на него с упреками набросились! Может, он и не пил вовсе... — проговорил Гагудз, словно извиняясь передо мной за своих товарищей.

— Не знаю, пил или не пил, только не зря Бибо дразнил нас, показывая рог, — возразил первый.

— Да объясните вы мне наконец, что здесь происходит? — не выдержал я. — От Бибо я не могу толку добиться, он только и твердит: «Я им как колючка в глазу!», от вас тоже путного слова не слышу. Скажите, что вы ему сделали?

— Слышите, он же нас еще и обвиняет! Мыто, дорогой гость, ничего ему не сделали, а вот он нас так оделил, что пусть бог наградит его тем же! — не унимался все тот же человек.

Словно желая придать весомость своим словам, он положил на стол огромный, крепко стиснутый кулак.

— Об этом потом поговорим, Заурбек, — остановил его Гагудз и опасно покосился на кулак. — Как говорили наши предки, кто раньше умрет, того и хоронят первым. До всего очередь дойдет. А пока садись с нами, гость, послушай, какие тут у нас дела.

Больше о Бибо никто не заговаривал.

Гагудз рассказывал об очередных колхозных делах. Говорил он спокойно, неторопливо, движения его были исполнены достоинства, тронутые сединой виски поблескивали при свете лампы, он щурился, и множество мелких морщинок, подобно извилистым горным тропам, разбегалось вокруг его глаз.

«Почему все-таки Бибо нет среди этих людей, с таким жаром обсуждающих свои дела?» Это не

давало мне покоя, пока я слушал рассуждения колхозников.

Сосед справа, положив на колено свою войлочную шляпу, шепнул мне:

— Днем некогда, вот и собираемся по вечерам о своей жизни потолковать. Простите, Бибо вам родня или друг?

— Ни то и ни другое! До сегодняшнего дня я его и во сне не видел,— ответил я и вместо объяснений вручил соседу полученное мною письмо.

Он прочитал письмо, смял его в кулаке и кивнул мне на дверь.

Мы вышли.

Молча курили, стоя на веранде. Внизу рокотала река. Сосед мой вздохнул, с силой бросил скомканное письмо на пол и, плюнув на него, заговорил:

— Негодяй бессовестный! И как его только земля носит! И сын туда же... От худого семени не жди доброго племени. Порхает, видите ли, между городом и селом, выискивает, где бы урвать кусок пожирнее, а теперь вон какие дела задумал, мерзавец! Песня! Что есть у народа дорожке песни? Песню, видите ли, сложили! О ком? Об его отце! Да за какие такие заслуги? Да о нем не песни слагать надо, а в пропасть его сбросить... Сколько слез пролито из-за этого старого шакала! Вот спросите-ка нашего Гагудза, где он пробыл пятнадцать лет? Чей поганый язык подпил его счастье? Почему лишился семьи наш Гагудз? Не знаете? А я скажу вам: потому что он с детства ненавидел таких, как Бибо! Да, мы не любим Бибо, мы презираем его! Видел, какими глазами смотрели на тебя люди? Ты уж прости нас, мы ведь о тебе ничего не знали... К чужой славе примазывается, негодяй!..

— К чужой славе? А разве песня не о нем была сложена?

— О нем!.. Но только вранье все это. Был у Бибо двоюродный брат, геройски погибший в гражданскую войну, в боях с белыми. А Бибо решил себе на этом славу заработать. Подкупил

кого надо, вот и сложили в селе эту песню. Давно это было... Только когда услышали песню эту у нас в Овражном, разоблачили Бибю, осрамили перед всем селом. Сколько лет с тех пор прошло, и не сосчитать... А теперь, когда ему туго пришлось, решил старый волк по старой тропе пробежать. Знакомые повадки! Все надеется, что у народа память короткая. Нет, народ ничего не забывает: ни хорошего, ни плохого. Раньше мы о делах его ничего толком не знали, подозревали только. А когда вернулся Гагудз, тут и открылись его грязные делишки во всей их подлости... Клеветник!

Собеседник бросил окурок в угол, притушил его ногой и направился к двери.

— Вернемся, а то обидятся...

— Идите, я сейчас приду,— ответил я и тут же услышал голос Гагудза:

— Куда ты нашего гостя девал?

— На веранде он, курит, сейчас придет.

А мне хотелось побыть одному, чтобы собраться с мыслями. Ночь распустила над селом свои темные крылья, и только за мостом возле самой скалы, как волчьи глаза, светились два небольших окошка. Река по-прежнему с мерным гулом билась о берег. Из открытой двери доносился спокойный голос Гагудза...

В эту ночь я так и не смог уснуть.

Рядом со мной на тахте спал Гагудз. Неспокоен был его сон, он вздрагивал и стонал. Может, во сне он боролся с Бибю?

Мне мерещилась черная осенняя ночь, та страшная ночь, в которую Гагудзу пришлось надолго расстаться с теми, кого он любил, расстаться с родными местами, где прошло его детство и юность, покинуть родину. Так вот почему не удалось ему сорвать чудесный цветок, который растет среди берез на вершине скалы. Вот почему не застал он, вернувшись домой, свою любимую жену Чабахан. Вот почему разрушен его дом и теперь приходится заново его строить.

Я встал и вышел. Ночь встречалась с днем. Далеко на востоке, над самыми горами брезжил

рассвет. Хрипло прокричал петух. Улицы были пусты. Возле стены лежала груда недавно распиленных досок, от них приятно пахло смолой.

Вдруг я увидел, что через мост переправляются две подводы, доверху нагруженные домашней утварью.

«Куда они спешат так рано?»

Мужчины — один постарше, другой совсем молодой — подгоняли лошадей. Они явно спешили. Шествие замыкала женщина.

Сумерки редели, и в пожилом мужчине я сразу узнал Бибо по его черной папахе и палке

Вдруг откуда-то из подворотни выскочил белый лохматый пес и с громким лаем кинулся на подводы. И, словно отвечая на этот лай, со всех дворов с гавканьем и урчаньем сбежались собаки. Поднялся шум, гам. Бибо попытался палкой разогнать собак, тщетно! Невестка в страхе забралась на подводу. Но никто не пришел им на помощь, хотя собаки перебудили все село.

Я видел, как на веранду соседнего дома вышла пожилая женщина и тихонько натравливала собак.

— В чем дело? Почему собаки? — спросил Гагудз, появляясь в дверях, заспанный, в нижней рубашке.

— Старого волка выгоняют! — громко ответила женщина.

Гагудз подошел к перилам, и мы взглянули вниз, на улицу: собачья свора по-прежнему с яростью атаковала подводы.

Взглянув на восток, где первые утренние лучи уже позолотили вершины ледников, он со вздохом проговорил:

— Кажется, я проспал...



орели Быдзыго



ыдзыго стоит у моста, высоко под-
няв нанизанную на лозинку, только
что выловленную рыбу. Мимо него
по обе стороны дороги снуют маши-
ны. В город, из города, груженные выше бортов,
мчащиеся порожняком...

— Купите... Дешевая рыба! — кричит Быд-
зыго, да так натужно, что жилы на шее взду-
ваются.

Рыбы играют на солнце золотистыми блест-
ками; бьют друг друга хвостами еще живые фо-
рели.

Машины не останавливаются. Пронесются ми-
мо, спешат. Шоферы, точно дразнят Быдзыго,
помахивают руками в окно, что-то кричат. Но
слов он не слышит — посвист ветра, дребезжа-
ние мотора заглушают голоса.

Быдзыго хочется есть. Он встал сегодня чуть
свет, наспех выпил кружку молока и побежал к
речке. Пока ловил рыбу, забыл о еде, а теперь
что-то сосет в животе. Теперь жалко, что не за-
хватил чего-нибудь поесть, да дела не поправишь.
Не беда! Можно потерпеть. Скоро какая-нибудь
машина затормозит у моста, купят рыбу и тогда
домой! Село — рядом, недолго добираться. А зав-

тра рано утром он пойдет в магазин и на вырученные деньги купит себе книги. Дома о деньгах он ни слова не скажет. Вот когда купит книги, другое дело. Подойдет к матери и объявит:

— Книги я купил на деньги, которые дал мне шофер за рыбу. Заработал своим трудом.

Стоит Быдзыго у моста, гордо подняв голову, и еще выше поднимает нанизанную на лозинку рыбу. Худощавое лицо его становится светлей. Он доволен, что наловил столько рыбы. А то как же! Городские рыболовы приезжают сюда с ночевкой, но никому из них никогда не удавалось наловить столько рыбы. И все крупные, одна в одну. Быдзыго запомнил каждую, знает, в какой заводи, под каким камнем выловил. Если бы не покупать книги, вечером можно было бы накормить всю семью! И все сказали бы спасибо. Такую форель зажарить в масле, пальчики оближешь!

Мчатся машины. Колеса шуршат на пригретом солнцем асфальте. Мчатся в одиночку. А то и по трое. Одна за другой. А вслед за ними в воздухе кружатся сухие листья, соломинки, кусочки бумаги. Мокрые волосы Быдзыго перепутались от ветра, поднялись дыбом. Трусики прилипли к худым ногам. Рука устала держать рыбу на весу, и он перекидывает лозину в другую руку, и вслед машинам несется его тонкий, высокий голосок:

— Дешевая рыба! Форели!..

Солнце в зените. Нещадно палит его голые плечи, облупившуюся от загара спину. А машины летят одна за другой, ни одна не останавливается. Им не догадаться, что Быдзыго очень проголодался. Сбежал было к реке, сунул в воду рыбу и тут же поднялся на мост: может, найдется покупатель? И верно, новенькая голубая «Волга» резко затормозила, из-под колес даже дым повалил. Она отъехала еще на несколько метров от Быдзыго и остановилась. Из заднего окна машины кто-то помахал рукой.

Быдзыго ринулся на зов.

Из открытого окна машины высунулся не ста-

рый еще мужчина с острым носом, выдвинутым вперед подбородком. Ворот шелковой тенниски расстегнут, зеленоватые глаза, точно боясь дневного света, глубоко запрятались под густыми, низко нависшими бровями. А рядом с ним — рыжая женщина, толстощекая, белая, а причесана, как мальчик. Она даже не поглядела на Быдзыго, только губы поджала.

Нет, не понравились эти люди Быдзыго. А впрочем, лишь бы купили рыбу, а там хоть трава не расти!

— Сколько тебе за них? — спросил наконец мужчина, долго и обстоятельно разглядывавший рыбу.

Быдзыго не знал, что ответить. Помялся и с трудом выдавил:

— Я из-за книг продаю, учебники мне надо купить...

Женщина скорчила сердитую гримаску и сказала:

— Ну, скоро ты, Кудаберд! Солнце припекает!

— Хорошо, хорошо, Азаухан,— заторопился ее спутник, его словно подбросило, и он втащил лозинку в окно и крикнул шоферу:

— Давай, Боболà!

Об асфальт что-то звякнуло. Шофер, словно он что-то обронил, оглянулся, но скорости не убавил, и машина рванулась с места, как необъезженный жеребец. И снова из-под колес повалил едкий дым.

На дороге поблескивали мелкие деньги. Быдзыго быстро подобрал их. Зажал в маленькой ладони. И вдруг тоненькая рука взметнулась в воздухе, и гривенник полетел вслед за машиной.

Быдзыго дрожал, как от озноба, нижняя губа вздрагивала, он еле сдерживал слезы и затамненными глазами смотрел вдаль. По-прежнему взад-вперед мчались автомобили, по-прежнему шоферы приветственно помахивали руками, но Быдзыго не замечал их. Больше нет рыбы для продажи.

...На лесной поляне под развесистыми дере-

вьями остановилась машина. Кудаберд раскрыл дверцы, взял за руку Азаухан.

— Ты об этой поляне прожужжал мне все уши? — сладко потянувшись, спросила она.

— Не поляна — райский уголок. Знала бы ты, какие чудесные места есть там, повыше, у родников... Трава по пояс, роскошный луг — ковер златотканый. Цветы благоухают. Птицы поют — заслушаешься, все горести позабудешь. Райские птички, щебечут на все голоса, — ворковал Кудаберд и, сразу переменив тон, сказал Бобола: — Скорей разожги костер. Расстели скатерть, вино, продукты — все на коврик! Слышал? Вон дерево. Под ним тень погуще, отнеси все туда и не мешкай. Время дорого. — Краем глаза он покосился на Азаухан. — Слышал или нет? Позовешь меня, когда разгорится костер, шашлык я сам зажарю. Из царской рыбы. Форель, брат... Добрая у нас дорога. И мальчонка подвернулся... Пойдем же, Азаухан, погуляем пока у реки. Там свежее. Бобола сам, без нас, справится, учить его не надо. Любого кулинара поучит, мастер на все руки...

И, взяв женщину под руку, он направился в лесную чащу.

Через несколько минут на поляне потрескивали сухие сучья, костер разгорался, и языки пламени стали подбираться к низко свисавшим ветвям старого дуба. Пот крупными каплями выступил на лбу Бобола, стекал по его загорелому лицу. Он расстелил пестренький коврик под деревом, открыл консервные банки. Колбасы, наливные помидоры, винные бутылки с пестрыми этикетками — заглядение, а не стол. Все готово. Вот только еще управиться бы с рыбами Быдзыго, распотрошить их и нанизать на шампуры. Бобола вынес форель из машины. Откуда-то сверху, издалека до него донесся залиvistый смех Азаухан, слышался голос Кудаберда. Вдруг все стихло, лесная чаща словно онемела. Только птичий гомон слышится вокруг. Бобола как зачарованный вслушивался в непонятную лесную жизнь. Руки сами поползли вниз, лозинка с ры-

бой коснулась земли, и он не заметил, как усохшая на солнце форель шлепнулась на траву, тускло посвечивая золотистыми пятнами гладкой чешуи. И почему-то тут же перед глазами возник худенький мальчуган, Быдзыго. «Я ради книг продаю рыбу...» Вот Кудаберд и швырнул на дорогу жалкую монету... А сколько стоит вылазка на лоно природы?.. Как говорится: «по делам службы». Дела.

— Нет, друг мой, мужчина должен быть мужчиной. Эх, где наша не пропадала,— пробормотал Бобола и подбежал к машине.

Достал клочок бумаги и вывел крупными буквами: «Я уезжаю. За машину отвечаю я. Ищи ее в гараже. Только без меня. А рыба — в костре...»

Взял хворостину. Нацепил на ее кончик записку, воткнул в землю вблизи костра, а рыбу Быдзыго швырнул в огонь. Тотчас она зашипела, и по поляне разнесся горький запах горелой рыбы.

— Оставайся, Кудаберд, со своей красоткой. Я вам не попутчик! — громко сказал Бобола и нажал на сигнал. Над поляной повисли клочки сероватого дыма...

— Бобола, где ты? Готов костер? — раздался из кустарника голос Кудаберда. Высунулась его встрепанная голова. Вслед за ним показалась и Азаухан. Кудаберд спросил с фальшивой заботливостью, будто они гуляли врозь: — Не заблудилась?

— Как видишь! Это верно настоящий райский уголок... — ответила Азаухан. — А где твоя машина? Да и что с костром?.. Там что-то горит...

— О машине не беспокойся. Она далеко не уйдет. Наверно, Бобола моет ее на реке. Чистюля у меня Бобола, за машиной ухаживает, как за женщиной. Но вот запах... Горит что-то здесь. Дыхание перехватывает, нос закладывает.

Кудаберд посмотрел по сторонам, и взгляд его упал на записку, надетую на хворостину. Он сорвал ее, прочитал, и лицо его побледнело.

— Ну, погоди, я покажу тебе, что такое мужчина! — растерянно прошипел Кудаберд.

— Ну, иди же, перекусим. Что ты там жарись у костра? Как хорошо накрыл «стол» Бобола, — сказала Азаухан, откусывая кусочек колбасы.

Кудаберд не двинулся с места. Он нахмурился так, что колючие, как у ежа, волосы сошлись с бровями. Взгляд маленьких зеленоватых глаз не отрывался от травы, примятой машиной. Одна за другой проносились в голове огорчительные и злобные мысли:

«Все пропало. Быть беде. Начальство — пустяки. Поболтают, и только. А если дойдет до жены, не миновать крупного скандала. Попреки, слезы... От Бобола всего можно ожидать — обязательно растрезвонит... С него станется. Бежать? Надо скорее. Пока не застали здесь с этой... А впрочем, что стоит его болтовня без свидетелей? Где он возьмет их? Машина? Нет, друг мой Бобола, так легко я не дамся! У меня больше друзей, чем у тебя. Кто ты? Шофер. В моей власти перекрыть тебе все дороги. Узнаешь, как брыкаться».

— Пока Бобола моет машину, выпей хоть стопку, — сказала Азаухан, подойдя со стаканом вина.

— Пропади ты со своей стопкой, — слишком громко сказал Кудаберд.

В один миг Азаухан оказалась рядом с ним.

— Что с тобой? Ты только что был такой веселый, ласковый...

— Был. А теперь полюбуйся, какой шашлык Бобола зажарил на кончике хворостины.

И Кудаберд дрожащей рукой подал Азаухан записку шофера.

— Бессовестный! Нахал! На шпильках пешком идти? Сколько я говорила тебе: научись сам водить машину! Вот и дождался. Райский уголок!..

— Послушай меня, — пытался урезонить ее Кудаберд. — Ты не боишься, что Бобола сюда привезет кого-нибудь?

Она побежала к коврику, где призывно поблескивали яства и полные бутылки. Консервные банки разлетелись во все стороны, по зеленой траве потекло густое красное вино.

— Я пойду по ложине, ты пробирайся вдоль кустарника. Так будет лучше. Останови первую попутную машину. А коврик я припрячу.— Согнувшись в три погибели, Кудаберд нырнул в кусты.

...Солнце клонилось к закату. По узкой деревенской улице стрелой летела машина. Пыль стояла столбом. Из-под колес с громким кудахтаньем разбегались куры. Собаки с лаем и визгом мчались за «Волгой».

Машина резко затормозила. Клуб пыли волной прошел над машиной и растаял в ветвях деревьев. Из машины выскочил Бобола, держа связки книг. Со двора свежесмытого дома навстречу ему выбежал Быдзыго, узнал шофера, резко повернулся и исчез с глаз.

— Куда ж ты убегаешь? Я же к тебе приехал,— крикнул Бобола.

— Я больше не продаю рыбы! — слышался со двора голос Быдзыго.

— Я принес тебе книги. Только учись хорошо! Понял? — засмеялся Бобола и положил связку книг на плоский камень под деревом.

И снова за машиной потянулся хвост пыли, и она исчезла. Быдзыго, прижав книги к груди, стоял у ворот и смотрел в ту сторону, где мелькнула еще раз голубая новенькая «Волга».

«Я даже не сказал ему спасибо. Откуда он узнал, что я перешел в шестой класс? И кто показал ему наш дом?» — размышлял Быдзыго и еще крепче прижимал к себе связку книг.



В доме не ждали гостей, их внезапное появление застигло хозяйку врасплох. Было совершенно ясно — араки не хватит.

— Чтоб вам ни дна ни покрышки, — суетясь на кухне, приговаривала хозяйка. — Накачались где-то, правого от левого уже не отличают, а лезут в дом. Бессовестный народ.

Вернувшись в комнату, она с тоской наблюдала, как быстро опорожняют гости ее пузатый, выдавший виды графин с надтреснутым горлышком. Не то чтобы она жалела это проклятое зелье, слава богу, не один графин выставила на стол за свою жизнь. Беспокоило ее другое — араки наверняка не хватит, а гости не из тех, кого можно спровадить после одной четверти. Дойдет дело до очередного тоста, а наполнить рога нечем. Вот будет стыд! Воды Терека не хватит унести с собой жалобы гостей.

Бросив последний взгляд на щербатый графин, она побежала к соседке.

— Выручай, Доцон, дорогая. Не дай опростоволоситься перед людьми. Явились как снег на голову...

— Что же это за гости? В полночь?..— удивилась соседка.

— Кто их знает. Назвались друзьями зятя. Было два графина араки, да разве же на их утробу хватит? Будь добра, Доцон, послужи — одолжи. Век не забуду.

На разговор вышел из дома хозяин, мужчина пожилой, с быстрыми, лукавыми глазами.

— Доброй ночи, Мишурат. Что случилось? Кто встревожил тебя в такой час?

Мишурат снова стала жаловаться на свою беду.

Сосед помолчал-помолчал, вернулся в дом и тотчас же вышел оттуда, держа в руках фандыр.

— Пойдем, Мишурат, постараемся достойно принять твоих гостей.

Через несколько минут он уже сидел за столом и руководил пиршеством, как опытный тамада. Провозгласил один тост, потом второй и, воздав должное по очереди всем гостям, попросил свой фандыр и привычно тронул смычком струны.

Гости были довольны пожилым, общительным соседом. А когда он заиграл на звучном фандыре, удовольствие перешло в искренний восторг. Звуки знакомых мелодий растрогали веселых гуляк, они попытались подпевать, но хор получился нестройный. Мешала арака, да и поздний час: гостей начал одолевать сон.

А фандыр все звучал и звучал, песне-легенде не было конца. И постепенно все гости уснули, там, где сидели. Графин с недопитой аракой остался стоять в конце стола, уырдыгстаг¹ подал тамаде последний рог с аракой. Тот высоко поднял его, обвел взглядом гостей, обратил взор к хозяйке дома и молча осушил его. Хозяйка благодарно кивнула головой.

— Как только начнет рассветать, дашь мне знать,— сказал тамада уырдыгстагу и снова

¹ Уырдыгстаг — прислуживающий за столом младший член семьи.

взялся за фандыр. Жалобно застонали струны, легенда продолжалась...

Храп гостей сливался с звуками фандыра и заставлял дребезжать стекла в окнах.

Под утро, когда за окнами стало светлеть, уырдыгстаг прибежал к тамаде:

— На дворе рассветает...

Тамада попросил хозяйку удалиться в другую комнату, а сам слегка тронул смычком старшего гостя:

— Кажется, вас сон начал одолевать, молодые люди?.. А я, старый чудака, все стараюсь, услаждаю слух дорогих гостей. Совсем замучил фандыр, струны давно просят пощады...— Тамада сокрушенно покачал головой и дотронулся смычком до фандыра, отозвавшегося жалобными звуками.

Гость смущенно протер глаза, посмотрел в окно и стал суетливо будить товарищей.

— Что ни говори, а с фандыром ничто не сравняется,— приговаривал он,— заслушались и не заметили, как подобрался рассвет... Спасибо вам, дорогой тамада. Спасибо за радушный и сердечный прием. Слов нет выразить благодарность. А теперь пора уходить. Извините.— Гость встал, кивнул товарищам, чтобы поторапливались.

— Уырдыгстаг, а ну налей рога на прощание... Нельзя же вот так отпустить гостей... Позови Мишурат, передай, что гости собираются уходить,— с лукавой улыбкой сказал тамада и, улыбаясь, отложил в сторону фандыр.

ГОРСКИЕ



МАТЬ
*
В ГОРАХ

ЭТЮДЫ



ЛУЧ СОЛНЦА

Мервые лучи весеннего солнца прыгают по стене. В полуоткрытое окно врывается ветер, колышет занавески. Малыш следит за зайчиками из колыбели. Вот он выпростал ручонку, два зуба поблескивают между пухлыми губами, беззвучно смеется, растопырил тоненькие пальчики, тянется к солнечным лучам, хочет их поймать.

Мать уронила голову на спинку колыбели. Малыш оглядывается на нее, трогает за косы. Почему она молчит сегодня, почему не баюкает, не ласкает? Она не видит, что солнце уже взошло, что за окном расцвела яблоня и окутала коричневые ветки белой пеной. Кажется, она заснула? Мягкие ножки сына согрелись в ее ладони, чуть заметно шевелятся пальчики.

С вечера малыш занемог, и мать не смыкала глаз до первых петухов. Прижав ребенка к груди, ходила по темной комнате из угла в угол, не зная, как облегчить его страдания. Под утро малыш уснул, жар спал. Мать так и не отошла от колыбели. Ее постель осталась нераскрытой.

Солнечный луч скользнул по ножке малыша. Он изо всех сил сжал пальчики. Может, удастся

поймать? Нет, ускользнул. Пальчики разжались. А матери чудится во сне, что ножки сына бегают по ее ладони.

МЛАДШИЙ СЫН

Пожилая, худощавая женщина сидит около кровати. На спинке стула — потертый офицерский китель с орденами и медалями. У дверей — костыли, прислонились к стене, чтобы отдохнуть от долгих странствий.

На кровати спит юноша. В лице — ни кровинки, иссиня-черные волосы разметались по белой подушке, одну ногу подобрал под себя, другая вытянута как стрела.

Мать тихонько плачет. Смотрит затуманенными глазами то на потертый китель с блестящими орденами, то на костыли.

В комнату входит соседка. Долго стоит у дверей, а мать и не замечает ее.

— Что же ты плачешь? — спрашивает соседка. — Слава богу, мальчик живой вернулся.

— Меньшой ведь он, — шепчет мать, краешком платка утирая слезы, — младший из пяти. От других нет вестей... Смотрю на него — мучается во сне. Болит нога. Видно, хочется согнуть, как другую...

Мать осторожно трогает покалеченную ногу сына и смотрит на соседку беспомощным взглядом.

МОЛОДОЙ ПОБЕГ

Целую неделю моросит, будто ситом просеивает тучи. А сегодня разверзлись небесные хляби, обрушился ливень. Осенний хлесткий ветер уносит вкось крупные капли, и они, как град, стучаются о землю.

В селе — запустение. Только что вызволили его из-под немецкого сапога. На каждом шагу вместо домов сиротливо закопченные трубы, раз-

валившиеся печи. Ливень прибил пепел, он окаменел.

На краю села, во дворе полуразрушенного дома, старуха роет яму. Концы черного платка свесились на грудь, капля за каплей стекает по ним пот. На земле валяется изуродованная яблоня, вырванная с корнем. Рядом с ней старуха высаживает в яму тоненький побег.

Пышноволосая девочка, свесившись через перила крыльца, со слезами уговаривает мать:

— Оставь ее, гыцци... Простудишься под дождем...

— Сейчас, мое солнышко... Сейчас, только посажу. Под дождем она лучше примется. Вернется наш мальчик, больно ему будет, как увидит, что его дерево погибло.

— Дождь идет, заболеешь ты, гыцци,— повторяет девочка, и по лицу ее растекаются крупные капли.

Женщина выпрямилась, оперлась на лопату, посиневшими от холода губами еле шепчет:

— А как же мальчик наш терпит? Днюет и ночует под дождем... Пусть треснет сердце мое для него.

РУКИ МАТЕРИ

В тени развесистой яблони у дверей кирпичного дома сидит пожилой мужчина, а с ним рядом крохотная, сморщенная старушка. Над ними в ветвях цветущего дерева неумолчно жужжат пчелы. Весеннее солнце застыло в зените. Из ущелья веет свежий ветерок.

— Шестидесятый год, говоришь? — переспрашивает старушка. — Не может этого быть, мальчик. Ты еще совсем недавно босиком бегал по этой улице да по берегу реки...

— Давно это было, гыцци...

— Как давно! Рано ты поседел, вот тебе и кажется. Но это не от времени — род у вас такой. Все вы в отца, ненасытные в работе...

— Ты сама нас этому учила.

— Не пора ли вернуться мальчику? Я о Таймуразе спрашиваю,— переменяла разговор старушка,— писал он недавно, что приедет, а вот задержался. Очень, пишет, хороший народ эти индийцы. Крошка наша уже говорит по-ихнему. Подумать только, куда наш озорник Таймураз забрался! Дай бог памяти, что он еще писал? Просил, чтоб ты привез меня к нему на самолете. Поживи, пишет, и с нами немного, ты, пишет, и дитя еще не видала...

Старушка смеется, улыбается и сын.

— Что же, гыцци, это хорошо, не мешает дальние страны повидать.

— Конечно, неплохо. Разве я что говорю? Да больно далеко вы все разбежались, разве успеешь побывать повсюду? Один в Москве, другой в Индии, третий в Ленинграде... Хорошо бы вам жить в одном месте, а то у меня на сердце беспокойно. Как вы там? Может, в чем нуждаетесь?

— Как бы там ни было, гыцци, но я на этот раз не оставляю тебя здесь. По праву старшего сына прошу: поедем!

— Ты прав. Но ведь здесь дети...

И в ту же минуту, будто он только и ждал этих слов, из ворот выбежал крепкий босой малыш.

— Бабушка! Бабушка! Не вели козлику, он бодается,— крикнул мальчуган и бросился на шею старушке.

— Не бойся, радость моя,— нежно сказала она и спрятала малыша в своих объятиях.

Сын смотрел на сморщенные руки, ласково перебирающие спутанные волосы мальчика, и думал о том, что женщина даже в самой глубокой старости остается матерью.



горах

СИЛА



стою у горной реки. Голубое небо глядится в нее, солнце купается в мелкой ряби волн. Ее вода прозрачна, и можно пересчитать все белые камушки на ее зеленоватом дне. Речушка маленькая-маленькая. Бежит извиваясь между березками, поблескивает на солнце, чуть слышно поет свою песню.

Удивительно! Горная, а так тиха. Нет, это только тут, около берега, а чуть пониже вода кипит, как в котле. Пенится речушка, беснуется, бьется о камни, скачет, как тур. Верно, потому и затихла у березок, что набирала силу.

Куда же она спешит? Зачем торопится, не зная покоя ни днем ни ночью, ни летом ни зимой? Самые лютые морозы не в силах остановить ее стремительный бег. Ей закрывают путь снежные лавины, перед ней встают неприступные горы, но она проходит сквозь все преграды и становится только чище и светлее.

Сверху смотрят на нее белоснежные ледники, срываются вниз шумными водопадами. Вот тут и начинается речка. Оттого она так прозрачна и сильна. Родилась в неприступных высотах, под самым небом.

Я пошел вдоль берега. Передо мной встал утес. Его вершина тонула в облаках, он преградил путь реке. Она скрылась в расселинах скал, проникла в трещины и, казалось, совсем затихла. Может, утес остановил реку? Я посмотрел наверх. Из расселины пахло свежим, приятным ветром, будто кто-то взмахнул огромным яркосиним платком и расколол утес пополам.

Кто же этот богатырь? Кто посмел замахнуться на могучий утес? У кого хватило силы, мужества, упорства? Это сделала маленькая речка, тихо журчащая около березок. Сильная горная речка.

НАРСКАЯ ЗЕМЛЯ

Земля... Чего только ты не испытала! Глубокие вмятины, кровавые раны, жгучие ссадины... Кто сосчитает их? Кто оплачет? Сколько пота, сколько слез ты впитала! Верно, потому ты так солона, кормилица, поилица наша!

Бремя гор тебе не в тягость, моря-океаны омывают тебя, под ногой человека раздаешься, как пух, переливаешься радугой полевых цветов, больно жалишь острыми колючками. То заливается трелями над тобой соловей, то черные вороны вьют на твоей груди гнезда. Тут фруктовые деревья кронами упираются в небо, там скоывают тебя вековые льды. Ты многолика, изменчива, но всегда мила сердцу. Нет сокровища дороже тебя. Нельзя тебя ни купить, ни поменять.

Необозримы твои просторы, ты вечна и прекрасна. Вот пядь твоя — аул Нар, земля Нарская. Со всех сторон сдавили ее мрачные, грозные горы, реки гложут ее, бури пронизывают насквозь. А она незыблемо стоит, смотрит пустыми глазами древних разрушенных башен. На крутых склонах жмутся полосы покосов, клочки наделов — латки на шубе бедного горца. У каждого клочка земли свое название, своя история, своя память, своя горечь. Но кто о них знает?

И здесь по весне пробивает снежную корку головка подснежника. И здесь в знойное лето слышен посвист кос в росной траве, в горах раздается песня пастухов. И здесь поздней осенью на колючке стынет ворон. И здесь день и ночь воет буря.

...Горы родимые, плачьте безумно...

Кто сказал эти слова? От кого, земля Нарская, ты впервые услышала их? Может, сказал их босоногий мальчишка с непокрытой головой? Или искроглазый горец, вернувшийся с далекой чужбины,—хромой, измученный, непокорный? И когда из теснин Алагирского ущелья вырвалась на вольные просторы песня твоей славы? Из-за чего идут к тебе люди на поклон? И буря им не помеха, и перевалам их не удержать. Не на старых скрипучих арбах,—на легкокрылых машинах мчатся к тебе. Нет в недрах твоих золота, не растут на тебе небывалые цветы, над тобой такое же голубое небо, как и всюду. Почему же ты счастливее других земель?

Молчит земля Нарская. Только ветер, горный ветер, дует с ледников, несет с собой запах цветов, шум водопадов и шепчет мне на ухо:

— Когда-то давно здесь зажглось сердце человека. Запылало, осветило теснины ущелий. И с каждым днем все больше греет людей.

Счастлива ты навеки, земля Нарская! Родина Коста Хетагурова.

ПЕСНЯ

Мы сидим на старом нихасе. Мой сосед — белобородый старик Хадзыбатыр — старательно стругает тонкую палочку, рядом ребята играют в альчики. Резко выпрыгивает кудрявая желтая стружка из-под ножа Хадзыбатыра. Молчат камни нихаса. Молчат горы. Молчит старый Хадзыбатыр. Молчу и я. Мне, как младшему, не положено начинать разговор первым.

Но вот Хадзыбатыр откладывает в сторону нож, стряхивает стружку со старой черкески и берет фандыр. Коричневые, сухие, тонкие, как

ветки алычи, пальцы начинают перебирать струны. Еле слышно вздрагивают они, не заметишь движения высохших губ Хадзыбатыра, прищурены его глаза, и только по едва трепещущей белой бороде старика видно, что он поет. Голос становится чуть громче. Льются звуки долгожданные, как рассвет, нежные, как цветенье садов. Сначала рыдающие, грустные, они понемногу становятся повеселей, совсем веселыми, но по-прежнему очень тихими.

Хадзыбатыр поет о том, как впервые заплакал. Плачут горы, но не плачут мужчины, а он тогда заплакал. Глубоки ущелья, но еще глубже человеческое горе. Мы пережили его. Горе не исторгнет слез из глаз джигита. Силен ветер, но сильнее ветра руки, которые держат кинжал и ружье. Необъятен простор неба, бесконечен мир, но еще беспредельнее полет мысли. Его не удержат никакие цепи. Высоки горы, но выше гор человеческое счастье. В тот день я плакал от счастья. А это положено и мужчине.

Медленно перебирает струны Хадзыбатыр, широко раскрыты его глаза — бледно-голубые, немного выцветшие, как небо над горами в солнечный яркий день. Мягкий румянец заливает морщинистое лицо. Все увереннее, отчетливее звучит фандыр, все яснее слова тихой песни.

Он поет о том дне, когда в наши тесные ущелья, в бедные сакли прилетела на крыльях добрая весть о победе народной власти. Повеселели люди, зазолотились горы, легче стало ходить по земле, легче дышать, говорить, трудиться. Солнце засияло по-другому. Мрачные ущелья посветлели. Вода в ручьях и реках стала слаще. Расцвела вся Осетия.

Осенью в поле чернеет зелень,
В небе за облаком гаснет звезда.
Но имя прекрасное, доброе Ленин
Разве забудется нами когда?..

Я оглянулся вокруг. Старый нихас был полон народа. Замолкли струны фандыра, а песня будто еще звучала. И казалось, ее, еле слышную, подхватили пастухи на альпийских лугах, шахте-

ры на рудниках Садона, колхозники Дигоры, плавильщики «Электроцинк». Она звучит и сейчас, не зная границ и усталости...

Снова молчит белобородый Хадзыбатыр, а народ не расходится с площади. И, нарушив обычай предков, я спрашиваю у певца:

— Хороша песня, только почему ты ее пел почти про себя?

— Песни счастья поются тихо, — сказал Хадзыбатыр.

УТЕС

Хорошо утро в горах. Солнце золотит вершины, они все время меняют оттенки. Среди них высоко ушел ввысь голый, как бритая голова, утес. Его обласкало солнце. Сияющий и гордый, он презрительно смотрит вокруг. Другие горы сейчас еще в тени. Но вот на утес надвинулась туча. Солнечные блики растаяли в воздухе, стали видны глубокие трещины-морщины, серые, замшелые, будто потертые временем камни. А соседние горы, выйдя из тени, засверкали в лучах солнца всеми цветами радуги. Зеленым огнем вспыхнули альпийские луга, ярко-красными звездами запыхали цветы, радуясь солнцу, защебетали птицы, зашумели водопады, в высоких травах замелькали турьи рога.словно белый песок на зеленом ковре, рассыпались стада овец, песня пастухов слилась с шумом водопадов и эхом отзывалась в ущелье.

У прозрачного горного родника остановился путник. Освежил искристой водой смуглое лицо, прильнул к роднику — утолил жажду. Легко стало путнику. Он взглянул на утопающие в солнечном свете леса, водопады, начал потихоньку подпевать пастухам.

А высокий, гордый утес он не заметил. Даже не посмотрел на него. Зачем? Ни одно дерево не выросло на нем, ни один водопад не упал с этой кручи. Чем же гордился высокий, голый утес? Может, он думал, что солнце всегда будет украшать его?

Это было не на другой планете, а у нас в горах. Еще совсем недавно.

В глубоких ущельях стоял аул Сумерки. Неизвестно, какой отчаянный шутник придумал это название, но солнце туда и в самом деле почти не заглядывало, а луна и звезды подолгу висели над аулом. Сумерки подбирались к нему быстро и незаметно. В долине светло, а в ауле поздний вечер. Редко звучала там гармоника, не слышно было фандыра, а если песню запоют — грустную-грустную. Женихи с трудом находили себе невест. Никто из горцев не хотел отдавать своих дочерей в Сумерки. Плохо жить без солнца.

Над пропастью, зажатый со всех сторон голыми скалами, стоит аул Сумерки и до сих пор.

После революции аул опустел, и все про него забыли. Зачем вздыхать о ночи, когда светит солнце? Быстро забывается горькое, если сладкое на столе. Не ходили в Сумерки осетины. Так и стоял пустынный аул — хмурый, как окрестные скалы, мертвый, как луна, суровый, как воспоминание о тягостном прошлом. Темнели родовые башни, врезались в небеса острые скалы. Черные тучи иной раз совсем закрывали аул от солнца и глаз человека. Проходившие мимо чабаны старались поскорее отогнать отары от этого проклятого богом и людьми места.

И вдруг в одной из башен загорелся огонь. Такой ослепительно яркий, что люди невольно задумались: откуда в Сумерках свет? Одни считали, что в башне кто-то кому-то, как встарь, подает сигналы. Школьник, начитавшийся нартских сказаний, уверял товарищей, что в Сумерках поселился Уанг и теперь ребятам надо его побороть. Уанг в наше время? Смешно.

Влекомый любопытством, я отправился в старый заброшенный аул. Горы противились моему вторжению, дорога пыталась от меня ускользнуть, пряталась под осыпью крутых камней, а то и вовсе пропадала. Аул, пустынный, безжизненный аул, был рядом, как на ладони, но добрался

я до него только к вечеру, когда загорелся в башне загадочный свет. Последний поворот дороги, последний камень, последний шаг — и вот я в Сумерках.

Тихо в ауле. Чернеют окна в брошенных саклях, только доносится чуть слышное журчание родника и шум горской мельнички. Чудно! Какой уважающий себя горец потащится сюда с мешком зерна? Кто построил здесь мельницу?

Я зашагал быстрее, а услышав смутные звуки человеческой речи, которые доносились будто из-под земли, побежал.

Над самым входом в старинную башню висела двухсотсвечовая электрическая лампа. За самодельным грубым столом колхозные чабаны играли в домино. На них задумчиво взирала заметно побледневшая от электрического света луна. С ледников тянуло прохладой. Чабаны встали, дружно приветствуя меня. Я рассказал им, о чем толкуют в селе. Они рассмеялись. Смеялся и я, слушая рассказ самого юного из них, семнадцатилетнего Алхаста:

— Надоело нам коротать длинные вечера при свете луны да костра. Уходить не хотелось, травы тут богатые. Обидно все же: долина в огнях, а мы, как предки, при луне. Я и взялся за электрификацию. Соорудил мельничку, раздобыли мотор с приводом, провод разыскали...

Алхаст запнулся. А я понял, почему наш завклубом никак не мог найти запасный моток провода и двухсотсвечовую лампу.

А она, творение рук человеческих, сияла над горными просторами, пробивая сумерки.

тропинки

Курчавоголовый дубняк. Бесчисленные тропинки. Как жилы, пронизываете вы землю. То пересекаясь, то расходясь в стороны, далеко уходите друг от друга. Пропадаете в тени деревьев, зигзагами вьетесь по склону горы. Куда вы идете, где ваш конец? Кто знает? Одна исчезла в

бурьяне, другая сверкает на солнце горячими камнями, блестящими лужицами. Сколько подошв истерлось на этих путях, сколько признаний прозвучало на глухих тропинках! Сколько слез оросило сухую землю!

Как узнать, кто проложил вас? Влюбленные? Гонимые нуждой? Преследующие своих кровников? Или вас протоптала тяжелая поступь насильника?

Если бы вы умели говорить, бесконечные дороги! Нет, безмолвно разбегаетесь вы из ущелья в ущелье, с холма на холм, из села в село, от порога к порогу...

И судьба ваша подобна судьбе человека. Одни внезапно возникают в ночной тьме, а взойдет солнце, и нога человеческая брезгливо обходит этот путь, и весной дружно наступает на него трава, и след его исчезает навеки.

Завидна судьба других тропинок. Они возникают при свете дня; тянутся вслед за солнечными лучами, бегут по цветущим лугам, по узким склонам, по твердым хребтам скалистых гор.

Бесчисленные тропинки, чисто вымытые утренней росой и вечерним дождем! Вас пробил человеческий шаг, вы сохранили отпечаток следа человека, вы живете для человека. Не помешайте же никогда его благородным порывам. Пусть не поранит на вас ногу ребенок, совершающий первый шаг. Пусть не споткнется стремительная любовь двух сердец. Для доброго путника будьте мягки, как материнская ладонь. Пусть никогда не ступит на вас нога злого человека. И, как смелый орел, взмывает над вами песнь путника!

Моя душа всегда с вами, неисчислимые пути-дороги. И хотелось бы никогда не быть вам в тягость, никогда не надоесть...

СТАРОЕ ДЕРЕВО

У выхода из узкого ущелья могучими корнями врос старый ясень в берег реки. Широко раскинул увечные сучковатые ветви, будто в самом

деле он краса земли и властитель мира. Он бы занял, закрыл собой весь вход в ущелье, если бы только мог. Он раскинулся во все стороны, захватил оба берега реки, склонился над дорогой. Узловатые корни кое-где вышли на поверхность земли. Видно, не по душе ему пришлось, что когда-то под ним проходила дорога. Он любил немолчные песни реки, даже подпевал им шелестом листьев. Но сердитые волны не верили вкрадчивому шороху листвы. Яростно кидались они на ясень, пытались свалить его. А он все глубже, все дальше уходил под землю корнями. Только бы закрепиться на другом берегу реки, повернуть ее по старому руслу! Взбунтовалась бурная горная река: зафыркала, понесла камни и песок, разрезала пополам могучие корни. Они и сейчас еще вздымаются вверх, беспомощные, как отрубленные руки. Ясень забыл теперь о другом берегу. Только бы удержаться, устоять против волн!

Ранней весной, пока ясень еще не покрылся зеленой листвой, под ним всходит густая трава. Цветы поднимают свои кудрявые головки из гущи зелени. Но не успеют они раскрыть лепестки, путник еще не нагнется за ними, как ясень черной тенью закрывает их от солнца. Никнут яркие головки, склоняются к земле, чахнут в первое утро своей жизни. Трава желтеет и сохнет, под деревом остается только конский щавель, хлопает на ветру большими ушами. Но и он не живет без солнечного света, гниет на корню. Осенью осыпаются светло-золотые листья, все погребают под собой. Вокруг дерева мертвая желтая поляна...

Соловей никогда не садился на старый ясень, никогда не пел на его вершине. Только галки свили гнезда в его ветвях, да прячется в них по ночам сова, ухаает до самого рассвета.

Держится старый ясень. Уже ствол его покрылся трещинами, сердцевину изъели черви, кое-где дупла просвечивают насквозь, как рана навывлет, а он стоит неколебимо, жадно сосет корнями соки земли.

Но всему бывает конец. Однажды поднялась буря. Расшатала старое дерево до самого основания. Треск и стоны эхом наполнили ущелье. На помощь ветру пришла река. Врезалась под корни, кусками вырвала их из земли. Наступила последняя схватка — корни цеплялись за берег, ветви хватались за воздух... Последний раз застонал ясень, затрещал и свалился в реку. Волны подхватили его и понесли на камни и скалы...

В ущелье хлынул свет. По обе стороны дороги ветер играет зеленой травой. Тянутся к солнцу, трепещут цветы. Вдоль дороги вытянулись стройные, как молодые горянки, березы и дубки. Они не мешают друг другу. Яркие лучи солнца нарядили их в светлый убор.

Растите. Не позволяйте чужой тени ложиться на вас.

ГОРЯЩИЕ ПОЛЯ

Тысяча девятьсот сорок третий год. Родное Тургенево. Солнце неистово печет. В небе не промелькнет птица. Невозможно дышать. Капля воды, глоток прохладного воздуха — душу за них отдашь! До горизонта поля пшеницы. Под знойными лучами поникли колосья. Все застыло — ни ветерка, ни облачка. Редко-редко запоеет перепел, тихо, невнятно, — видно, и у него пересохло горло. Под ногами еще жужжат мухи. Прячутся в тенистой пшенице. Боятся, как бы не сожгло их солнце. Слабое жужжание, как прерывистое дыхание чахоточной груди.

Далеко, где-то очень далеко, застонала земля. С запада, как стремительные ястребы, вылетели самолеты. Низко опустились. Завыл ветер. Закачалась пшеница. Комья земли полетели вверх. Земля будто взвыла, заохала, затряслась. Ветер стал красно-сизым, казалось окрасился кровью. Загорелась сухая пшеница. С треском побежали по колосьям огненные языки. Над ними облака дыма, как черные лопухи. За ними обугленные поля.

Запах горелой пшеницы! О, это отчаяние горящих полей! Запах горелой пшеницы и дыма! Обжигает лицо, обжигает горло. Огонь все сильнее, все дальше — глазом не обнять. Рвется вперед, как лавина, бежит по полям. Позади ни травинки, ни пшеничного колоса...

На обгорелом холме стоят двое — заросший щетиной старик и девочка. Тонкие, бескровные пальцы старика опираются на слабое детское плечо. Девочка уцепилась за рубаху старика. Широко открытые глаза смотрят вверх, ее бьет крупная дрожь. И старик молча глядит в небо. Чуть шевелятся сухие, потрескавшиеся губы. Из руки сыплются вниз крупные комки сухого чернозема.

И вдруг набегают туча. Тупо грохочет гром. Мелькают злые зигзаги молнии. Падают крупные капли дождя. Где-то далеко вспыхнули последние языки пламени, и все заволокло дымом. Земля вздохнула полной грудью.

По бледным щекам девочки сбегает теплые струи дождя. Она крепко держится за рубашку старика, смотрит, как на его ладони мокнут и темнеют зерна чернозема.

РЕБЯТАМ СМЕШНО

Несколько дней горит земля. Кажется, будто солнце прокатилось по ней — раскалилась галька, синее пламя в небо струится прямо от скал.

Наконец пролился мягкий летний дождь. Он омыл камни, что лежат по обе стороны дороги; просыхая, они задымились.

Внизу, на большаке, под самой кручей, поперек дороги стоит старый серый осел. Свесил длинные уши, дремлет. Издали кажется, что он пробует что-то достать с булыжной дороги и никак не может. С длинных ушей падают крупные капли дождевой воды. Рад осел дождю. Нежится. Иногда задирает вверх морду, будто ловит дождевые капли, и общипанный хвост его начинает шевелиться.

Дорога пуста, проезжих нет. Никто не мешает ослу, никто не замечает старого. Над обрывом во дворе школы играют дети. У них перемена. Им сегодня не до старого, тысячу раз виденного осла. Дождь прошел, можно шлепать по лужам.

Из теснины ущелья показалась синяя легковая машина. Дети гурьбой высыпали на край обрыва, смотрят на нее сверху. Но старый и ухом не повел. Стоит как вкопанный, медленно текут по ушам тяжелые капли. Дети свистят, кричат, улюлюкают, хотят согнать осла с дороги. Все впустую.

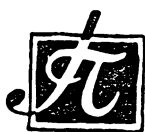
Машина подъехала к нему ближе. Еще сигнал... Осел не шевельнулся. Из кабины выглянул молодой шофер, ласково, по-хорошему попросил осла уступить дорогу. Напрасные уговоры, головы не повернул гордый старый осел. Шофер скрылся в кабине, дал газ, вплотную подъехал к упряму. И, будто очнувшись от мертвого сна, он подпрыгнул на месте и стал бить задними ногами по машине. Зазвенели осколки фар на булыжниках. Осел сорвался с места, помчался по дороге, эхо разнесло его крик по ущелью.

Шофер вылез из машины, посмотрел вслед старому и залился громким смехом. А еще громче хохотали ребята...

ПОВЕСТИ



ПАСТУХ
ЧЕРНОЙ ГОРЫ
*
ОСЕТИНСКАЯ
БЫЛЬ



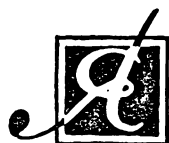
Пастух Черной горы

В ГОРАХ ИДЕТ СНЕГ

*Как тяжело орлу,
Пернатому смельчаку,
Когда крылья связаны.*

С. Кулаев

1



Я сижу на своей изорванной бурке и смотрю с высокой горы вниз, в ущелье. В руке у меня, как полагається пастуху, березовая палка, на боку висит сумка из козьей шкуры. Из-под острого выступа скалы течет прозрачный ручеек. Он чуть слышно журчит, как будто хочет усыпить меня. А как хорошо было бы растянуться сейчас на бурке и заснуть! Не прочь поспать и собака моя Мила — вон как медленно, словно бы через силу, обходит она овец. Мила хорошо знает свое дело — она не присядет, пока не соберет всю отару в одно место. Овцы разбрелись по склону горы, некоторые забрались в пещеры. Иногда Мила смотрит на меня, прищутив глаза и помахивая обрубком хвоста. Наверное, она хочет сказать: «Потерпи еще немного, вот соберу сейчас овец, и тогда мы с тобой поспим. Сперва ты, а потом я!»

Ох, нет, Мила, сейчас мне никак нельзя спать! Взгляни-ка на нашего лукавого Сырдона! Не козел, а злой дух! Ведь опять задумал увести овец! Неспроста он так воинственно трясет сво-

ей длинной, острой бородой! Ой, Мила! Смотри, смотри — он уже обходит некоторых овец, подговаривает их к бегству. А уйдут — не сыщем их, Сырдон небось уже и путь себе наметил! Нет, где уж там спать! Вспомни, Мила, как мы с тобой недавно чуть не отправились на тот свет из-за озорства Сырдона!

Мила виляет своим жалким коротеньким хвостом, уши ее дрожат — она, я уверен в этом, понимает мою тревогу. Не спуская глаз с Сырдона, она усаживается и вытягивает морду. А хитрец козел глазеет по сторонам, будто ему и дела нет до нас, и беззаботно уплетает листья березы. Если бы не Мила, то давно омыл бы дождь твои косточки, Сырдон! Видно, ты, неблагодарный, забыл об этом! Ничего, сейчас ты у меня вспомнишь, как это было! В тот день тебе, лакомке, надоело выискивать редкие травинки среди щебня на склоне гор и ты забрел в тенистое ущелье. А за тобой, конечно, поплелись и овцы. С трудом разыскала Мила к ночи всю компанию в ущелье Синего озера. Хоть лаяла собака изо всех сил, но из-за мощного рева горной реки ее не было слышно. А Сырдон и овцы, сытые и довольные, преспокойно стояли у подножия ледника. Не испугались они и страшных зеленых огоньков, которые вдруг замелькали с разных сторон. Только отчаянное, страшное рычанье Мила заставило овец прижаться к скале.

В ту ночь у нас дома никто не спал. Бабушка металась по дому, то и дело выбегая на улицу. Мы с мамой обежали весь аул и вышли в горы. Я плакал, бегал в разные стороны и не замечал, что мои босые ноги исцарапаны в кровь... Как мы кричали тогда, разыскивая собаку и овец! — Наверное, волки их уже задрали... Пропали мы... Чем расплачиваться будем? — охрипшим голосом шептала мать.

Как я сердился на Сырдона! Попадись он мне в ту минуту, право, прирезал бы!

— Может быть, Мила все-таки с ними? — Я пытался успокоить не только мать, но и себя. — Мила сумеет сберечь стадо...

— Ох, сынок, неужели Мила не услышала бы нас, не откликнулась? — ответила мать, то-ропливо идя впереди меня и спотыкаясь в темноте на каждом шагу.

На рассвете мы добрались до Сухого Русла и здесь увидели сразу всех — Мила, у которой из нижней губы текла кровь, спокойного Сырдона с набитым ртом и чуть поодаль от него — всех беглянок овец. Около камня лежал огромный полосатый волк — глаза его были выпучены, в зубах торчали клоки собачьей шерсти. У одной из овец кровоточил курдюк. Мила, увидев нас, от радости завизжала, но не бросилась ко мне. А когда я обнял ее и присел рядом, подошел Сырдон и стал отчаянно трясти бородой, будто просил прощения.

2

Овцы спокойно поднимаются на гору. Сырдон все норовит забраться в середину стада, чтобы там скрыться от Мила, а она крутится вокруг него: «Не прячься, никуда ты от меня не скроешься. Хитришь, юлишь, как лиса. Ну что ж, давай поиграем — будто ты лиса, а я ее хвост!» А потом Мила поднимается на высокий камень и застывает в неподвижности. Куда скроешься от ее взгляда?

Кто бы, глядя сейчас на Мила и Сырдона, подумал, что они старые приятели и друг в друге души не чают? Я иногда рассказываю об удивительной дружбе козла и собаки ребятам, а они мне не верят и один раз даже обозвали меня вруном. Пошли бы они хоть раз пасти со мной овец, и убедились бы сами, что я одну правду говорю! Но кому охота выходить из дома и ходить по горам за чужим скотом?

Правда, несколько дней Сырдон не подходил к Мила. Видно, какой-то волосок попал в мед их дружбы! То ли обиделся козел, то ли он боялся Мила, я этого и сам толком не разобрал! Вот как случилось, что они поссорились. В тот день

стадо паслось около березовой рощицы. Овцы остановились в тени на привал. Мила тоже решила отдохнуть. Она прилегла на камень, опустила морду на лапы, и сон начал одолевать ее. А у Сырдона, как нарочно, было веселое настроение, и ему хотелось порезвиться вместе со своим другом. Вот он и начал крутиться возле Мила. Собака не обращала на него никакого внимания. Поднялся тогда Сырдон на задние лапы и как кинется со всего размаха на своего приятеля! Мила вздрогнула и бросилась на него. В тот день Сырдон уже не решался подходить к собаке. И на второй день тоже не отважился. А на третий прилег неподалеку от Мила и уставился на нее умоляющими о прощении глазами. Видно, не выдержала душа Сырдона такой размолвки с другом. А как я обрадовался! Ведь они и сами тосковали, да и овцы брели в те дни как неприкаянные.

...С горы сейчас хорошо видно наше село. Осеннее небо чисто. Солнце заходит, его лучи поблескивают на плоских крышах саклей. А в ненастье или туман нельзя разглядеть даже трех башен, возвышающихся на скале. Сегодня же мне видны не только неровные стежки садонских улиц, но и навьюченные ослы, важно и медленно вышагивающие от мельницы к аулу. А вон выделяется своей железной крышей, единственной в ауле, дом Муссà. Самый богатый у нас человек Мусса; скот, который я сейчас пасу, тоже принадлежит ему. А вон три тополя на нихасе — площадке, где собираются мужчины аула отдохнуть и потолковать о своих делах. Эти тополя много лет назад посадил мой дед, их так и называют — деревья Темира. Ранней весной, когда тает снег, наши ребята приходят на нихас с лопатами и разрыхляют землю вокруг стволов тополей. А потом подсыпают навоз, не жалея его. Если бы не ухаживали так за этими деревьями, они давно бы уже засохли. Вблизи них нет ни одного дерева, ни одного кустика. Только у мельницы на берегу речки растет несколько кустов бузины. Кто их посадил, неизвестно; ле-

генд рассказывают об этом много, а правды никто не знает. То ли дело — деревья Темира! Каждому известно, что их посадил мой дед!

Тополя слышат все разговоры мужчин на нихасе и первыми узнают новости аула. А сколько песен сложено в их тени, сколько рождено легенд! Удивительно ли, что у наших тополей на нихасе такой гордый вид? А вот бузина около мельницы — та, наоборот, будто бы даже сутулится от застенчивости и скромности. Она искривлена и сгорблена, потому что ей хочется занять как можно меньше места над землей. А ведь люди и к ней тянутся! То женщины по пути на мельницу присядут в ее тени потолковать о своих заботах, то прибегут сюда девушки, а за ними потянутся парни. Нельзя же, в самом деле, оставлять девушек без мужского глаза! Мало ли что может случиться с ними, когда они выходят из аула!

Около дома моего хозяина виднеется и наша сакля. Она прижалась к скале, будто бы обиделась за что-то на другие сакли и отошла от них подальше, ища опору в камнях. Долго и внимательно смотрю я на наш дом, на его двор и крышу. Смотрю, хоть знаю, что никого сейчас не увижу — отец в Садоне, а бабушка и мать еще на рассвете уехали за сеном на Северные луга.

А что делается на дворе Мусса? Вот кто-то выводит за ворота лошадь, великолепного скакуна самой дорогой кабардинской породы. Наверное, это сам хозяин отправляется в Садон.

В Садоне живет сын Мусса, Мацико. Он там учится — ведь у нас в ауле школы нет. Мусса возит ему туда еду — каждую неделю два раза. Все в ауле знают, какой скряга наш богач. Ему не хочется, чтобы эта позорная слава дошла до Садона, вот он и ездит в поселок и возит туда всякую всячину: и топленое масло, и сыр, и бараньи окорока! А чего ему жалеть еду, ведь он здесь самый богатый хозяин! До нашей сакли всегда доносится из его дома чудесный праздничный запах жареного мяса... Самые жирные бараны Мусса пасутся поблизости, захотел заколоть для

еды,— пожалуйста, они здесь, под рукой! А сколько баранов Мусса нагуливается в Кизлярских степях! Да, ничего не скажешь, много скота у соседа. Но почему-то у сына Мусса нет заботы об отцовской баранте, а я должен мерзнуть из-за нее в холод и мокнуть в дождь! Если я не ужою Мусса — завтра же он возьмет себе другого чабана.

Мацико, Мацико!.. Я не хуже тебя учился в Садоне! Но правильно говорит моя бабушка: чтобы бедного ударить, камень и вверх покатится! Когда я начал учиться, заболел отец, а потом и я свалился. Шесть месяцев пролежал, счень ослабел и не мог даже держать книжки в руках. Мои товарищи из Садона приходили ко мне не раз. Пешком это дорога длинная — часа четыре пройдешь. Но ребятам это не мешало, приходили. А вот соседу моему, Мацико, казалось зазорным навестить меня! Когда я первый раз вышел из дома, еще еле держась на ногах, то первым увидел Мацико. И глупый же я был человек! Заговорил с сыном Мусса, как будто у него есть совесть и душа, как у всех людей!

— Неужели тебе трудно было зайти ко мне? — так я сказал ему. — Хоть бы что-нибудь объяснил мне из уроков, почитал бы вслух!

В ответ Мацико бросился на меня с кулаками. Он победил меня тогда — что ж в этом удивительного? Я был слаб и изнурен болезнью, а он — как полевая мышь раскормленный и сильный.

Ох, Мацико, влетит же когда-нибудь тебе от меня! За все я с тебя спрошу! И за эту драку, и за все издевательство твоего отца над нами! Мало ли намучился мой отец, работая у вас чабаном, пока не перебрался на работу в Садон? Теперь мне приходится вместо него батрачить у вас. Дотянуть бы только до зимы, как мы договорились, а там пусть всех ваших баранов на поминки Мусса прирежут!

Вспомнив о Мацико и той драке, я опять разволновался. Как больно избил меня этот сытый медведь! Как легко швырнул меня на камни!

Как он громко и нахально пел, когда бежал потом домой, гордясь победой над больным человеком! А Мусса сидел на крыше и наблюдал за всем происходящим. Сперва я этому обрадовался: «Вот сейчас Мацико влетит от отца! Разве можно бить больных, слабых?» Но вышло все совсем наоборот. Мусса ласково похлопал сына по плечу и сказал:

— Молодец, сын мой! И как только этот голодранец осмелился заговорить с тобой? Еще сильнее надо было поколотить его, чтобы неподоводно было паршивому щенку трясти грушу вместе с медведем!

Еще больше, чем на Мацико, рассердился я на его отца. От злости я не мог произнести ни слова, так молча и поплелся домой. Ни бабушке, ни маме я ничего не рассказал. Спрятался и долго плакал.

С тех пор каждый раз, когда я вижу Мусса, в моей душе начинает ныть рана старой обиды. Если бы я рассказал отцу об этом случае, разорвал бы он Мусса на куски — я знаю это наверняка. А теперь отец в Садоне, и я за него должен отработать срок у Мусса. Что поделаешь, ведь, кроме меня, некому заменить мужчину в семье, пока отец в городе. А со мной Мусса и слова по-человечески не скажет. Он всегда смотрит на меня злобно и подозрительно, хотя я ишащу на него от зари и до зари. Одни упреки слышу от него: то я слишком рано пригнал скот, то встал слишком поздно! Да что говорить! Ему и самый свет режет глаза — неспроста же он всегда их злобно щурит! О таких, как Мусса, у нас говорят: «На поминках соседа у него во взгляде грусть, а на сердце — веселье». Пусть только кончится срок моей кабалы — ни одной минуты больше не буду я пасти скот Мусса! Ну ничего, теперь осталось ждать не так уж долго! Зато я получу деньги, и отец купит себе лошадь! Горест с лошадью — уже не бедняк! Скоро мы не будем бедняками! Вот что значит, если в семье двое мужчин! Скорее бы, скорее пришел конец срока!

Но почему эти последние дни тянутся долго,

как унылые зимние ночи? У меня опять делается на душе тоскливо, и я опять чувствую, что я один среди животных на высокой каменистой горе.

Отара приблизилась к березовой рощице и остановилась на привал. Сырдон и Мила, будто поняв, как мне тоскливо, медленно подошли ко мне. Я дал им по кусочку чурека, они деликатно сжевали его и улеглись рядом. Сырдон долго смотрел на меня в упор. Я почти уверен, что он хотел сказать мне: «Фидар, ведь мы с Мила твой, а не Мусса... Знаешь что: давай заберем из отары двух наших баранов и уйдем отсюда... Я отведу их в луга, где растет самая сочная и душистая трава! Мила охраняла бы нас от волков, а я бы никогда не озорничал, ни с кем бы не ссорился, не уводил бы баранов от тебя! И тогда, Фидар, ты не будешь называть меня Сырдоном. Если бы тот Сырдон, сын камня, о котором много веков подряд рассказывают у нас люди, был бы всегда умным, добрым и только бы выручал нартский народ от бед и напастей, я был бы рад моему имени. Но ведь тот Сырдон, кроме того, и обманывал, и лукавил, и за обиды жестоко мстил каждому. Придумай мне другое имя, Фидар».

3

Густые черные тучи поднимаются по Кивонскому перевалу. Они спешат и беспорядочно толпятся, будто долго сидели взаперти и сейчас стремятся поскорее воспользоваться своим освобождением. От холодного, резкого ветра у деревьев начинается лихорадка, и они трясутся в ознобе. Как мрачно, темно и холодно стало сразу! Не верится, что совсем еще недавно на небе не было ни облачка и горные вершины ярко освещались солнцем. Овцы, видно, испугались приближающейся бури и от страха с особой жадностью набросились на траву.

Я вскочил, схватил бурку под мышку и крикнул:

— В пещеру!

Потом я изо всех сил свистел и размахивал палкой, но овцы не обращали на меня никакого внимания. Они упорно совали морды в траву и жевали, жевали... Наконец с помощью Сырдо-на мне удалось отделить от стада и загнать в пещеру несколько обжор. А за ними помчались и другие. Только добежали мы до убежища, как молния ярко осветила Кивонский перевал, и началась гроза. Страшный грохот сотрясал землю. Казалось, вот-вот обрушатся горы. Крупные капли дождя ударялись о камни с такой силой, что их подбрасывало вверх, как кукурузные зерна с раскаленной плиты. Через минуту на мне уже не было сухой нитки.

Не вместившиеся в пещеру овцы крепко прижимаются к скалам. Мутная дождевая вода стекает с их хвостов. Ветер врывается в пещеру. Он вихрем вертится и здесь, смешивая солому с золой, с силой стуча по закопченным стенкам. Вход в пещеру загораживают мощные потоки воды — им ветер тоже не дает покоя и разносит их в разные стороны, будто оберегая камни от слишком тяжелых ударов дождевой воды.

Моя старая бурка, дырявая как решето, не защищает от ветра. Я пробираюсь в самую глубину пещеры, прижимаюсь к стене, но и здесь нет мне спасения от холода и ветра, пронизывающего до косточек.

Напротив меня, по северному склону ущелья мчатся разлившиеся вширь родники и уносят с собой все, что попадается им по пути. Слева от пещеры, где час назад спокойно журчал небольшой прозрачный ручеек, несется мутный поток, на его поверхности подпрыгивают камни.

А как же бабушка и мать? — вдруг охватывает меня тревога. На Северных лугах могут быть страшные обвалы... Бежать к ним нельзя — овцы... Северные луга не видны из моей пещеры, они за горой. А мне так нужно знать, что там делается!

Наконец дождь утихает. Но вдруг в воздухе заблестели снежинки, сперва отдельные и ред-

кие. А потом снег повалил густыми мягкими хлопьями. Белыми стали горные вершины, белые широкие полосы пролегали по склонам.

Первой моей мыслью было угнать скот в аул, пока дороги не занесло снегом.

— Нет, сейчас еще рано,— стал я спорить сам с собой,— земля еще не промерзла. Лавина может понестись, если коснешься хоть одного камня, и мы все погибнем под снежным обвалом. Надо выждать, пусть лучше уж занесет дороги — проведу овец и без дороги. Пойдем с Сырдоном впереди, и Мила побежит с нами. А там покажется и кто-нибудь из аула... Но кто же может пойти сейчас в горы? Мать и бабушка в лугах, хоть бы сами живы остались... Мусса в Садоне. А не уехал бы, все равно в такое ненастье шагу бы не сделал из дома. Для того он и нанимает людей, чтобы ему сидеть в тепле, а им пасти его скот в любую погоду...

Мороз пробирает меня насквозь. Мокрые суконные чувяки замерзают, стягиваются и больно сжимают ноги. Что-то надо делать, пока я не замерз окончательно! Пробую разжечь очаг, не выходит — все спички намокли. И тогда я решаю окончательно: домой, скорей домой!

Ни одна из овец не решается выйти из убежища. Я беру Сырдона за рога и вывожу его из пещеры, свистнув овцам. Несколько баранов пускаются в путь вслед за нами. А там уж поднимаются остальные. Мила идет где-то сзади.

Медленно пробираюсь я вперед по глубокому снегу. То хватаюсь за кустарники, то, как слепой, нащупываю дорогу палкой. Скот тянется за мной поодиночке. Конца этой вереницы не видно,— может быть, половина овец осталась в пещере, может быть, повернула в другую сторону...

Замерзшие чувяки скользят по снегу. Вьюга слепит, больно ударяя по глазам. Дороги совсем уже не видно. Я опустил голову, прячу лицо от колючего ветра и изо всех сил стараюсь идти прямо и не сбиться с дороги.

— Фида-ар! — Женский голос донесся до меня с воем ветра.

Мать! Конечно, это она! Сердце мое радостно забилося. Я прикладываю окоченевшие руки ко рту и кричу что есть сил:

— Э-эй! Гыцци-и! Я здесь! — Подвернув под себя полу бурки, усаживаюсь на нее и, как на салазках, спускаюсь вниз по склону.

У подножия горы мать подхватывает меня. Мокрая, растрепанная, она держит меня за плечи. Она задыхается, дрожит и никак не может начать говорить.

— Жив, мой сын жив! — наконец шепчет она.

— Торопись, Сона! Буря все усиливается, нельзя задерживаться, — уговаривает маму наша соседка Разиат, которую я сперва не заметил. Она стоит чуть поодаль, держась за ветку березы.

— Идем. Разиат, конечно, идем! — И мама пытается защитить мою спину от ветра своей насквозь промокшей шалью.

4

Всю ночь бабушка поила маму горячим молоком, грела и прикладывала к ее ногам кирпичи. Но все же утром мама не могла подняться. Бабушка тоже кашляла и стонала. Но бабушка у нас очень странный человек: как бы ей ни было худо, она сразу выздоравливает, если в семье кто-нибудь заболевает. Так было и этой ночью — я лежал, отогреваясь и отсыпаясь, а бабушка ухаживала за моей мамой, своей невесткой.

Проснувшись, я думал о том, какой я везучий человек. Не замерз вчера в такую бурю в горах! Овец Мусса — об этом я уже знал — кто-то пригнал, и ни одна из них не пропала!

Мама и бабушка велели мне идти к Мусса и узнать, надо ли угонять скот в горы. Я им, конечно, возражать не смел, но мне это казалось несправедливым — ведь отец договаривался пасти скот Мусса только до зимы. А снег выпал

по колено,— значит, зима уже наступила. Зачем же мне идти к Мусса? Сена у Мусса напасено вдоволь, куда ему еще?

Я застал Мусса в сарае, где он расхаживал, рассматривая свои запасы дров. На суконной шубе соседа поблескивали серебряные язычки пояса. Двумя руками он придерживал перекинутую за спину длинную березовую палку — будто хотел сломать ее. Он сурово взглянул на меня из-под лохматой шапки, надвинутой по самые брови.

— Ты что это, парень? Снег выпал, так уж решил валяться до полудня? Овцы сегодня будут дома, а ты отправишься на перевал за сеном. Возьми волов с пятнами на лбу и ступай, не теряй времени. Снег мокрый, скользкий, смотри, чтобы волы не упали, не ушиблись.

— Не было такого уговора — сено возить!

— А-а! — завопил Мусса, убрав палку со спины.— Уговору не было? Ступай тогда вон и играй со своим козлом! А вечером можешь его подоить! Наешься, напьешься и поспишь сладко около печки! И семья твоя будет сыта молоком от вашего козла.— Мусса кривлялся, подмигивал, а потом гаркнул, насупив брови:— Чтобы духу твоего здесь не было! И не смотри на меня так, щенок! От горшка два вершка, а уже — «уговора не было»! Вот и корми этих паршивых собак, набивай их ненасытную утробу! Помои и те жалко им сливать! Разве они когда-нибудь скажут спасибо? Вон отсюда, собачье отродье!

Я задыхался от злости и еле сдерживал слезы. Ведь я вчера чуть не погиб, моя мама заболела, и все из-за его скота, а он нас же обозвал собаками! И выгоняет меня, как щенка бездомного!

Выбежав во двор, я быстро нагнулся, схватил камень и, дрожа от ненависти, швырнул им в сторону Мусса.

Перепрыгивая через ограду, я услышал треск оконного стекла.

Сердитый и расстроенный пришел я домой и подробно передал бабушке и маме разговор

с Мусса. О том, как я бросил камень и разбил стекло, язык у меня не повернулся рассказать...

Бабушка ужасно рассердилась на Мусса. Ох и взвилась же она!

— Гнать мальчика на перевал! Да чтобы труп этого бандита привезли с перевала! Да чтобы сеном с перевала раскормили скот на его поминки! Все ведь у него завалено сеном: и двор, и сараи! Да чтобы бараны его в ненастье передохли! Чтобы и вправду с голода вся его отара околела! Не пойдешь ты больше внаймы к кровопийце! У тебя, слава богу, есть отец, проживем как-нибудь, не пропадем. Вот только бы невестка поправилась,— добавила нана, успокаиваясь.

Мама внимательно слушала бабушку и в знак согласия молча кивала головой. Слова свекрови радовали ее, я это понимал. И еще я понимал, что так же, как и я, мама удивляется смелости нашей старушки, на вид такой хрупкой, слабенькой. «Всю жизнь свою она мучилась,— подумал я.— Дед погиб во время обвала, когда отец был младше, чем я сейчас... Всю жизнь недоедала, а работала за двоих — одна вырастила сына! Недаром она так высохла... А вот унижаться никогда ни перед кем не станет!»

— Пойду почищу снег с крыши,— сказал я и вышел из комнаты. По правде говоря, я побаивался, что придет Мусса и начнется разговор о разбитом стекле. Лучше на всякий случай быть подальше!

Работал я старательно, но не успел смести весь снег, как увидел на улице жену Мусса, толстую Фати. Она шла к нам! Закутанная до носа в большую шаль, она старалась держаться поближе к каменной ограде,— видно, боялась, что я смахну на нее снег.

Добравшись до ворот, Фати стала изо всех сил колотить по ним кулаками.

— Сона! Габанон! Да отвечайте же!

Бабушка вышла и отворила ворота.

— А, Фати, это ты! Пожалуйста, заходи, не стой на холоде!

— Габанон, что это такое делается? Вы у се-

бя здесь волка растите, да? Мы вам, нищим, помогаем, а он за это наши окна разбивает! — Фати показала из-под шали осколок стекла.

— Ты сюда ругаться пришла? Ну, тогда так и скажи — я пришла к тебе, Габанон, чтобы ругаться с вами! Только не тарахти так, не дергайся, как курица, у которой отрезали голову!

Бабушка подлила своими словами масла в огонь.

— Это ты меня, жену Мусса, курицей безголовой называешь? Ай, Габанон, теперь я вижу, у кого ваш парень учится дерзости говорить! Муж разговаривал с ним как с человеком, а он, щенок, нагрубил взрослому да еще камень в окно бросил. Разбойник он у вас, разбойник!.. Самое хорошее стекло разбил! Что же, так это ему и сойдет, так вы думаете? — Фати кричала и размахивала осколком стекла.

Бабушка ответила не сразу. Она, наверное, расстроилась из-за моей трусости — ведь я ничего не сказал дома о разбитом окне. Но крики и угрозы Фати рассердили бабушку, и она бросилась в бой:

— За стекло мы, конечно, его накажем. Не замерзнете вы, не бойся, вставим вам новое... Да не размахивай ты так этим осколком, глаза мне выколешь! А вот ты скажи, Фати, почему вы с мужем носа из дома не высунули, когда мы все чуть не погибли вчера из-за ваших овец? И какой это разбойник, какой злодей мог еще призывать мальчику ехать в такую погоду за сеном? Вы что же думаете, что у него нет ни отца, ни матери? Раз он у вас в пастухах, так вы можете с ним делать что хотите? Из-за этого несчастного стекла ты от злости задыхаешься, а что человек чуть не замерз в горах, вам наплевать!

— Ничего с ним не случилось бы, если бы пошел на перевал с волами! — совсем уж обнаглела Фати.

Эти слова окончательно вывели бабушку из себя. Бледная, она медленно двинулась на Фати, не сводя с нее глаз. Соседка пригнулась, надви-

нула платок на голову и, резко повернувшись, побежала по глубокому снегу. У своего крыльца она остановилась и погрозила стеклом в нашу сторону. Рот ее открывался и закрывался, но крика не слышно было — ветер относил его.

«Нехорошо получилось, — думал я. — Не даст нам теперь покоя Мусса. Может и денег не отдать из-за этого окна. Вот досада — хотел в Мусса запустить, а разбил стекло...»

Нет, не Мусса я боялся. Было стыдно перед своими. Что-то отец скажет. И еще будет разговор с мамой и бабушкой. Ох, нехорошо это вышло...

Ночью мама почувствовала себя плохо. Она тихо подозвала меня и шепотом, чтобы не разбудить бабушку, сказала:

— Солнышко мое, проведаль бы ты отца. Здоров ли он? Целую неделю он не был дома. Мало ли что могло с ним случиться... А обо мне ты ему не говори, не пугай... Просто скажи, что я хочу видеть его. Так и скажи: мама зовет, соскучилась...

И она зашлась от кашля, который сотрясал все ее тело. Бабушка сразу проснулась и так разволновалась, услышав этот страшный кашель, что не могла найти чашку с молоком. Со сна, растерянная, она схватила ведро с водой и подтащила его к маме:

— Глотни молока, невестка... легче будет дышать...

А когда маме стало немного лучше, бабушка, взглянув на ее кровать, тихо сказала мне:

— Ложись, Фидар, засни. А я подлатаю твою рубаху и брюки тоже. Завтра сходишь к отцу, узнаешь, почему он не приходит так долго...

Вот счастье мне привалило! Не надо завтра вести на пастбище скот Мусса! И я больше не буду бояться злых насупленных бровей Мусса и его длинной палки с набалдашником! Скорее, скорее снять одежды — до чего же они и правда рваные. Скорее под шубу!.. Несколько раз мне подмигнула лампа. А потом я уснул под негром-

кий шорох бабушкиных шагов — она чуть-чуть волочила ноги, и ее чувяки мягко шуршали по глиняному полу.

5

Хорошо идти не с овцами Мусса, а одному! И не на пастбища, а к отцу в Садон. Вот сейчас спущусь с горы самой короткой тропинкой. Это ничего, что она такая крутая. Потом пройду немного вдоль речки. До мостика идти не буду, это мне ни к чему, я перейду речку по камням, такой путь ближе. А теперь опять по горе вверх.

В Садон я пришел почти в полдень. Прошел мимо саклей, облепивших скалы так же, как и у нас в ауле. Немного постоял перед лавкой. Странно здесь придумали — внизу магазин, а над ним жилье для людей! У нас в ауле устраивают иначе — внизу хлев, а сверху лавочка. К ней надо подниматься по лесенке.

Скоро, очень скоро я увижу отца! Вот еще совсем немного пройти, а там уже и барак, где живет отец. Ой, что это? Прямо навстречу мне, красуясь на гнедом коне, движется Мусса, а рядом с ним, как уставший ишачок, понуро плетется Мацико. Недаром говорят: змея мяты боялась, мята у ее норы выросла! Так и меня подстерегла беда — встреча с Мусса там, где я ее совсем не ожидал!

Недолго думая, я вошел в открытые ворота какого-то дома и спрятался за ними.

Мусса подъезжал все ближе. Мне казалось, что его лошадь вот-вот наступит мне на спину своими стальными подковами. До меня донесся разговор отца с сыном:

— Не в школу тебе ходить, а скот пасти! А что? И пошлю. Отец твой не по книгам учился!

Зачем это Мусса понадобилось ехать в Садон? Что ему тут делать? Наверное, отца моего искал — жаловаться на меня, для этого и заявился сюда... Не высовывая головы из своего убежища, я смотрел вслед Мусса.

Когда он повернул за угол, я встал, закинул сумку за спину и вышел за ворота. По улице шли мокрые, грязные люди. Казалось, будто их только что вытащили из болота. Они двигались с трудом, тяжело ступая, сутулясь. Я услышал, как один из них, очень худой, небритый, осипшим голосом сказал шедшему рядом:

— Тихо, ни звука. Следят за нами. Ну конечно, они послали кого-нибудь из своих.— И оба взглянули на окна конторы.

По улице длинной вереницей тянулись тяжело нагруженные арбы. Я бывал уже не раз в Садоне и знал: это везут руду на завод в Алагир. А уставшие, грязные, мокрые люди, что идут сейчас по улице, копают эту руду в шахтах Садона. В дождь, в холод, в бурю по дороге вдоль ущелья раздаются крики возчиков. Идти им в Алагир день, потом ночь, потом еще день... Колеса отчаянно гремят по булыжникам — еще бы! Ведь на каждой арбе — пуды и пуды. А сколько грохота от металлической полоски, которую наши горцы любят укреплять на оси — ради красоты и радостного звона! Даже шума реки не слышно...

Одно из окон конторы открывается, и показывается смуглый человек. Я остановился посмотреть на него, потому что меня заинтересовали его усы. У всех, кого я знал, усы были пушистыми, широкими, а у этого они тонкие, как ниточка, и стрелами заостряются на концах.

— Эй, вы! — закричал этот тонкоусый, стуча кулаком по подоконнику.— Сколько раз надо вам говорить, чтобы вы тут не ездили. Чем вам не нравится дорога по берегу реки? Тут контора, тут дела важные решаются, серьезные люди делом занимаются, а вы, как дикие звери, ревете и галдите! Тавро, что ли, вам на уши поставить, чтобы дошло это до вас наконец? Голова моя сейчас лопнет из-за этого шума!

— А ты не бойся за свою голову! — Коренастый белокурый возчик погрозил в окно кнутовищем.— Прибереги своему папаше дорогу на берегу! Ему она пригодится! А мы и без тебя

знаем, где нам ходить, не указывай нам дороги! Мы эти камни босыми ногами до блеска натерли, а ты по ним в начищенных сапожках щеголяешь!

Выговорившись, белокурый потянул уздечку, приподнял правым плечом оглоблю и отправился дальше, деловито покрикивая на лошадь.

Смуглый человек из конторы на минуту замер, а потом злобным движением захлопнул окно.

На подъеме, у поворота к базару что-то случилось — все арбы остановились. Два человека, схватив за уздечку лошадь ближайшей к ним арбы, сердито выкрикивали:

— Проезд запрещен! Вниз, вниз, к берегу! Не мешайте работать конторе! Начальник приказал! Поворачивайте к берегу!

— Отпустите уздечку, а то я вам покажу сейчас контору! — Молодой возчик как коршун бросился на охранников и, схватив одного из них за воротник, с силой отшвырнул в сторону. Второй сам бросил уздечку и побежал от арбы.

Высокий, слегка сутулый человек в грязной парусиновой куртке схватил возчика за плечо:

— Нашел время для драки! Ишь ты, разошелся! Может быть, пойдешь сейчас бить конторских?

Возчик с минуту пристально смотрел в лицо высокого человека, а потом они оба рассмеялись.

— Да, ты прав, — чуть сконфуженно произнес возчик, — не с такой битвы начинать нам, конечно... А все-таки взгляни-ка на этого храброго мужчину, — и он указал кнутовищем в сторону своего недавнего врага, который, пыхтя и ругаясь, поднимался с земли, — не бросился бы он от злости в пропасть! Разъясни ему, дорогой, что завтра по этой дороге опять пойдут арбы с рудой. Если ему сегодня здесь понравилось стоять, пусть и завтра придет. Не знаю только, захочется ли ему хватать мою лошадь за уздечку?

— Да, лучше я с ним поговорю. Он меня хорошо поймет! — спокойно сказал человек в парусиновой куртке и подошел к охраннику. Тот

двинулся было вслед за телегой, но светловолосый удержал его за плечо.

— Пусти! Пусти! Я ему покажу еще! В тюрьму посажу! Сибирской водой напою! — Охранник одной рукой размахивал в воздухе, а другую прикладывал к пояснице.

Человек в парусиновой куртке рассудительно втолковывал ему:

— Да погоди, не шуми... Завелся, как пустая мельница. Что же ты теперь-то руками машешь? Вон он уже где, обидчик твой! Тебе сейчас кричать да угрожать — что за выпущенной пулей бежать... Не суетись, не кричи, а подумай лучше, как тебе заработать кусок хлеба для детей своих чистым делом. Взрослый ведь ты человек, сам все понимаешь: будешь тут торчать и мешать людям — останутся твои дети сиротами... Ведь одной рукой может тебя такой молодец в пропасть швырнуть, а там иди, ищи его! Гор у нас много, а кто лучше горца знает все ходы, выходы, пещеры, тропки?

— И не с такими справлялся! Меня сюда начальники поставили! — бушевал помятый охранник.

— Ну, иди, иди за ним. И приятеля захвати с собой, чтобы он тебя понес, когда твои ребра захрустят! Кому из начальников понадобится ты с переломанными ребрами?

— А что ты вступаешься за этих разбойников? Заодно с ними, что ли?

— Почему бы и нет? Ты тут чужой человек, какое тебе дело до дороги? Разве твои деды ее строили? А начальники — мало ли что они прикажут! Нельзя запрещать людям ходить по дорогам! Люди имеют право ходить везде! Да что там! Радуйся, что жив остался! Успокойся и подумай сам обо всем. А то знаешь, когда человек сердится, он плохо соображает и делает глупости.

Мужчина в парусиновой куртке спокойно закончил свою речь, сунул руки за спину и медленно направился к базару.

Я стоял неподалеку и с интересом наблюдал

за всем. Светловолосый в парусиновой куртке кого-то напоминал мне, но я никак не мог толком рассмотреть его лицо. Я поспешил за ним и догнал его у поворота к базару.

— Извини меня, хороший человек... Не видел ли ты Кайсына?

Он внимательно посмотрел на меня и низким голосом крикнул:

— Фидар? Пастух Черной горы?

— Я увидел вас там, где задержали арбу, но не сразу узнал... Теперь вижу — Петр! А тот, ну чью арбу хотели задержать, — это не Хамыц?

— Конечно, он, Хамыц! А меня, говоришь, не сразу узнал? Очень я тебе страшным показался, наверное? Да, дружок, вот такими мы и выходим из шахт, на людей не похожие... А ну-ка, Фидар, взгляни — вон по склону спускаются люди. Они из Верхнего Мизура.

Мы шли рядом. Петр что-то рассказывал, о чем-то расспрашивал меня, но я его слушал невнимательно и отвечал невпопад. Мои мысли были заняты Хамыцем. До чего же он здорово расправился с охранником! Наверное, потому и считают люди, что ребра Хамыца сделаны из сплошных дубовых досок! Мы с ребятами часто толковали об этом и не могли понять, как это Хамыцу удастся нагибаться... А когда он приходил на нихас, мы окружали его и старались рассмотреть получше. Он смеялся и подбрасывал нас вверх — легко, как новорожденных ягнят. Мы взбирались на него, словно на тополь. На нихасе делалось шумно и весело. Редко кто из взрослых так охотно возился с ребятами, как силач Хамыц. Может быть, это потому, что он сам рос сиротой, без отца? Его мать Разиат и моя мать из одного аула. Они и теперь дружат. А Хамыц с моим отцом неразлучны, как близнецы, хотя отец много старше. Со мной Хамыц очень ласков и разговаривает больше, чем со всеми другими мальчиками аула. С тех пор как я вместо отца пасу овец Мусса, Хамыц стал называть меня пастухом Черной горы. Вот и Петр тоже так меня называл.

Хамыц хорошо поет и знает много песен. Особенно часто поет он песню пастуха Черной горы. И сейчас, когда я иду рядом с Петром, у меня в ушах звенит приятный мягкий голос Хамыца, поющего свою любимую песню. Эту песню любит и мой отец. Они часто поют ее с Хамыцем вдвоем. А я радуюсь, что Хамыц называет меня пастухом Черной горы. Когда-то и он, наш силач Хамыц, был пастухом у Мусса. Да, всякое бывало в его жизни... У Мусса он долго не выдержал — бросил его отару и исчез. Где он был, никто не знал, поговаривали, что в России... Год тому назад вернулся он в наши края, но к Мусса не пошел, а работает в Садоне. Мусса с тех далеких дней ненавидит Хамыца. Ох и ненавидит! А кого этот злой волк любит? Только себя да, может быть, Мацико своего...

Да, так вот откуда я знаю песню пастуха Черной горы. И когда мне бывает скучно и одиноко, я тоже пою ее:

Ой, пастух горы Черной
На свирели играет,
Песнь свою обращает
К пастуху горы Белой:
«Ой, спешат к тебе гости,
Раздуваясь от злости.
Ой, спешат к тебе гости,
Скачут, кони дымятся,
Богачи осетинские,
Богачи кабардинские.
Всех числом их двенадцать.
Ой, торопятся гости
За твоими костями,
За твоими стадами.
То убийцы — не гости.
За твоею отарой
Валух тащится старый,
Ты возьми и зарежь его,
Их корми, сам не ешь его.
Будет мясо им ядом,
А конец будет адом»¹.

¹ «Песни безымянных певцов». Народная лирика Северного Кавказа. В переводе Н. Гребнева. Махачкала, 1960.

*Видно, муж мой милый,
Ты жены умней,—
Что бежал в могилу
От семьи своей.*

Коста Хетагуров

1

Ночь окутала горы. Ущелье потемнело. В окнах над плоскими крышами домов Верхнего Садона еще мерцал свет. Арбы продолжали громыхать по дороге.

Мне не спалось, и я часто приподнимался к окну барака. Отец привел меня сюда и показал, где он спит.

— Захочешь лечь, можно здесь. А на рассвете пойдем домой!

С работы его не отпустили. Отец очень рассердился на своего начальника, даже плюнул ему вслед.

Различные заботы не давали мне покоя. Время от времени я вытаскивал из кармана конфеты — подарок Петра. Я слышал, что больным очень полезно сладкое, поэтому половину конфет решил отдать маме, чтобы поскорее поправилась. А другую половину заранее распределил между бабушкой, Разиат и, так и быть, собой... Скорее бы уж съесть свою долю. Ночь тянулась очень медленно, и мне почему-то делалось легче, когда я вытаскивал конфеты из кармана и начинал отсчитывать: маме, бабушке...

А перед глазами все время была больная мама и задумчивая, озабоченная бабушка. Может быть, мама и сейчас, как вчера в это время, мучается от сильного жара, бредит?.. А ведь бабушка такая слабая, сама еле ходит. Но почему же отца не отпустили домой? Низенький, коренастый начальник, который говорит плохо и по-осетински и по-русски, что-то кричал отцу, брызгал слюной и даже как-то странно, словно на пружинах, подпрыгивал. А потом резко повер-

нулся и поспешно ушел. Я никогда не видел брови моего отца такими насупленными, как в ту минуту.

В бараке было мало людей, и все они спали. А мне не спалось, и я опять и опять смотрел в окно. На горе то в одном, то в другом доме потухали огни. Мне казалось, что они устали смотреть на ночную темноту и закрывали глаза.

А грохот колес не прекращался, и шум речушки тоже...

Наконец сон стал одолевать меня. Я снял арчи, лег, укрылся шубой, еще раз пересчитал конфеты и заснул.

Через некоторое время я очутился с ребятами нашего аула на горе Залгада. Как-то удивительно быстро мы набрали терновые ветки и разожгли огромный костер. Один из ребят подкрался ко мне сзади и толкнул меня, да так, что мои босые ноги оказались в огне. Хочу выбраться из огня, но кто-то удерживает в нем мои ноги...

Больно... Страшно...

— Что с тобой, сынок? Что у тебя болит? — Меня разбудил один из товарищей отца, худой, небритый человек. — Смотри, вспотел весь! Не простудился ли ты, парень? Укройся получше, — и он накрыл меня своей шубой.

Да, вспотел я основательно, но у меня ничего не болело, только ноги все еще горели, как в огне. Я повернул голову к окну — вдруг уже пора вставать? Сон оставил меня, и я не мог оторваться от окна. Опять возникло передо мной лицо мамы, и тревога снова сжала мне горло. Вдруг отчаянный крик ворвался с улицы в барак. В тот же миг в помещении не осталось ни одного человека. Я надел арчи, накинул на плечи свою рваную шубу и тоже выбежал на улицу. На том самом месте, где отец разговаривал с начальником, стояла небольшая толпа. Кто-то громко кричал:

— Вы поглядите только! В их проклятых ямах погибают люди, а они всю ночь веселят-

ся! На пиры у них хватает денег, а когда мы требуем новых креплений, то у них копейки нет!

Верхний этаж был ярко освещен, и из его окон раздавались звуки громкого смеха и песен. Может быть, пирующие не слышали криков на улице? Праздничный шум все нарастал, пока его не оборвал удар камня о стекло.

— Зачем это? Разве перебьешь их всех камнем? — раздался в темноте голос.

— Пусть хоть один останется без глаза!

Озираясь кругом, я внимательно слушал крики людей и старался понять, что произошло. Я уже набрался духу, чтобы обратиться с вопросом к кому-нибудь, но народ всей толпой хлынул в сторону рудника.

Я понял, что произошло какое-то несчастье, и побежал вместе со всеми...

— О всевышний господь! Истреби нас всех в один день, чтобы мы больше не видели страданий друг друга! — громко и медленно сказал стоящий возле меня человек в мокром суконном бешмете.

Люди столпились вокруг входа в рудник и напряженно всматривались в его темную яму. Я вдруг заметил, что все сняли шапки. Уже рассветело, и в сером предутреннем свете худые небритые мужские лица казались тоже серыми, будто они сделаны из камня. Все молчали. Навёрху, на земле, стояла тишина. Снизу, из рудника, раздавался странный гулкий шум от невнятных человеческих голосов и бульканья воды.

Мне делалось все страшнее. Крупная дрожь сотрясала меня. Я смотрел на людей, замерших в каком-то необычном ожидании, и все не решался обратиться к ним с расспросами. Но что-то заставило меня ближе подойти к руднику.

Когда же я очутился около зияющих ям, люди расступились. Кто-то взял меня за руку и отвел в сторону.

— Иди, мальчик, иди отсюда! Не надо тебе все это видеть!..

Чей-то срывающийся голос суетливо повторял:

— Говоришь им, говоришь, просишь, предупреждаешь — берегитесь, осторожней! Нет, ничего знать не хотят, ничего не слушают! Говоришь, просишь...

— А ну, начальник, убирайся отсюда, а не то без зубов останешься! — Человек в насквозь промокшей одежде подходил к начальнику, сжимая мозолистые пальцы в каменный кулак. — Теперь тебе здесь нечего делать.

Начальник испуганно взглянул на него и стал потихоньку отступать назад.

Из рудника вынесли трех человек. С них стекла темная вода, лица были облеплены грязью. Я заметался в толпе. Мне надо было как можно скорее найти отца! Здесь так много людей! Где же искать его? Мертвых понесли в барак. Из соседних домов выскочили женщины и начали причитать. Мне показалось, что мое сердце сжато железными пальцами. Я схватил кого-то за рукав и громко закричал...

2

Отец лежал неподвижно. Мне казалось, что он заснул тяжелым сном после долгой болезни. Его темные мозолистые руки были скрещены на груди. Лицо было перевязано кумачовым платком в горошек, виднелись только густые брови, заострившийся нос и верхняя губа. Я стоял возле отца и терпеливо ждал, чтобы он открыл глаза и ласково спросил своим низким голосом:

— Как здоровье моей матери, сынок? Берегите ее, пусть хоть в старости поживет спокойно...

Я ждал, не отрывая глаз от лица отца, а он все молчал.

Люди входили и выходили, о чем-то тихо, с тревогой говорили, подходили к отцу и неподвижно стояли возле него.

Ко мне подошел Петр. Он был молчалив и мрачен. Посмотрел на меня, погладил по голове и с трудом, отрывисто сказал:

— Крепись, дружок... Пойдем пока ко мне. У меня такой же, как ты, малец, Вася... Пошли, что теперь поделаешь...

Я ему ответил, что отца оставить я не могу. Но он взял меня за руку и вывел из барака, шепнув что-то людям, стоявшим возле отца.

Петр шел быстро, крупными шагами. Я с трудом поспевал за ним, спотыкаясь о камни. На узенькой улице, по которой мы шли, стояло много женщин. Они грустно смотрели на меня и переглядывались.

Мы остановились перед входом в низкую, ветхую лачугу. Коренастый Петр протиснулся через узкую дверь и прошел вперед, указывая мне дорогу. Резким движением закинул он в угол шапку. Встретившись взглядом с женщиной, поднявшейся навстречу нам, он на минуту закрыл глаза.

— Накорми-ка нас, Дарья. Мальчик давно не ел.

— Ох, беда! Погодите немного. Я не успела приготовить. Все из-за Васи. Огнем горит, не до ужина было мне. А ты, детка, пойді к Васе, посиди с ним, пока я тут управлюсь.

Щеки Васи были такого ярко-красного цвета, будто кто-то из баловства их выкрасил. Спутавшиеся влажные пряди волос спускались к светлым бровям. Голубые глаза были прищурены и блестели. Я уже знал, что глаза так сверкают у людей, когда у них сильный жар.

Вася попросил меня дать ему одну книжку из аккуратной стопки на подоконнике. Он рассказал мне, что ходит в школу и любит читать. Наверное, в другой раз я бы попросил его прочесть мне что-нибудь из книжки, которую он особенно хвалил. А сейчас все это было мне не нужно. Я прислушивался к разговору Петра с женой в другой комнате.

— Дарья, собери там мое белье, ну и, конечно, рубашку и брюки. Не нести же его в тех лохмотьях. К жене его, Сонё, и к матери уже поехали... Бритву мою не видела?

— Посмотри в среднем ящике стола.

Вася что-то читал мне вслух, но я ничего не понимал. Раздался стук в дверь. Я вздрогнул, схватил шапку и рванулся к двери.

У ворот я столкнулся с Хамыцем. Он посмотрел на меня и опустил голову. Я взглянул снизу в его лицо — как мне хотелось, чтобы он назвал меня пастухом Черной горы и улыбнулся мне, как всегда, весело и лукаво. Но он все ниже опускал голову, и из его глаз катились крупные слезы.

...Отец лежал в гробу чисто выбритый, в черной сатиновой рубаше и в брюках, которых я никогда на нем не видел. Несколько мужчин неподвижно стояли вокруг него.

В бараке было очень тихо, никто не говорил, даже шепота было не слышно. Вдруг на улице раздались крики и плач.

— Приехали! — воскликнул кто-то испуганным голосом. Несколько человек бросились к воротам. Я тоже побежал...

Во двор, громко рыдая, входили мужчины нашего аула. Раньше я всегда удивлялся, как это ради обряда мужчины заставляют себя рыдать, являясь на похороны земляка. А сейчас мне казалось, что иначе и не могло быть. Кому же еще плакать, прощаясь с моим отцом, как не сильным и смелым его друзьям? За мужчинами шли женщины. Их крики и плач, казалось, могли разрушить скалы.

Кто-то подхватил меня и крепко обнял. Я вырвался и стал быстро осматривать толпу. Мамы не было. Две женщины вели, вернее, несли бабушку — видно было, что ноги ее подкашиваются.

Я бросился к ней, крепко обхватил ее худые плечи и громко заплакал. Опираясь на мое плечо, бабушка твердо двинулась вперед.

— Померк мой день, — трясущимися губами, почти беззвучно начала выговаривать бабушка слова старинного надгробного плача, — башня идущая, гора стоящая, защитник наш, очаг нашего дома...

Гроб с телом отца несли вверх по горе несколько молодых мужчин. Они шли низко пригнувшись, тяжело дыша. Длинной узкой лентой растянулись за ними провожающие. Острые вершины Белой горы врезались в густые черные тучи. Мы шли все выше — уже едва виднелась речушка, резвящаяся между камнями ущелья.

Петр, тяжело ступая в своих рабочих сапогах, шел рядом с гробом, держа в левой руке шапку. Хмуρο глядя себе под ноги, шел Хамыц.

Я видел, что бабушка теряет последние силы.

— О, кормилец кормильцев моих... несчастье, несчастье постигло нас, — продолжала она тихо причитать.

Несколько раз я пытался расспросить ее о маме, но она смотрела на меня невидящими глазами и ничего не отвечала. Так мы дошли до маленькой березовой рощицы, от которой было уже совсем недалеко до нашего аула. Я увидел, что навстречу нам идет несколько человек. Даже на большом расстоянии я разглядел среди них мать. Как и бабушку, несколько женщин поддерживали ее. Когда я увидел, как она в своем траурном платье прислонилась к утесу, у меня подкосились колени и в горле остановился ком.

— Фидар, — тихо прошептала бабушка, — пойди к матери, спроси, зачем она из дома пошла. А вдруг с ней еще что-нибудь случится? Куда мы с тобой денемся? Кому мы нужны будем? Иди к ней, огонечек мой теплый, очаг дома моего, скажи ей... — И бабушка пошатнулась.

Я сошел с тропинки и пошел напрямик по горе к тому месту, где стояла моя мать. Никто мне ничего не сказал, но я чувствовал, что все смотрят на меня.

Мама стояла неподвижно. Если бы не дрожали ее руки и не шевелились губы, то она могла бы показаться каменным надгробным изваянием. Я не мог говорить и молча стал рядом с ней, она повернулась ко мне, глаза ее вдруг сделались неподвижными. Ох, как это было страшно! Си-

нея, она схватилась за воротник, рванула платье и громко закричала:

— Померк мой день! Зашло мое солнце! Кто поймет мое горе? — Ноги ее подкосились, женщины не успели подхватить ее, и она тяжело упала.

4

Похоронили отца. Не знаю, как бы мы справились с поминками, как приняли бы всех наших земляков и друзей отца из Садона, если бы не Разиат... А разве хватило бы двух наших барашков и Сырдона на достойные поминки? Не знаю, что осталось от хозяйства Разиат, но у нас все было как полагается...

Поплакали с нами люди, погоревали и стали расходиться по домам.

Мама, упав возле березовой рощицы, так и не приходила в себя. И на кладбище не была — не довелось ей даже попрощаться с отцом...

Разиат уложила ее у себя дома на тахте возле очага. Стал собираться в дорогу и Петр.

— На вас надеюсь, — сказал он Разиат. Помолчал и добавил: — Что-нибудь придумаем, не оставим их. Поправилась бы она только...

Я прилег возле мамы. Ноги меня больше не держали, а заснуть я не мог. Перед моими глазами все время мелькали то чьи-то лица, то картины недавних событий.

...Мокрый, без шапки Петр выносит из темной ямы мертвое тело... Кого он несет?..

Коренастый начальник кричит что-то. Он старается, чтобы голос его был сердитым, но не может скрыть своего страха.

Какой тяжелый, сырой воздух вырывается из шахты — как из могилы! Как темно в ней!

В магазине, где отец покупал мне еду, тоже было темно... Что же он купил мне там?

А женщины все говорят, говорят... Разиат уже охрипла, но голос ее звучит, не умолкая:

— Мы с Соной гумно подметали. Да, правильно, это было как раз в день покровителя

мужчин. Сона была очень веселая и меня развеселила, что-то скажем друг дружке и начинаем хохотать... Вдруг слышим мужской голос:

«Извините, девушки, вы не видели моего ослы? Пока я пил воду из родника, он куда-то исчез».

Мы смутились. Разве мы думали, что кто-то слышит нас? Сона — ну вот как сейчас вижу — покраснела и закрыла лицо платком. А я тихо шепчу:

«Говорила я тебе — потише! А то мы здесь так расшумелись, что чужой человек подумал, будто это мы нарочно... Вот он и не постеснялся заговорить с нами!»

Сона сразу перестала смеяться и ответила очень громко, чтобы незнакомец услышал:

«В чем дело, Разиат? Это что, какой-то богач приехал сюда? Он прискакал сюда на дорогом кабардинском скакуне? А может быть, его черкеска украшена парчой и солнечные лучи отражаются на ее золотых газырях? — А потом Сона помолчала и лукаво добавила:— Когда гость приходит в аул и ему больше нравится пить из родника, чем в доме у людей, так вот и получается...»

Молодой человек взглянул на нас — глаза у него были черные, сверкающие — и спрашивает:

«А если этот гость приехал не на кабардинском коне и солнечные лучи не играют на газырях его черкески?»

«Ну и что же? — говорит Сона.— Неужели, если он приехал в аул на осле и одет в домотканую рубаху, он не может зайти к людям в дом и попросить воды?»

А я схватила Соню за руку:

«Ой, Сона, пойдем скорей отсюда. Стыдно будет перед людьми, если увидят, как мы тут с незнакомым человеком разговариваем!»

Сона еще раз взглянула на него, улыбнулась и побежала на другой конец гумна. А потом бросилась ко мне, схватила меня за руку и зашептала:

«Ой, Разиат! Сердце, сердце мое горит! Ты видела, какие у него глаза? Видела, как они блестят? Я его недавно видела в ауле Южном, мы там в гостях были, танцевали. Иди, говорит, Разиат, прошу тебя, и скажи ему что-нибудь. Слушай, вдруг он обиделся на меня?.. А я нарочно так резко с ним говорила, чтобы он отвечал мне, спорил со мной, хотела голос его послушать».

...В очаге трещат березовые ветки. Женские лица освещены огнем. Я лежу молча, слушаю Разиат, и мне кажется, что на улице кто-то плачет.

Разиат продолжает:

— И теперь еще ее братья сердятся. Они не давали ей разрешения уйти к Кайсыну! Все ее родные были против... А она ушла к нему и никого не побоялась! Сколько пришлось им скитаться, прятаться! А были очень счастливы. Как они любили друг друга! И вот — такое горе!

Разиат зарыдала, а за ней и все другие женщины. Потом еще кто-то говорил, но я уже заснул.

...Темная, мрачная ночь. Я бегу по узенькой, еле видимой во тьме тропинке за мамой. Она то видна, то исчезает... Босые мои ноги изранены горными камнями, но я все бегу и все никак не могу настичь мать.

Где-то вдали слышен голос бабушки:

— Стойте-е-е! Куда бежите-е-е?

Эхо повторяет голос бабушки. А мама не обращает ни на что внимания. Почему-то у нее в руках оказалась горящая головешка. Высоко подняв ее, мама быстро бежит, прыгая с камня на камень. Вдруг пламя сразу гаснет, и вместе с ним исчезает мама, как бы растаяв в ночном мраке. Я начинаю кричать. И вдруг слышу тяжелый стон. Падаю на колени и вижу — мама лежит на могиле отца.

— Пойдем отсюда, гыцци. Баппу пришел с работы и спрашивает тебя, — но мама не отвечает мне. Земля на могиле постепенно расступает-

ся. И вдруг мама исчезает. Я падаю на могилу и кричу, зову ее.

— Спи, солнышко, спи. Не бойся, маме твоей лучше,— рука Разиат гладит меня по голове, осипший голос Разиат успокаивает и отгоняет страх. Сидя на корточках, Разиат подтягивает ко мне кошму и шубу, потому что я все это разбросал и дрожал на холодном глиняном полу.

5

На рассвете раздался стук в дверь. В комнату вошли бабушка и жена Петра, Дарья.

— Невестка, вот жена Петра пришла лечить тебя. Она и лекарства принесла.— Повернувшись к Дарье, бабушка сказала: — Все эти люди, милая, наши добрые соседи, все свои.

Бабушка приветливо улыбалась. Кто бы сейчас поверил, что ее постигло страшное горе! Больная, она не разрешает себе лежать в постели, а в горе — плакать!

Дарья сняла свой платок, пальто, аккуратно уложила все и села возле мамы. На глаза ее навернулись слезы. Она отвернулась, а потом заговорила, стараясь, чтобы голос ее звучал спокойно:

— Вот когда пришлось нам с тобой познакомиться.— Дарья говорила по-осетински не так хорошо, как Петр и Вася, но мы хорошо понимали ее. Все слегка улыбнулись, когда она произнесла осетинскую поговорку: — «Таким друзьям, какими наши мужья были, и в одной рубашке просторно». А проклятых убийц бог еще накажет! Ох, расплатятся они за свои черные дела, своими головами расплатятся! Мой-то сам не свой ходит, задушить готов этих начальников! Ведь все горе из-за их жадности, каждый рубль в свой карман тянут, а чтобы рабочих людей от смерти уберечь — им денег жалко! А сейчас этот главный у них, лысый, на Петра как зверь смотрит! Так и ждешь от него беды! Ну-ка, Сона, подымись, будем лечить тебя.

Дарья попросила воды, дала маме что-то проглотить и тепло закутала ее, наказав:

— Пропотей и не раскрывайся.

Я стоял, прислонившись к столбу около очага, и смотрел, как Дарья лечит маму. Слова нашей гостьи заставили меня задуматься.

Лысый... Почему Петру может быть от него беда? Зачем такого злого человека ставят начальником над всеми?

Мне очень хотелось расспросить Дарью и об этих делах, и о Васе, но она первая обратилась ко мне:

— Что же ты, Фидар, не спрашиваешь о своем товарище? А он ведь, как узнал, что я собралась к вам, вскочил с кровати, будто и не болен вовсе! Хочу к Фидару, и все тут!

— А почему вы не взяли его с собой?

— Непременно взяла бы, но он еще слабый после болезни. Да, забыла совсем — ведь он тебе гостинец послал, — она достала из своих глубоких карманов и протянула мне два красных яблока и желтую грушу.

Оказались у нее еще яблоки для бабушки и других женщин. У нас в ауле, на нашей каменистой земле, фрукты не росли, и это было для нас дорогое угощение. Маме моей Дарья сказала смущенно:

— А тебе ничего не успела приготовить. Очень торопилась, да и муж покоя не давал: что там с ними, иди скорей! Вот и пришла к больной с пустыми руками...

Бабушка прервала ее:

— С того самого дня, как мой сын начал работать в Садоне, мы о Петре все знаем. Много, много доброго сделал он для Кайсына. И с хорошими людьми свел его, и у себя второй родной дом ему устроил. Бывало, придет сын мой с работы и давай о Петре рассказывать... Однажды я Кайсыну говорю: «Привел бы ты своего товарища сюда, к нам. Что поделаться, что в бедности живем, ведь не все люди одинаково в жизни устроены... Раз он твой товарищ, то не откажется побывать у нас, посидеть с нами возле очага и

разделить наш ужин». Сын посмотрел на меня радостно, а потом вздохнул и сказал:

«Мне и самому давно хотелось его позвать. Ну вот, подождем немного, принесу заработок...»

А я ему:

«Ничего, сынок, не надо ждать. Зови его. Уж как-нибудь сумеем угостить. Если он и правда такой добрый и умный человек, то не осудит нас за бедность».

Сын послушался и на следующий день пришел вечером не один, а с товарищами. Петр у нас сразу повел себя как старый друг. Дров наколот, в дом их внес, даже очаг сам затопил. А потом подсел к огню и говорит мне — очень серьезно говорит, только глаза весело блестят:

«Знаешь, нана, почему я изо всех сил старался тебе угодить? Думаю: а вдруг ты мне спечешь самый вкусный пирог? Знаешь какой? Что в золе печется со свежим сыром. А если эти лентяи будут на твой пирог рты разевать — гони их, ничего им не давай!»

«Ладно,— говорю.— Такой приготовлю тебе пирог, чтобы все завидовали! Но вот тебе условие — печь его будешь сам!»

Петр понял мою шутку. Старательно разгреб он золу в очаге, приготовил место для пирога и руки мне протягивает: дескать, давай сюда пирог, сейчас спеку его! И другие начали уверять меня, будто умеют печь пироги в золе. Весело было, хорошо... И так заговорились, что не услышали, как стал подгорать пирог Петра... Просидели тогда почти до рассвета...

Бабушка замолчала, а потом, взглянув на маму, поднесла платок к глазам и тихо сказала:

— Не забывайте нас...

Мне стало очень грустно. Я вышел во двор и, чем кончился их разговор, не слышал. Только сейчас я заметил, что так все и держал в руках Васин гостинец...

Дарья ушла не скоро, когда убедилась, что ее лекарство помогло маме.

Мы вернулись к себе домой. Холодно и пу-

сто было у нас. Я разжег очаг и уложил маму на тахте.

Бабушка молча сидела у огня. Когда его тусклый свет освещал ее морщинистые щеки, видно было, что по ним катятся слезы. Отворачиваясь от меня, бабушка прикладывала к глазам край косынки. Мама лежала неподвижно на тахте, не отрывая взгляда от черных балок на потолке.

Я оглядел наше жилье, наш дом, в котором нет сейчас другого мужчины, кроме меня. Рассохлись доски тахты, оконные стекла составлены из кусков...

Пусто у нас в том месте возле очага, где в каждом доме стоит кресло для старика, красивое деревянное кресло, украшенное резьбой. Как мне всегда хотелось, чтобы у нас стояло такое кресло! Я мечтал сам его сделать для отца, когда он состарится...

...Ветер бил в окно, стекла дребезжали. Неподалеку лаяли собаки,— наверное, они никак не могли поделить кости нашего бородатого Сыр-дона.

Мне все казалось, будто мама и бабушка ждут кого-то... Но никто не стучался в нашу дверь.

Наконец мама заговорила с нами.

— Отдохни, дорогая,— с трудом проговорила она,— ты ведь так измучилась. Поздно, никто больше не придет.

— Тебе лучше? Ну, слава богу! — Бабушка чуть оживилась, а потом снова погрузилась в свои мысли.

Я подошел к ней и положил голову на ее колени. Она продолжала молчать, поглаживая меня по шее своими худыми пальцами.

— Нана, гыцци, говорите, пожалуйста! У нас сейчас так холодно... А когда вы говорите, становится как будто теплее.— И я придвинулся к бабушке еще ближе.

— Да, мое солнышко, ты прав. Холодно у нас... очень холодно.— И бабушка прикрыла меня своим платком.

В очаге с треском горели ветки можжевельника. Мы все молчали — мама на тахте, бабушка

и я возле очага. В суете похорон возле нас было много людей, и тогда нам было легче. А сейчас мне казалось, будто я нахожусь в какой-то страшной яме, сырой и холодной. Меня стало знобить от страха и тоски. Ну что же они все молчат? И, как бы в ответ на мою мольбу, бабушка зашептала, поглаживая меня по щеке:

— Спи... Отдохни... Теперь ты — наша опора. А те злодеи, из-за которых отец твой умер, еще найдут свою погибель. И все наши страдания обратятся в камни и обрушатся на их головы!

ДРУЗЬЯ ОТЦА

*Нет места тебе ни в горах,
Ни в наших привольных краях,
Не стой, не ходи, не работай.*

Коста Хетагуров

1

Холодный ветер гудит в ущелье. Но там ему мало простора, и он врывается в аул, сдувая с голых веток тополей на камни нихаса игольчатый иней. Утренняя изморозь хрустит под ногами. Над речкой поднимается густой туман и расползается по теснине. И его тоже подгоняет неугомонный ветер к нашему аулу.

Вершины гор уже белые. Иногда солнце на минуту выглянет, и тогда снег ослепляет своим блеском. Может быть, у солнца тоже устают глаза от этого белого сияния и оно поэтому так быстро прячется снова за тучи?

Я стою у ворот в своей шубе из потертых овчин.

Сегодня холодно, и я заложил в арчи побольше сена — отдельные соломинки даже торчат из них. В воздухе расплывается дым, вырывающийся из трубы дома Мусса. Мне кажется, что и сердце мое окутано серым дымом — так мне тяжело и тоскливо...

Вот и Мила с самого утра ходит за мной, не отступая ни на шаг. Она грустно смотрит на ме-

ня и виляет жалким обрубком хвоста. Чувствует, наверное, пес, что уезжает его хозяин. Ах, Мила, Мила! Нет для тебя места в Садоне. Кто приютит тебя там? А что ты будешь делать весь день, когда я буду работать? Нет, Мила, придется тебе остаться дома, ничего не поделаешь! Подумай сама, ведь маме и бабушке будет здесь очень скучно одним! А я тебя не забуду, поверь мне! Подожди немного, вот устроюсь я на работу, поведу тебя в Садон и угощу вкусным мягким хлебом.

Мила стоит неподвижно, глядя на меня прищуренными глазами, и облизывается, будто чувствует запах теплого садонского хлеба. Вдруг она отскакивает от меня и с отчаянным лаем бросается вверх по улице. За ней мчатся другие собаки. Оторопело смотрю я им вслед, а они уже перемахнули горный хребет. Неспроста подняли они такую тревогу! Но что же так взбудоражило их? Ничего не объяснило мне вначале и появление из-за хребта двух волов. Сильный пар выступал из их ноздрей, с трудом тянули животные какую-то необычную тяжесть. Два человека понукали их длинными хворостинами и кричали во все горло. Не этот ли крик и заставил собак помчаться к волам? Через некоторое время я различил на лбу у животных знакомые пятна, а в одном из погонщиков узнал... Мусса! Переложив хворостину в левую руку, он стал хватать камни и швырять в собак. Моя Мила с визгом отлетела в сторону, — видно, разбойник попал в нее! Я схватил камень и пригнулся, поджидая Муссу. Ну, сейчас-то я уж попаду в тебя, хозяин! Пригибаюсь еще ниже... и вдруг кто-то задерживает мою занесенную вверх руку. Знакомый голос шепчет:

— Смотри ты, до чего он горяч! Подожди-ка, придет и твой час, позовем тебя... А пока что отойди!

Хамыц! Густые черные брови его сошлись на переносице, рука впилась в мое плечо, взгляд устремлен на дорогу... Но вот глаза его обращаются вниз, ко мне, и Хамыц, улыбаясь, лукаво подмигивает мне:

— Вот придут они сюда, тогда и потолкуем с ними! Никуда не денутся, другой дороги вниз нет!

Собаки, в которых Мусса швыряет камни, лают все яростнее. На шум выходят люди, и постепенно на нихасе собирается толпа.

Чуть ссутулившись, медленными, тяжелыми шагами направляется к нихасу Хамыц. Я не отстаю от него. Мусса со своим попутчиком уже на окраине аула. Он ведет волов за ярмо, а чужой человек озирается по сторонам и мелкими, торопливыми шажками семенит за Мусса. А когда они приближаются к нихасу, меня поражает лицо моего бывшего хозяина — оно не только, как всегда, злое и упрямое, но вместе с тем и расстерянное...

— Эй, в сторону! Волы у меня капризные, не ручаюсь за них — могут и ударить! — крикнул Мусса людям, которые пошли навстречу ему и преградили дорогу.

— А ты останови их! Пусть отдохнут немного, устала ведь скотина, — спокойно сказал Хамыц, выйдя из толпы.

— Скажите пожалуйста, и господин Цараев здесь! — Мусса издевательски поклонился Хамыцу и тут же произнес своим обычным угрожающим тоном: — Пусти волов! Не становись лучше мне поперек дороги!

Хамыц ответил очень спокойно:

— А мы вот поглядим, что ты везешь. Не зря ведь собаки так лаяли, а? Не появились ли тут у нас воры? А вдруг ты увозишь чужое сено?

— Убирайся вон, слышишь? Ты что думаешь, я тебе разрешу мои сани обыскивать? — И Мусса, сдвинув на затылок шапку, потянул к себе налыгач...

Спутник Мусса, очевидно, не понимал, о чем идет речь; он испуганно вертел головой во все стороны, всматриваясь в лица людей. Встретившись с ним взглядом, Хамыц воскликнул:

— Вот тут кто, оказывается! Интересно, как он нашел и сюда дорогу? Да не верти ты головой, я ведь тебя спрашиваю!

Чужой человек вопросительно смотрел на Мусса и молчал.

Наконец переглянулись старики, один из них выступил вперед и заговорил:

— Ай, Мусса, мы и так уже не знаем, куда нам от тебя спрятаться, как спастись от твоей жадности. Неужели тебе всего мало: и дома твоего с железной крышей, овец, что хватило бы на целый аул, лошадей, украшенных серебром? Теперь уж ты до камней с наших гор добрался! Как мы будем наши дома строить, если у нас не будет камней? А может быть, ты уже собрался осквернить могилы и продать надгробья? Или ты готов разрушить наши жилища, чтобы продать камни, на которых они стоят?

Чужой человек совсем растерялся. Он то пытался спрятаться за волами, то вплотную подходил к Мусса. Вдруг он достал из внутреннего кармана пачку денег и, с трудом подбирая осси́нские слова, заявил:

— Камни отдашь, деньги возьмешь... Много деньги.

— Ну вот, видите? Чего вам еще надо? — возбужденно заговорил Мусса. — Видите, сколько он предлагает денег? И за что? За камень, который валяется за перевалом!

Мусса повернулся к своему спутнику и коротким движением показал на карман: дескать, спрячь деньги, показал — и ладно, там видно будет...

Незнакомец стал судорожно запихивать деньги в карман.

Во́лы стояли неподвижно: казалось, они внимательно слушают спор. Пар по-прежнему валил из их влажных ноздрей, ресницы покрылись инеем. Как упитанный кабан, распластался на санях большой серый камень, и тысячи его блестящих глазков уставились на людей.

Хамы́ц не отходил от волов.

— Выгружайте камень, — сказал он спокойно, — договариваться о деньгах будем потом.

И опять разволновались старики.

— Да посетит несчастье твой дом, Мусса!

— Тебе же и так некуда девать свое добро!

— Оставь в покое наши надгробные камни!

— Ну-ка, Хамыц, узнай, сколько он собирается нам заплатить?

— А как ты думаешь? Столько золота даст, сколько весят камни...

— Но ведь он не даром отдаст наши камни... Нам тогда тоже деньги дадут, — нерешительно попытался кто-то поддержать Мусса.

— Никто не просил его продавать наши горы!

Хамыц подошел ближе к Мусса.

— Вы этот камень сами погрузили на сани — сами и выгружайте его, а мы до него не дотронемся! Давай, Мусса, делай, что тебе говорят! Правда, правда, тебе еще старики спасибо скажут — ведь им не хватало мест на нихасе. А теперь у каждого из них будет свое каменное кресло. Это же просто замечательно! Ну вот, здесь и выгружайте, дальше везти не нужно! Объясни этому человеку, в чем дело, и не теряйте времени! Да не смотри ты на меня так, я же не пугливый! Хочешь пострадать кого-нибудь — погляди так на детей своих, а мы тоже умеем хмуриться и глазами сверкать!

— Не трогай волов, а то клянусь, кишки выпущу! — закричал Мусса и выхватил кинжал из ножен. Сталь резко сверкнула на солнце.

— Вон как! Он еще и кинжалом угрожает! — Несколько человек шагнули к Мусса.

Богач покраснел, потом сразу побледнел. Держась за ручку кинжала, он отступил назад. Но вот его глаза решительно блеснули, и он крикнул:

— Троньте только волов! Пеняйте тогда на себя!

— А что, дал бы каждому на рубашку, совсем не плохо было бы! Чего там упрямиться из-за этого камня. Подумаешь, что в нем особенно-го? — крикнул кто-то из толпы.

— Одумайся! Да разве они повезли бы с такой высоты обыкновенный камень? — повернулся в ту сторону, откуда слышался голос, Сахмур-

за, что жил за тополями. — А завтра они и до твоего дома доберутся! Вот тогда хватишься — закутайся в свою новую рубашку и сиди у разрушенных стен! — Сахмурза, видимо, рассердился не на шутку. — Уважаемые, не слушайте его совета, это не добрый совет! Ни деньги, ни рубашки от Мусса не нужны нам! Проходим в своем домотканом сукне! А вот что потребуем от них — пусть построят здесь школу! Тогда не будем мешать вывозить с гор камни и этот, который они присмотрели себе, отдадим...

Все замолчали. Хамыц, подумав, сказал:

— Хороший совет дал Сахмурза. Пусть дети аула будут грамотными! А как лучше поступить с богатствами наших гор — сами решим! Мусса, спроси-ка у своего знакомого, согласен ли он на такое дело? Ну и пусть знает: пока школа не будет построена, мы вас даже поглядеть на наши камни не пустим!

Мусса пошушукался с чужим, потом сказал:

— О школе у нас разговора с начальством не было. Сами мы не имеем права решать. Если увидят в Садоне камень, тогда, может, дадут разрешение школу строить. А пока камень будет здесь, ничего сказать не могу. Разрешите отвезти его...

— А мы не имеем права разрешать... Если начальство согласится на наше условие, сообщите нам и приезжайте за камнем. А до тех пор пусть он здесь полежит. Есть он не просит, мы с ним не сбежим никуда. — Хамыц говорил, безразлично поглядывая по сторонам...

— Ай, добрые люди! Разве я не хочу, чтобы у нас в ауле была своя школа? Сами ведь знаете, и мой мальчишка в Садоне учится, туда-сюда мотается... Но как я могу без начальников такое дело решить? Отвезу им этот камень — тогда совсем другой разговор пойдет. Поверьте мне! — И Мусса взглядом попросил попутчика поддержать его.

— Ну ладно, — по-прежнему спокойно сказал Хамыц, — решим так: пока они будут договариваться с этим самым начальством, камень подойдет здесь, на нихасе. Что ж, Мусса, спасибо.

Не тебе, конечно, а твоим волам, они ведь приволокли сюда этот груз... А увезти его отсюда будет уж не просто!

Хамыц встал возле саней, окинул взглядом толпу, чуть приподнял сани и, сделав одно сильное, резкое движение, опрокинул их. Камень с грохотом покатился по площадке нихаса.

С Мусса произошло что-то странное — он завертелся на месте, как собака, которая ловит себя за хвост. Потом схватил кинжал и бросился к Хамыцу. Несколько человек удержали его за руки.

— Не трогайте меня, — кричал Мусса, задыхаясь. — Я ему покажу, что значит иметь дело со мной! — Но, встретившись взглядом с Хамыцем, он опустил руки и тихо проговорил: — Мы еще встретимся с тобой, собака! Узнаешь еще... — Злость, видно, свела судорогой его горло, и он умолк, дернув шеей.

— Обязательно встретимся, даже если весь мир перевернется! — Это прозвучало у Хамыца почти как клятва, и, право же, будь я на месте Мусса, мне стало бы страшно...

2

— Готовься, Фидар, в дорогу, скоро пойдем. — Хамыц похлопал меня по плечу и подошел к камню. — А вы, ребята, тащите сюда метлу и сметите с него снег.

Когда на блестящем камне не осталось ни снежинки, Хамыц подобрал полы шубы и, улыбаясь ребятам, осторожно и важно опустился на него, будто занимая место тамады на празднике.

— Живите долгие годы, крепкие волы Мусса, еще раз спасибо вам за это прекрасное кресло!

Хамыц и Сахмурза переглянулись и весело рассмеялись.

— Неужели же кому-нибудь удастся вытащить его из-под нас?

— А еще из него вышло бы прекрасное надгробие для Мусса и того жулика! — бросил кто-то.

— Для него не жаль. Отдадим, пожалуйста!

Мусса и его товарищ уже ничего не слышали. Гость, увидев, как обернулось дело, сплюнул в сторону и, не дожидаясь Мусса, ушел. Видно, планы его рухнули, и виноватым в этом он считал Мусса. А тот, чтобы догнать рассерженного гостя, стал изо всех сил погонять волов. Съезжая с нихаса, Мусса оглянулся и погрозил всем, кто там стоял, кулаком.

— Ох, парень, гляди теперь в оба! Мусса может кусаться и незаметно, как змея! — Сахмурза задумчиво посмотрел на Хамыца.

...Бабушка встретила нас у ворот. Я рассказал ей о событиях на нихасе. Она вздохнула и сказала:

— Пусть этот камень понадобится ему на могилу близкого родственника... А ты не опоздаешь? Смотри, как высоко уже солнце. Зайди к матери, она ждет не дождется тебя.

Мама лежала в постели. Она взглянула на меня, и ее лицо стало еще грустнее.

— Ты уже едешь? — еле слышно проговорила она.

— А что же делать? — Я старался говорить как можно спокойнее. — Хамыц уже собрался. Мы с ним вместе...

Слабым движением исхудавшей руки мама подозвала меня ближе. Я наклонился над ее лицом. Минуту она молча смотрела на меня, а потом провела горячей ладонью по моей шее и с трудом, отрывисто произнесла:

— Берегись... Осторожней... Хамыца слушайся, он — друг отца... Всякую работу делай как следует...

— Да, гыцци, да... — Слезы брызнули из моих глаз, обожгли мне щеки и капнули на мамину руку.

— Не надо... не плачь... Стыдно будет, если нана увидит. — Мама с трудом приподнялась и обняла меня.

Бабушка появилась незаметно: она несла дрова.

— Солнышко мое, радость моя, вон уже идет

Хамыц. Пойди, надо встретить его. И к нам пригласи,— добавила она, бросив дрова у очага.

Хамыц подъехал к нашему дому на гнедом коне. Увидев меня, он крикнул через забор:

— Прыгай ко мне на седло, Фидар! Опаздываем!

— Нана приглашает тебя.

— В дом зовет? — Хамыц быстро спешился и вошел во двор.

А я подумал: «Заработаю денег и куплю себе такую же прекрасную лошадь! Что я за горец без лошади?»

Бабушка заперла Мила в хлев: услышав топот копыт, собака стала рваться во двор. Я пошел к ней попрощаться и успокоить ее.

— На тебя надеемся, Хамыц. Ты ведь не оставишь нашего мальчика? — донесся до меня голос бабушки. — И Петру тоже скажи...

— О внуке, Айсаду, не тревожьтесь. Ему плохо не будет. А вы постарайтесь поставить на ноги невестку. Я и своим поручил вам помочь.

— Всю жизнь будем благодарить тебя, Хамыц...

— А ну-ка взгляните, что там делается,— Хамыц указал в сторону дома Мусса, и лицо его выразило удивление.

Мусса и его недавний попутчик стояли у ворот и шептались. Лица у них были веселые, хотя они иногда грозились кулаками в сторону нихаса.

— Пусть помашут кулаками, пусть, не страшно! Недолго им еще хозяйничать. Но вы подумайте, как скоро они помирились. Родные братья дольше сердятся после ссоры! Видно, арака у Мусса крепкая! — Хамыц усмехнулся, а потом низко надвинул на лоб папаху и сказал: — Да, недолго им еще командовать! Приступивший к делу всегда опередит того, кто еще только руками размахивает! Ну, Фидар, двинулись!

Хамыц попрощался за руку с бабушкой и легко вспрыгнул на лошадь. Я уселся позади.

— Да благословит вас покровитель мужчин,— тихо сказала бабушка и ушла во двор.

Лошадь под нами загарцевала. Надрываясь,

лаяла в пустом хлеву Мила. Никогда она еще так не лаяла... Я оглянулся. Бабушка смотрела на нас через забор, подперев подбородок правой рукой. Бессильно прислонившись к столбику, стояла в коридоре мама. Она говорила что-то, но так тихо, что я уже не мог ее расслышать. Мама... Ну, что это она стоит, больная, на ветру? Я хотел крикнуть ей: «Иди в комнату, согрейся!» — но в эту минуту Хамыц стегнул лошадь, и изпод ее подков мелькнули искры. Я ухватился за Хамыца изо всех сил.

Спешились мы на повороте около аула Мельничного. Я остался с лошадью, а Хамыц несколько раз ходил в аул и возвращался ко мне. Он был чем-то взволнован. Мне, конечно, очень хотелось узнать, почему мы здесь остановились и чем он, Хамыц, так озабочен, но я не осмелился его расспрашивать. Потом Хамыц повел меня в один из крайних домов аула, а сам опять ушел. Лошадь была на привязи, и я слышал, как она фыркала. Вдруг стало тихо. Я испугался и выскочил на улицу. Было уже темно.

— Фидар? — услышал я голос Хамыца. — Поехали!

Хамыц пустил лошадь вольно. Он ехал молча, иногда вздыхал. В темноте его широкие плечи казались мне еще шире. Я думал о том, как должны завидовать мне мальчишки... Шутка ли — ехать на одной лошади с силачом Хамыцем! Мои приятели, наверное, уже толкуют об этом, ведь смотрели же они нам вслед, разинув от удивления рты!

Низким голосом затянул Хамыц свою любимую песню:

Ой, пастух горы Черной
На свирели играет,
Песнь свою обращает
К пастуху горы Белой.

Горы, казалось, подпевали Хамыцу — так отчетливо вторило эхо. Песня была невеселой, тревожной. Пел Хамыц задумчиво и грустно. И все-таки мне было радостно слушать его.

Как красиво звучит песня в горах! Затяни ее где-нибудь на скале — горы, пещеры, все вершины ответят тебе, и каждая на свой голос. Далеко слышна песня, когда ее поют в наших краях.

Вдруг Хамыц замолчал и спросил меня:

— А ты, Фидар, не поешь?

— Пою, когда я где-нибудь совсем один. Если никто не слышит...

Хамыц мне не ответил. Задумчиво, тихо пропел он что-то себе под нос, а потом отрывисто сказал:

— Человеку надо петь. Песня часто помогает...

Через несколько часов мы уже сидели в доме Петра. Здесь было тепло, но душновато. Спокойнее, чем в прошлый раз, осматривался я в доме друга моего отца. Здесь были вещи, которых я раньше никогда не видел, — железная кровать, а на ней толстое одеяло, сшитое из пестрых лоскутков, медный самовар, свистящий на столе, кудрявые зеленые кустики в горшках на подоконнике.

С завистью листал я Васиные книги, а он охотно показывал мне их. Заметив, что я рассматриваю картинки, мой приятель стал подробно разъяснять их, припоминая все прочитанное в книжке.

Дарья металась между комнатой и кухней, и вскоре на столе появились горячая картошка и присланные бабушкой маленький бурдюк с араркой и сыр.

— Петя, причешись хоть, смотреть на тебя тошно, — сказала Дарья с укором.

И правда, Петр был так растрепан, будто только что встал с постели. Рубаха его была распахнута, высоко засученные рукава открывали жилистые, покрытые рыжеватым пухом руки.

Услышав упрек Дарьи, Петр кое-как пригладил волосы — все его внимание было устремлено на Хамыца.

— Ну, как съездил? — тихо спросил он своим низким голосом.

— Так все и вышло, как задумали.

— А где он сейчас?

— А там же на нихасе, куда и привезли его...

— Вдвоем везли?

— Да, они так и не расставались.

— И как ты думаешь, не сорвется дело?

— Да нет, почему же. Я ведь его не бросил на произвол судьбы, а приставил к нему сторожей. Они сидят на нем — теперь не увезти. А знаешь, что сказал там Сахмурза? Стройте, говорит, нам школу, тогда камень получите, вернем его вам, пожалуйста! Хомяк-то, начальник наш, никак не мог в себя прийти — вот уж, видно, не ожидал, что сорвется его дело. А Мусса-то, земляк мой! Видел бы ты, как он бросался на нас!

— Еще бы! Ведь он считал, что добыча у него в кармане!

— Посмотрел бы ты, как они оба кулаками в нашу сторону грозились, налилавшись араки у Мусса! Смех и грех! Я поджидал Хомяка у поворота возле села Мельничного, до темноты ждал. Видно, Мусса его не пустил. Увидел меня и догадался, чем дело пахнет! Ну, может, это и к счастью, что не пустил...

— Да, конечно,— твердо сказал Петр,— нам предстоят дела посерьезнее! А эти тоже свое получают, и до них руки дойдут! Вот погляди, я вчера получил от наших письмо. Придется, наверное, уехать. Мальчика вот надо определить на место...— Последние слова Петр произнес совсем тихо, но я хорошо их расслышал, хотя Васина болтовня и мешала мне.

Когда нас с Васей уложили спать, я мысленно повторил про себя весь услышанный разговор. Только теперь я понял, почему мы с Хамыщем задержались по пути в Садон в ауле и почему я так долго ждал его в незнакомом доме... Хомяка ждал! А правда — до чего же похож гость на хомяка! Другим словом и не назовешь его. «Видимо, придется уехать». Куда, зачем? А как же я тут без них? Бабушка и мама поручили меня им — Петру и Хамыцу. Неужели они бросят меня одного? А вдруг они возьмут меня с собой?

Вот было бы замечательно! Куда они — туда и я! Так им и скажу! Вот сейчас встану и скажу... Я попытался подняться с постели, но именно в эту минуту уплыл густой бас Петра, а с ним и все мои заботы и решения.

3

Четырнадцатый раз иду я на рудник. На мне старые сапоги Хамыца, идти нелегко, но я стараюсь не отставать от Петра. Сегодня утро туманное, сырое. Четырнадцатое утро... Я так считаю свои рабочие дни, будто это баранта Мусса и я боюсь растерять ее! По вечерам я выхожу из темной ямы шахты измученный, в намокшей одежде, но обязательно останавливаюсь у скалы, достаю из кармана кожаную нить — ту, которой сшивают сбруи, — и завязываю на ней узел.

Как давно я не видел мамы и бабушки! Что они делают сейчас? И из аула никто не приходит! А может быть, и бывают мои земляки в Садоне, да я-то весь день в шахте, а когда возвращаюсь в темноте домой, то глаза так слипаются, что ими и не разглядишь приезжих!

Знать бы хоть, лучше ли маме... Чтобы немного успокоить себя, я начинаю рассуждать так. Было бы гыцци хуже, меня бы вызвали из Садона, я бы знал об этом... Эх, своими глазами посмотреть бы на них — на маму и бабушку!

Петр ступает тяжело, по-медвежьи переваливаясь с боку на бок. Кирку он закинул за плечо. Брезентовую шапку надвинул по самые глаза. Молчит, кивком здоровается с редкими прохожими. Я стараюсь шагать так же, как Петр, — осторожным, тяжелым шагом, будто земля подо мной колышется. Может быть, кому-нибудь покажется смешным, что я сутулюсь, как старик? Ну что же, пусть смеется! Я — рабочий человек, четырнадцатый раз иду я сегодня на свой рудник!

Давненько не встречал я и Мацико, сына Мусса. В первые дни два раза я видел его издали. Он притворился, будто не видит меня. Еще бы! Ведь я шел рядом с Петром! Да и меня Ма-

цико тоже побаивается, чувствует, что я не забыл тот день, когда избил он меня, больного. И за отца своего он тоже ответит! Еще повисит шуба Мацико на ветру, пусть почувствует наследник богача, как кусается мороз!

Неделю назад повез Хамыц цинковую руду в Алагир и до сих пор не возвратился. Петр не говорит ничего, но я вижу, что он волнуется. Очень уж долго нет Хамыца! Последние дни Петр возвращается домой очень поздно, где он засиживается — об этом нам с Васей ничего не говорят. А Дарья, наверное, все знает — она сидит у печки, дожидаясь Петра, и спокойно латает наши с Васей одежки. Иногда Петр приходит домой веселый — тогда он начинает баловаться с Васей и со мной, будто он такой же мальчишка, как мы. Он борется с нами, кладет нас на лопатки, и в такие минуты его синие глаза сияют совсем по-детски. Жаль только, что это бывает редко... А сейчас я смотрю на его сутулую спину и старательно подражаю его тяжелой походке.

У спуска в шахту мы встречаем Данела, моего старшего. Он дергает за уздечку слепого коня и угрожает ему массивным плетеным кнутом. Конь не двигается с места. Данел посылает страшные ругательства человеку, продавшему шахте коня. Но лошадь стоит как вкопанная.

— Как только мы терпим этого человека, — подмигивая мне, очень серьезным голосом говорит Петр, — ведь он даже лошади надоел! Такое покладистое животное, а не хочет иметь никакого дела с Данелом!

— Нет, вы посмотрите на эту скотину! Кто ее еще так жалеет, как я? Вот вывел ее наверх, чтобы она воздухом подышала, а как она благодарит меня за это, видите? Теперь скажите, отвечает кто за нее? Все я же, Данел! А мучиться кому с этим никудышным конем? Данелу! Лучше бы везли на тебе родственников наших начальников на кладбище! А ведь если по правде говорить, то виноват ли этот конь? Двенадцать лет он свету белого не видел, ни одного дня не отдыхал, в табунах не бывал! А ведь он —

примерный, ласковый конь, так его и зовут — Уздень! Что же, каждый иногда может покапризничать. Ну хорошо, меня не слушаешься — не надо! У тебя есть и другой хозяин, вот он — Фидар! Что он, что я — какая разница? На мне — мешковина, на нем — дерюжка!

Данел говорил уже спокойным, мягким голосом и поглаживал гриву неподвижно стоящего коня.

Петр сбросил кирку на землю и, улыбаясь, слушал Данела.

— Все не хочет идти? — спросил он сочувственно.

— Язык мой высох уже, столько я его уговариваю каждое утро! И ведь не голодает он у меня, боже сохрани! Даже свое сено, сколько там осталось у меня, ему скормил! Просил, просил я этих начальников, будь они неладны, дать коню хоть немного отдыха! А, что говорить, кто меня будет слушать! Вот подойдет конь — лучше будет? Как-то пустил я его одного, так он споткнулся и ударился об утес бедной своей головой. Бегу за ним, смотрю — лоб, грива — все в крови! А сам-то он, несчастный мой Уздень, прислонился к скале и замер: видно, меня ждал. А потом он так жалобно заржал, ну, я вам скажу, зовет он меня на помощь, и все тут! Напугался же я тогда! Погибнет, думаю, конь, как я расплачусь за него? А еще больше — жалел его. Промыл я ему рану, прикрыл ее листом подорожника и перевязал. Рукав от своей рубахи оторвал, тут уж не до рубахи было! Вот, посмотри, видишь у него под глазом рубец? Это от той раны. Я его тогда и ночью не оставлял, не уходил домой, с ним сидел, повязку все менял. С тех пор он у меня такой пугливый, всякого шума боится.

Я уже не первый раз слушал этот рассказ. Но меня опять охватила жалость к нашему слепому помощнику. Я заговорил с конем и погладил его по шее. И Петр протянул к лошади свою большую и тяжелую руку, которая — я это знал — могла становиться легкой и ласковой.

— Идем, Уздень... А вечером мы дадим тебе

свежего сена, много дадим, сколько захочешь! — Я слегка потянул за уздечку, и конь сразу сдвинулся с места.

— Ты смотри, что делается! Целое утро я его уговаривал, умолял, и все без толку! А Фидар ему два слова сказал и — пожалуйста, идет! Ну что же, иди, дорогой, иди! — И Данел похлопал ладонью по крупу коня.

Уводя коня, я хорошо слышал разговор Петра с Данелом.

— Ну как, справляется?

— Уздень хоть и не видит, а конь он разборчивый, за кем попало шагу не сделает!

— Что-то очень уж исхудал мальчик! Наверное, ты ему и передохнуть не даешь!

— Да ведь сидеть на месте еще хуже! Стоит немного оторваться от работы, потом только труднее делается. А парень — не лентяй, работает на совесть!

— Смотри, чтобы он не свалился тут у нас! Не забывай, как дела-то обстоят — больная мать да старая бабка, вот и вся их семья!

— Ай, Петр, что ты мне такое говоришь? Неужели я такой уж злой? Узденя я жалею, а дитя, сына моего друга, до чахотки доведу? А не веришь мне — у него спроси, пусть сам тебе скажет...

— Да зачем же! Неужели я тебе, Данел, не доверяю? Я потому заговорил, что больно уж он исхудал... А с тобой я совсем о другом толковать собирался.

Дальнейшего их разговора я уже не разобрал. Только раз до меня донеслось имя Хамыца.

Уздень не стал ждать меня. Опустив голову, он шел по знакомому ему пути. Я повернулся и увидел полоску облачного неба. Тучи быстро двигались. Может быть, подумал я, они пройдут над нашим аулом? Они увидят наш нихас с тремя тополями, пастбища, луга, на которых водятся туры...

Чем ниже я спускался, тем сильнее ощущал я тяжелый запах сырости. Пасти скот, пожалуй, легче, особенно летом, когда поспевает малина,

брусника, черника. А как весело слушать шум водопадов, журчание родников! Здесь темно, как в могиле; горло и грудь могут внутри заржаветь от этого ужасного сырого воздуха! Вон как надрывно кашляет Уздень! Данел говорил — лошадь и ослепла здесь... А вдруг люди тоже слепнут в шахтах?!

Всюду вода сочится. Это горы оплакивают нас. Ни одного сухого местечка здесь нет! Правда, хорошо, что мы с Данелом все время в движении. Так весь день втроем и ходим туда и обратно — Уздень посередине, а мы по бокам его. Внизу погрузим руду, наверху выгрузим ее, внизу погрузим, наверху выгрузим, и так весь день...

От холодной воды, по которой мы целый день ходим, у меня больно ломит ноги. Первые три дня по вечерам я не мог их поднять. Сейчас уже стал привыкать и переносу все невзгоды легче.

А разве здесь мне одному трудно? Целый день слышишь хриплый, раздирающий грудь кашель; все еле волочат ноги... И все-таки люди здесь добрые и веселые. Иногда вдруг эхо разносит по руднику песню. Подумать только — песню! Как будто здесь собрались люди, счастливее которых на земле нет. И пошутить умеют. Если кто-нибудь попадает в беду, все бросаются на помощь. Я здесь сразу почувствовал доброе отношение к себе — никто не пройдет мимо меня, чтобы не сказать ласковое слово, не развеселить меня шуткой. Иногда мне даже кажется — не приди я в шахту, не будут в ней петь и смеяться. А Данел — в этом я даже уверен! — в такой день скучал бы.

Данел... Вечером, когда мы идем с работы и Данел отправляется в Верхний Садон, я останавливаюсь и смотрю, как он медленно поднимается вверх по узкой тропинке. Он часто оборачивается и машет мне издали рукой. Так вот мы с ним каждый день расстаемся, а утром я его чаще всего застаю беседующим с Узденем. На минуту прервав свою длинную речь, он протягивает мне ломоть пресного домашнего хлеба с сыром или мясом:

— Пока я еще с ним потолкую, подкрепись. Говорят, ваш брат мальчишки всегда есть хотят!

И опять обращается к коню. О чем только не расскажет он Узденю, о чем не спросит его! Конь молчит, прищулив свои бедные слепые глаза. И все же вид у него такой, будто он с интересом слушает человека и ждет от него новостей. И Данел выкладывает молчаливому Узденю все свои радости и горести. При этом помянет крепким словом тех, на кого сердится, и обязательно назовет серым ослом хозяина Узденя.

Данел мне рассказывал о своей службе в армии. Немецкий царь объявил войну русскому царю, а осетина Данела чуть не отправили на тот свет. И, как вы думаете, кто его спас? Лошадь, его собственная лошадь, с которой он пошел на войну! С тех пор Данел считает лошадей священными животными, своими друзьями и спасителями. И если кто-нибудь обижает Узденя, Данел начинает кричать и ругаться, будто обидели его самого.

— Лошадь-то не твоя, что ты за нее так болеешь душой? — Товарищи Данела знают все, что он им на это скажет, но все же иногда разыгрывают его.

Данел вначале обычно не снисходит до ответа, а потом, когда ему очень уж досаждают, веско растолковывает:

— Потащили бы вы денька два такую поклажу, как Уздень, тогда поняли бы, что это за конь! А мой, не мой — какая разница? Вы вот, я смотрю, неблагодарные люди, не цените того, кто хорошо трудится!

У Данела есть замечательный кнут — длинный, крепко свитый. Но вот зачем ему этот кнут — мне непонятно. Четырнадцатый день я работаю с Данелом и ни разу не видел, чтобы он замахнулся на Узденя. Сунет кнут за пояс и расхаживает... Раз я осмелился спросить его, зачем он таскает этот кнут. Данел очень удивился:

— Как можно такие вещи не понимать? Раз есть лошадь — должен быть и кнут!

Хамыц, Петр и другие друзья отца понимали,

что мне с Данелом будет хорошо. Они решили определить меня к нему в помощники еще до моего приезда в Садон. А мне и правда было с ним неплохо и легче, чем на другой работе. Мы ведь не добываем сами руду, и нам не приходится работать молотом и киркой. И Уздень помогает нам. Я знаю, что все деньги, которые получает наша артель, делятся на равных восемь частей, и я получаю свою долю, как взрослый рабочий, такую же точно, как и остальные семь! Ну, я уж конечно стараюсь изо всех сил, себя не жалею.

Иногда Данел останавливается посреди нашего пути и сгибается от мучительного кашля. А мне он указывает рукой — иди, мол, работа не ждет... Я отправляюсь с Узденем один, перебегаю с одной стороны на другую, поддерживая груз, и в темноте ударяюсь об острые углы. А когда я возвращаюсь к Данелу, то часто застаю его в том же положении.

Данел, отравленный рудничной пылью, уже не может работать ломом. Вот ему и дали работу откатчика, она все же полегче. Но, несмотря на болезнь, Данел веселый и добродушный человек. Поэтому и мне с ним веселее. А как радует меня его обращение «сын моего друга»! Иногда Данел наставляет меня, как надо жить.

— Э, сын моего друга, ты, кажется, повесил нос? Ты не заболел? Нет? Ну, тогда послушай меня. Ты понимаешь, что это такое — тоска? Поверь мне, она хуже, чем голод. Если она одолеет человека, то загонит его в могилу! Этого нельзя ей разрешить! Вот послушай, я тебе напомним, как говорил об этом Коста:

Побой и ругань —
Я все испытал,
Но все ж «да-да-дай»
Всегда распевал¹.

Вот как, сын друга моего! Неужели ты думаешь, что я не знал горя? Ох, столько бы нам с тобой

¹ Коста Хетагуров. Собрание сочинений в пяти томах, т. I. Из поэмы «Кто ты». Перевод А. Ахматовой. М., Изд-во Академии наук СССР, 1959, стр. 85.

на обоих добра, сколько у меня было невзгод! От одних болезней сердце на тонкой ниточке повисло, так и ждешь — вот-вот оборвется! А что делать? Ложись и умирай, да? Нет, сын друга моего, никак это невозможно! Нельзя нам сейчас помирать, просто, я тебе скажу, не ко времени! Столько мы мучились, столько терпели, а теперь, когда мы вот-вот заживем как следует, мы должны держаться бодро! А то, знаешь, дорогой, может получиться в точности по нашей поговорке — шкуру с вола содрали, а на хвосте его нож сломали!

И Данел снова затянул:

Побой и ругань —
Я все испытал,
Но все ж «да-да-дай»
Всегда распевал.

Уздень ждал нас с Данелом. Он остановился как раз в том месте, откуда надо было увозить руду. Я начал работать, потом подошел Данел.

В этот, четырнадцатый, день Данел был почему-то особенно ласков со мной. Он хвалил меня, подбадривал, когда я уставал, а один раз подошел ко мне вплотную и серьезно сказал:

— Человека с самого рождения подстерегают всякие трудности! Значит, надо справляться с ними!

Не собирается ли Данел сообщить мне какую-нибудь страшную новость? Зачем он сказал это? Почему сегодня он так внимателен ко мне? Ох, друзья моего отца, не мучили бы вы меня и сказали бы сразу, что произошло.

Я уже не мальчик, а взрослый рабочий!

Что же случилось? Мне вспомнился разговор Хамыца и Петра той ночью, когда я приехал в Садон. И сегодня я слышал имя Хамыца... А вдруг с ним что-то неладно? И почему Петр ушел с нашего рудника? Почему расстался со своими товарищами?..

После обеда около рудника оказались два человека, которых я раньше не видел. На них были

глубокие резиновые сапоги и парусиновые куртки. Данел пояснил мне:

— Вот тот, погляди, у которого усы как черные шнурочки, из нашего шахтерского начальства. А другой из полиции. И зачем их принесло?

Всех рабочих собрали, и человек с усами шнурочком выступил вперед, провел пальцами по своим необыкновенным усам и заговорил так громко, что голос у него сорвался и зазвучал пискляво и смешно:

— Добрые люди, уроженцы Осетии, дети гор! Все вы очень любите ваш родной край. Разве вы согласитесь когда-нибудь расстаться с дорогими вашему сердцу местами? Да и куда, скажем так, могли бы вы уехать?

— Да что он тут толкует? Я и так знаю, где мой родной край! — прервал его кто-то.

— Тянет слова, как из глубокого погреба! Говори скорее, что тебе надо от нас? — Это уже не выдержал Данел. Он даже отвел правую руку назад, к поясу, будто хотел вытащить кнут и вернуться к работе.

— А ты потерпи! Послушай, может быть, этот человек золотые слова для вас приготовил! — Полицейский беспокойно и злобно осматривал собравшихся.

Писклявый покосился на Данела, расстегнул воротник, дернул головой и продолжал:

— Не думайте, добрые люди, что мы тут слепые и глухие. Мы и видим все и слышим все. К вам сюда пробрались люди, от которых ничего хорошего ждать нельзя, мы и об этом знаем! Они подговаривают вас идти против начальников. Кто дает вам крышу над головой и хлеб? Они или мы? А эти смутьяны, эти вредные люди — что они могут для вас сделать? Чего они хотят? Вы этого не знаете, а я вам скажу: они хотят, чтобы вы остались без работы, без крова, без пищи! Сами-то они ведь не здешние, им что? Выгнали их из России, они здесь пристроились, отсюда прогонят, они опять приживутся где-нибудь! А у вас ведь здесь дома, имущество, которое перешло к вам от отцов. Разве вы бросите

все это? Разве вы оставите могилы, в которых покоятся ваши деды и отцы? Добрые люди, осетины! Не слушайте вы пустые разговоры, не верьте этим людям! Это они вам твердят: «Революция! Революция!» А что вам за дело до этой революции? Она была в России, а не здесь, да еще неизвестно, чем все это дело кончится! Армия ведь наша сильная! Еще и царь русский вернется — вот вам и вся революция! Что же вы, будете ждать ее и с голода умирать? Нам не хватает руды! Заводы в Алагире стоят. Вы как раз сейчас можете заработать хорошие деньги. И у вас и у ваших родных будет достаток, все будут довольные и веселые!

— Извините, пожалуйста.— Данел сделал шаг вперед.— Мы вас поняли и согласны, что уходить отсюда нам ни к чему. Но вы мне объясните такую вещь: почему нам не дают такие же резиновые сапоги и брезентовые куртки, какие на вас? Нам они нужнее, чем вам, мы целый день проводим в сырости! Если бы мы были одеты, как вы, то нам и сырость была бы не страшна, и вот тогда у нас было бы очень хорошее настроение! У вас ноги сухие, ведь так? А мы вот с головы до ног промокли! Вот это мы понимаем. А другое нас не касается. Кто мы такие? Темные, неграмотные люди! Наше дело — работать и работать... А кто с кем ссорится, кто кого не любит — это не нашего ума дело! Как вы говорили? Нам только бы крышу над головой и хлеб? Ну вот, так и есть! А еще вы называли новое слово — революция. Что это такое? Может быть, это какое-нибудь полезное дело? Может быть, это добрый гость направился к нам? Ну что же, мы, осетины, люди гостеприимные — милости просим, хорошим гостям мы всегда рады!

Начальник, совсем бледный, расстегнул вторую пуговицу и стал опять резко дергать кверху и вбок подбородком. Полицейский посматривал на него сердито: дескать, зачем он слушает Данела, почему не оборвет его?

Я пробрался к другу моего отца и шепнул ему:

— Отошел бы ты лучше! Смотри, как они рассердились!..

Данел улыбнулся и громко сказал:

— Ничего с лошадыю не случится. Потерпит, постоит. Видишь, даже начальники так долго стоят здесь, и ничего! А ты говоришь — лошады!

И тихо добавил:

— Не волнуйся, никого не бойся. Нас здесь много, и они ничего не посмеют нам сделать...

Начальник с усами ниточкой, задыхаясь от злости, пытался снова заговорить.

— Ты, ты... — Голос его срывался. — Да, я пришел вам сообщить... вы должны знать... если хотите работать — не слушайте смутьянов, бунтовщиков... Слушайте тех...

— Извините, опять прерву...

— Замолчи, слушай меня!

— Слушай, слушай! Этот человек золотые слова скажет вам! — опять суетливо вмешался полицейский.

— Что ты нам все какое-то золото сулишь! — Голос Данела звучал так твердо, что никто не решался прервать его. — Растолкуйте мне, темному человеку, такое дело. Вот вы говорили, что нужно срочно добыть как можно больше руды. Я и хочу спросить, начальник: у вас есть сын? Есть? Очень хорошо. Такой парень, как наш Фидар, да? Так пусть и он поработает в шахте! И нам поможет, и вам польза будет, и Фидару, сыну моего покойного друга, будет веселее... Разве я плохое вам предлагаю? Что же вы молчите? Почему не отвечаете мне?

Начальник завертелся на месте волчком, посмотрел на Данела и стал продираться сквозь толпу, нерешительно, негромко бормоча:

— Говоришь с ними по-хорошему, а они не понимают, не слушают! Неблагодарные, темные люди!

— Все поняли, добрый наш начальник! Не обижайся на нас! Вот если бы ты нам свои сапоги еще оставил, совсем было бы славно!

Все рассмеялись шутке Данела, и смех этот кнутом погнал полицейского и начальника. Они

выбрались из толпы и помчались так быстро, как только им разрешали тяжелые резиновые сапоги.

— Вон как он повел дело — «бунтовщики, провокаторы»! — сказал один из рудокопов. — А мы сами, значит, дураки, бараны, ничего не видим, не слышим, не понимаем! Эх, знал бы ты, начальник, что и мы сами уже давно к драке готовы! А ты, Данел, молодец, хорошо поддел его! Спасибо тебе, товарищ!

— Ох и растревожились они! Да и что говорить, не зря волнуются! То-то языками заработали: «Мы вам добра желаем!», «О вас только и думаем!»

— Да чего там! Хотят нас подкупить, дело ведь ясное!

— Я думаю так: весь этот разговор — для отвода глаз. Они все кого-то высматривали, кто-то им нужен был. — Данел сказал это приглушенным голосом, и, внимательно оглядевшись кругом, добавил: — Ох, времена! Скорее бы Ха-мыц вернулся, от него узнаем, что на свете делается. А для этих, — Данел двинул подбородком в сторону шедших, — мы по-прежнему темные горцы. Помните: никто ничего не знает, никто ничего не слышал. О революции, о красных войсках тоже ведать не ведаем!

Данел внимательно посмотрел на меня. Взгляд его был еще ласковее и веселее, чем обычно.

— Вот теперь, Фидар, пойдем. Уздень, наверное, и правда истомился, ожидая нас!

Как и каждый день, я нагружал Узденя рудой, провожал его по узким сырым коридорам, выгружал руду, но мысли мои были заняты только что пережитым. Как замечательно высмеял Данел этих двух! Вроде бы и ничего особенного не сказал, а как они уносили ноги! Ох, какой же наш Данел молодец! А ведь те и правда кого-то высматривали. Я вспоминал, как полицейский шарил глазами по толпе рабочих.

— Данел, они Петра ищут? А что будет, если его найдут?

Данел вытер рукавом бешмета лоб, посмотрел почему-то наверх, на сводчатый низкий потолок нашего погреба, и спокойно сказал:

— Петра они и следа не найдут. Опоздали! Да, опоздали, сынок друга моего, из-за этого не тревожься. Еще может случиться, что одному юноше сегодня или завтра скажут: «Дружок, товарищи твоего отца в опасности! Найди их и скажи им: надо скрываться!» Как ты думаешь, Фидар, что тогда ответит нам этот юноша?

— Данел! Да я...— Наверное, я закричал очень громко, потому что Данел бросился ко мне и схватил меня за плечи:

— Тише! Ты что?! Всех нас погубить хочешь?

...Вечером, выйдя из шахты, я прислонился к скале, вынул из кармана кожаный шнурок и завязал четырнадцатый узел. Потом я медленно, тяжелыми шагами двинулся к дому.

Сумерки были ясные, и Данел долго еще был виден мне. Он поднимался вверх, и от сильного кашля его высокое, худое тело гнулось, как молодое, тонкое деревцо на ветру. Наверное, Данел почувствовал мой взгляд, потому что остановился и помахал мне рукой. Я ответил ему:

— Спасибо, Данел. Спасибо, друг моего отца! Как много узнал я сегодня от тебя!

4

Уже стемнело, пока дошел я до дома. Как гордился я доверием Данела! Как радостно было мне думать, что взрослые не скрывают от меня своих забот и тайн!

Мне даже показалось, будто я за один день стал старше лет на десять. И я себе казался намного сильнее и разумнее, чем, скажем, вчера.

Опять и опять повторял я про себя: «Со мной считаются! Мне доверяют!»

Мне показалось, что садонские озорники по-

смастривают на меня с уважением, а взрослые первыми здороваются со мной. Но постепенно гордость стала уступать место тревоге. Где сейчас Хамыц и Петр? Что с ними? Разве трудно подстеречь человека и поймать его? А вдруг в полиции знают, где их надо искать? А как Дарья и Вася? Петра нет сейчас с ними...

«Что же мне надо делать? Как я должен поступить, чтобы помочь друзьям отца? Надо скорее что-то придумать...»

В доме Петра был странный беспорядок. Вещи были разбросаны, пух из подушек выпущен, даже некоторые половицы были отодраны от пола. Растерянная, взволнованная Дарья ходила по комнате, собирая пух, а Вася вытаскивал из-под кровати разорванные книги и дрожащими руками собирал листки.

— Что это? — еле выговорил я.

— Обыскивали нас. Даже в подушки залезали! Искали, искали, будто мы золото, что ли, прячем здесь! Да им, наверное, дороже золота было бы найти то, за чем охотятся. Напрасно трудились! Ну ладно, ушли — и слава богу. Вася, поставь-ка вместе с Фидаром кровати на место!

Но я не мог совладать со своей тревогой.

— Петр... Где он?

— Ты за него не беспокойся, — Дарья ласково кивнула мне, — его не так легко найти!

Вася вылез из-под кровати, положил свои книжки на подоконник, смахнул пух со своих светлых волос и, стараясь говорить как ни в чем не бывало, обратился ко мне:

— Сними чужаки. И шапку забыл снять. Что это с тобой? Мама, мы сейчас все расставим, ты бы отдохнула.

Когда все было убрано по местам, Дарья накормила нас ужином.

— Сейчас бы улечься вам в постель, да вот нельзя... Слушайте меня внимательно, я вам поручаю серьезное дело. Только обещайте, что бу-

дете все это держать в секрете... Ну, сумеете молчать?

— Надо Хамыца найти, да? — не выдержал я.

— Ну вот как хорошо! Ты и сам догадался, что надо делать! Надо уже идти вам, мальчики. Пока из Садона не выйдете, держитесь берега — там спокойнее. Если кто-нибудь задержит вас, ни за что не говорите, куда идете. Хамыца будете ждать на перекрестке, около мельницы Бессоловых, за висячим мостом. Только смотрите не засните, когда будете ждать, а то проглядите его.

— Не усните! Не проглядите! Да что же, маленькие мы, что ли? — обиженным голосом сказал Вася. Он достал откуда-то большой отцовский нож и пристроил его в рукав.

...На улице почти никого не было. В темноте было только одно светлое пятно — освещенное окно верхнего этажа конторы. Знакомая мне лысая голова высовывалась из окна. Похоже было, что человек пытается вслушаться и всмотреться в темноту.

Вдруг мы услышали разговор.

— Нет, нет, остаться я не могу. Спасибо за угощение... Ну, договорились, завтра утром!

Голос был мне слишком хорошо знаком! Я схватил Васю за руку и, потянув за собой, присел на корточки.

— Слышал? Это же Мусса! — прошептал я.

— Ну да? — Вася высунулся из-за камня и попытался разглядеть моего врага. — Слушай, а вдруг он будет разыскивать Хамыца?

— Вася, давай послушаем, не мешай только...

— Нет, нет, — опять донеслось от забора. — Пожалуйста, дорогой, не задерживай меня, а то опоздаю. Нет, я, конечно, не опоздаю, ведь конь-то у меня как птица!

Я вдруг понял, что Мусса был здорово пьян.

— Стоит мне только взмахнуть кнутом, как мой конь доставит меня в аул, ты еще не успеешь опустить голову на подушку! А если я выпил с хорошим человеком, то конь сам отвезет меня

домой — хоть утром, хоть ночью. Вот как! Клянись тебе, да...

Мне пришла в голову отчаянная мысль. Я встал и потянул за собой Васю.

— Пошли скорее. Обгоним его и встретим у висячего моста!

Перепрыгивая с камня на камень, мы пробирались вдоль берега. Внизу, в пропасти, бушевала река, и, кроме ее шума, ничего не было слышно. Наконец мы дошли до моста. Перебежали по нему и присели за камнем.

— Как здесь глубоко! Упадет человек — костей не собрать, — почему-то очень тихо сказал Вася.

— Вот бы Мусса упал... А, Вася?

— Что? — Вася переспросил так, будто разговор идет о самых обыкновенных вещах.

— Вася, если бы его лошадь испугалась, они оба свалились бы в пропасть... Знаешь что, давай испугаем ее, а?

— Надо очень точно целиться в голову коня, — Вася поднял камень и сделал такое движение, будто уже бросает его. — Слушай, Фидар, а вдруг они не проедут здесь?

— Больше нигде. Ведь он, этот старый бандит, хочет Хамыца встретить — где же он его поймает? Да и в аул другой дороги нет. — Объясняя это Васе, я подыскивал подходящий острый камень.

Мы опять присели на своих местах и стали придумывать, как нам посильнее напугать лошадь Мусса. Потом мы обсудили, что надо будет делать, если не удастся напугать лошадь и Мусса начнет стрелять. Тогда лучше спрячемся...

Не отступать, не трусить! Это мы решили твердо. Сердца наши отчаянно бились, но мы старались не выказывать друг перед другом своего волнения. Как напряженно вглядывались мы в дорогу! Как хотелось нам, чтобы первым на ней показался Хамыц, пока Мусса еще далеко. Увидели бы Хамыца — сразу тише сделался бы стук наших сердец. И, право же, хорошо было бы

пойти домой, не мерзнуть здесь над пропастью, не вздрагивать от каждого шороха...

...Сперва мы услышали цоканье копыт со стороны Садона, затем показалась фигура всадника.

— Едет! — вздрогнул Вася. — Готовься! Как только он доедет до середины моста, целься прямо лошади в голову!

— Да, да, хорошо! — Колени мои заломило, а спине стало так холодно, словно по ней прокатился ледяной шар. Всадник приближался, а я все крепче сжимал рукой камень. Но вдруг я как-то сразу овладел собой и замер уже в спокойном ожидании.

Всадник остановился по ту сторону пропасти, около моста. Я услышал свист плети в воздухе и удар. Почему конь не шел дальше? Он расставил ноги и замер. Снова свистит плеть... Раздается голос Мусса — обычный его злобный, угрожающий голос. Конь осторожно ступает на мост... Теперь я уже с напряжением вслушиваюсь в дребезжание под копытами сосновых досок моста. Дрожащим локтем Вася дотрагивается до моего бока.

Бросаю! Васин камень тоже летит к коню. Свист. Это мы свистим, выскочив из-за камня! Конь кружится на месте и летит в сторону. Человеческий крик доносится уже снизу, из глубины...

...Этот крик звучал у меня в ушах долго — и пока мы бежали, не помня себя, с Васей, и когда мы уже были на окраине Садона.

— Вася, он упал?

— Разве ты не слышал, как он кричал?

— Вася, нас никто не видел? Слушай, а вдруг он еще жив? Он ведь и в темноте все видит, как сова. Он меня узнал, конечно, узнал, да и по свисту угадал... Вася, ты молчи об этом, никому ничего не говори, хоть пока...

— Да что ты, право! Его тело уже давно разбилось о речные камни. Пойдем скорее, пока нас никто еще не видел. Ой, смотри, этот все еще сидит там! — И Вася указал на окно конторы, в котором поблескивала знакомая лысина. — Ну,

скоро уже будем дома. Маме пока ничего не расскажем. Замерзли мы и вернулись, вот и все...

А мы и вправду очень замерзли...

— Мама, холод такой, что ходить невозможно. — Вася весь дрожал. — Я бы еще ничего, а Фидар во всем мокром, он ведь прямо с работы...

Дарья возилась у печки.

— Погрейтесь пока, а я посмотрю, что делается на улице, — спокойно сказала она и вышла, закутавшись в платок.

Я пристроился около печки, быстро согрелся и закрыл глаза. Сперва мне показалось, что я тут же и засну, но — куда там... Какой мог быть сон! Передо мной то и дело возникало лицо Мусса, его маленькие злые глаза. А в ушах звенел его предсмертный крик. Как вкопанный стоял перед моими глазами великолепный скакун Мусса, застывший перед мостом.

Я вздрагивал от малейшего шороха. А тут еще, как нарочно, дребезжало от ветра окно. И этот скрежет переходил в крик Мусса, и опять передо мной возникало его лицо...

Скрипнула дверь, в комнату ворвался холодный ветер — вернулась с улицы Дарья. Она внимательно посмотрела на нас и сказала:

— Ложитесь-ка спать, ребята. Сегодня Хамыц уже не придет.

Затем она заперла дверь, прикрутила лампу и подошла к окну. Мы с Васей притворились, будто не видим, как напряженно смотрела Дарья на улицу сквозь щели ставен. Вдруг слышались топот и крики. В одну минуту мы вскочили с кровати и бросились к окну.

— Мама, что там? — Вася прижался носом к стеклу.

— На улице полно конных: наверное, что-то случилось... Никуда не выходите. Боже мой, убереги нас от беды. — Дарья схватила нас за плечи и прижала к себе. Может быть, она боялась, что мы все же выбежим из дома? — Конторские тоже не спят, это уж вовсе в диковину! А конных-то сколько!

— Я все же выгляну, Дарья... А вдруг они Хамыца...— Я потянулся за шапкой, но Дарья перехватила мою руку.

— Никуда не пойдешь. Нечего тебе там делать. Хамыц не придет.

— Откуда ты знаешь? — удивился Вася.

— Один человек сказал мне. Он видел обоих: и Петра и Хамыца. Ну, идите спать, ребята, хватит на сегодня...

Мы улеглись, когда все утихло и даже в конторе погас свет. Вася скоро стал дышать спокойно и глубоко, наверное заснул. А я смотрел на низкий потолок нашего домика и слушал беспрерывный гул реки. Опять загадка — зачем они тут, эти конные? Кого они ищут ночью?

— Фидар, ты что не спишь? — Оказывается, Вася только притворился спящим.— Мусса, что ли, боишься? Ах, Фидар, ведь этого злодея, этого паука уже нет в живых! Пойми, он ушел на тот свет. Сколько времени ты охранял его скот, чуть не замерз в бурю, заблудился ночью в горах, а он тебе дал когда-нибудь барашка? Хоть самого маленького?

— Пусть всех его баранов съедят на его поминках!

— Его-то можно бы хоронить и без поминок! Да еще найдут ли его тело? Хороши ваши обычаи, да не для таких бандитов! Как это у вас полагается? Три пирога на праздниках подавать, а два — на поминках? Ну, Мусса твоему хоть шестьдесят пирогов выставь на поминках, а все равно хорошим словом люди не помянут его! Вот лошадку его стоило бы похоронить как следует, ведь она-то погибла смертью храбрых!— Выговорившись, Вася повернулся к стене и заснул.

...Утром я застал у входа в шахту толпу рабочих. Они тихо и серьезно толковали о чем-то. Вид у них был, как мне показалось, подавленный. Данела среди них не было — я это сразу заметил. Уздень стоял в стороне и на ощупь подбирал соломинки. Время от времени конь, подняв уши, вертел головой в разные стороны, наверное искал

своего хозяина. У меня на душе становилось все беспокойнее. Где Данел? Почему так встревожены мои старшие товарищи?

— Надо расходиться. Ну, договорились — на площади у конторы. Я пройду по шахтам и всех предупрежу, — сказал высокий смуглый человек. Он говорил на том наречии, которым отличались жители Туальского ущелья.

Еще раз оглядев всех собравшихся, я решился спросить:

— Что случилось?

Уздень услышал мой голос и заржал; тихонько подойдя ко мне, лошадь стала тыкаться в мое плечо холодной мордой. Я погладил ее по лбу.

— Надо расходиться, нельзя больше задерживаться здесь, — сказал один из шахтеров; посмотрев на гору по ту сторону речки, он тихо и радостно вскрикнул: — Ого! Чермен уже вышел — взгляните, сколько с ним людей!

По узкой тропинке спускалось не меньше сорока человек. Они держали в руках лопаты и кирки.

Я осмелился повторить свой вопрос. Смуглый туалец внимательно посмотрел на меня и сказал:

— Ночью арестовали пять человек. И Данела тоже... Мы хотим освободить их!

Мне сразу все стало понятно: и почему всю ночь горел свет в конторе, и почему конные заполнили улицы нашего тихого Садона. Еще раз я пожалел, что послушался Дарью и не вышел на улицу. Хоть бы знать, куда увели Данела!

Данел... Он стоял у меня перед глазами. Сотрясало все его истощенное тело, все бледнее делалось его смуглое лицо. Что с ним? Где он, друг моего отца?

И тут же еще одно лицо всплыло в памяти — красное, злое лицо с маленькими, сощуренными глазами. Вытащили ли его из пропасти? Знают ли уже о его смерти? А может быть, из-за этого и арестовали людей? За Мусса они, конечно, будут мстить...

Уздень устался своими слепыми глазами в одну точку и замер. Когда уже никого не оста-

лось возле него, он понуро двинулся к шахте. Я увидел сверху его костлявую спину, потом он исчез в темном коридоре.

5

Наверное, никогда на площади перед конторой не бывало так много народа. Все ждали кого-то, переговаривались друг с другом. Старики, женщины и дети тоже пришли сюда. Вся площадь гудела. Мне припомнилось, как жужжат дикие пчелы на лугу во время сенокоса, когда вместе с травами сносятся их ульи.

В сторонке стояло несколько мальчиков. Я увидел среди них Васю и махнул ему рукой. Тотчас же он оказался возле меня.

— Вытащили? — спросил я шепотом.

— Ты опять об этом? Да никто о нем и не думает. Я нарочно сходил туда и посмотрел — и сам и лошадь лежат в глубине. Их и не узнать никому, ведь разбились сразу!

Я судорожно вздохнул и потянулся к Васе — мне хотелось крепко обнять его. В ту же минуту кто-то крикнул во весь голос:

— Где хозяин? А ну, пусть выходит! Не то разнесем вашу контору!

— Сколько мы еще будем его ждать?

— Может быть, он хочет, чтобы его за шиворот вытащили? Пожалуйста, мы можем!

— Где наши товарищи? Отвечайте!

Полицейские посматривали на балкон конторы и растерянно повторяли:

— Тише, добрые люди! Пожалуйста, тише!

Наконец на балконе показался лысый — тот самый, что этой ночью не уходил из конторы. За ним следом шел человек с тоненькими усиками. Вид у него был такой, будто он ждет удара камнем, — он испуганно озирался и старался спрятаться за лысым.

Тот заговорил, вцепившись пальцами в решетку балкона:

— Добрые люди, что вам надо? Почему вы так безрассудны? Ведь мы платим вам деньги,

чтобы вы кормили своих детей! Вы жили в своих аулах в темноте и в грязи, как в пещерах, а мы протянули вам руки и вытащили вас к свету, к цивилизации... к...

— Где наши товарищи? — прогремел голос человека, говорившего на туаальском наречии. — Что они сделали плохого? Почему пять семей остались без мужей и отцов?

— Да какие они вам товарищи? Они хотят оставить ваших детей без куска хлеба. Они же бунтовщики, мятежники! — Лысый размахивал руками, а голос его от крика срывался.

— Хозяина!

— Нет хозяина, уехал во Владикавказ. По очень важным делам уехал наш хозяин.

— Где наши товарищи? Мы требуем, чтобы их освободили! Сейчас же освободите их! Мы хотим их видеть!

— Долго ли будем еще просить?

— Пропустите меня вперед! Я его спущу с балкона, тогда поговорим...

— Хватит разговаривать!

Люди потоком хлынули вперед. Несколько шахтеров вбежали в помещение, но тут же раздались выстрелы.

Полицейские подскочили к дверям конторы и загородили их собой, держа винтовки наперевес. Толпа рванулась назад. Один из полицейских оказался возле нас. Он пытался тоже пробраться вперед, к конторе. Кто-то ударил его камнем по голове. Закричав диким голосом, полицейский стал валиться на бок. Его схватили за ноги и потащили к реке.

Невысокая, худая женщина громко крикнула:

— Это ему и за моего хозяина!

— А ну-ка, Фаризет, дай ему как следует! — закричали из толпы.

На балкон выбежали те из наших, кому удалось проникнуть в контору. Среди них был и смуглый житель Туаальской долины.

Лысый побледнел и завизжал, подняв плечи:

— Вы не имеете права трогать нас! Мы — иностранцы... Не русские... Не мы арестовали...

Конторский начальник с тонкими усами прижался к углу балкона и не отрывал глаз от бровей туалъца, сведенных в одну черную полосу.

— Эй, Майрам, — крикнули снизу, — поговори-ка с ними как следует — и за мизурских, и за ваших, туалъских, и за садонских!

— Видите, добрые люди, что делается? Они имеют право и грабить нас, и в шахтах убивать, и в тюрьму сажать! А мы и говорить с ними не имеем права. А почему? Они иностранцы! Так что же вы не сидите у себя дома? Мы за вами не посылали! Сейчас же выпустите арестованных! Пока не освободите их, ни одна душа не выйдет на работу! И контору вашу сожжем! Шахты закроем. Слышите? Мы с вами не шутим, разговор серьезный идет!

— Я здесь не начальник, без него мы ничего не можем! Он в городе, вы уже слышали. Не мы сажали в тюрьму, не нам и выпускать! Спрашивай у тех, — и лысый показал на полицейских.

— Сам скажи им! Кто им такой приказ давал? Кто велел обыски делать, дома обшаривать, кто не дал людям спокойно спать?

— Майрам, подтолкни-ка их сюда, мы тут сами с ними поговорим!

— Надоело слушать их. Хватит!

И народ снова хлынул вперед.

— Стойте! Стрелять будем, никого не пожалеем! — закричали полицейские. — Разойдитесь лучше по своим домам по-хорошему! Себя будете винить, если прольется кровь!

— Добрые люди, горцы! — опять осмелел лысый. — Даю вам слово, хоть я и не имею права распоряжаться без хозяина, — все, кого задержали, к вечеру будут дома! Пока идите работать! Мы освободим ваших товарищей! А вы скажите им, чтобы они не сбивали вас с толку, не морочили вам голову.

— Зачем же откладывать на вечер? — крикнули с площади. — Сейчас освободите, немедленно! Добрые люди, чего мы все ждем? Освободим их сами!

Вдруг балкон опустел. Через минуту к перилам подбежал Майрам и крикнул:

— Казаки!

Сразу же захлопали выстрелы. Свист пуль, топот копыт, отдельные выкрики людей, странный, небывалый шум... Некоторые бросились бежать, другие окаменели на месте, сжав кулаки.

Мы с Васей спрятались за большими камнями на берегу реки. Мимо нас пробежал Майрам, — наверное, он выскочил из конторы через окно. Он бежал быстро, но все же пуля настигла его. Хватаясь за кустарники, он рванулся в сторону от дороги и упал ничком.

Потом мы видели, как полицейские вывели на площадь несколько человек — тех, что были с Майрамом в конторе. У них были завязаны сзади руки...

Прячась за камнями, мы с Васей подползли к раненому. Услышав шорох, он вздрогнул и схватился за камень.

— Не бойся, — тихо сказал я, когда мы подошли вплотную к нему, — у тебя большая рана?

— О! Сын Кайсына! А это чей? — Раненый настороженно посмотрел на Васю.

— Это сын Петра, Вася, — сказал я и опустился на колени возле раненого.

— Мальчики, идите отсюда, а то вас увидят... Они и убить могут. — Майрам приподнялся и стал рвать на себе рубаху. — А где наши сейчас? Кого-нибудь еще ранило? Убило?

Я посмотрел в сторону конторы. Арестованных не было видно. По опустевшей площади скакали конные, лаяли собаки, гремели отдельные выстрелы. Несколько лошадей было привязано к телеграфному столбу, недалеко от конторы. Они вздрагивали от выстрелов и пугливо озирались.

Раненый стонал. Кровь текла из пробитой правой руки. Вася наклонился, взял его за левую руку и прошептал:

— Надо спрятаться. Поползем в лощину. Я там хорошее место знаю, скорее пошли...

Мы подняли Майрама, подставили ему плечи

и обхватили за спину. Так втроем и спустились в лощину, хватаясь за кусты, за камни. Уже на руках внесли мы раненого в пещеру.

Собрав опавшие листья, мы устроили Майраму постель в глубине пещеры. Он все время просил пить, ворочался, становился все беспокойнее. Отрывистая речь его немного пугала нас.

— Медлили... скорей надо было... Слишком долго их упрашивали, долго... Моя вина!.. Пить!.. Я виноват... Воды!..— Глаза раненого были устремлены вверх и неподвижны, как будто он с трудом читал что-то на темном сводчатом потолке пещеры. Говорил он все медленнее.— Таймураз... сын мой... в Верхнем Колючем... такой, как вы...

— Найдем его, не беспокойся. А сейчас надо перевязать тебя.— И, оторвав подол своей рубахи, я собирался приподнять раненого, как вдруг услышал чей-то озабоченный голос:

— Чудак ты! Как же он смог бы добраться до пещеры? Да и что ему в ней делать? Дурак он, что ли, так вот лежать да ждать, чтобы мы его голыми руками взяли? Или уже сдох, или пополз к горе. Там можно спрятаться надежнее.

— Да нет, он тяжело ранен.— Второй голос казался более решительным.— Где-то здесь спрятался!

— Тогда следы крови были бы...

— Глупый ты все же человек! Не по снегу ведь он полз! Где тут могут быть следы? В щебне? В песке?

— Ну, раз я глупый, а ты умный, то и полезай сам в пещеру. А я здесь подожду! Чего же ты испугался, а? Неужели ты, умный, храбрый, боишься раненого, у которого и оружия нет? А?

— Кто тебе сказал, что я боюсь? Эй, ты, вылезай! Вылезай скорее, а то убью! — У входа в пещеру блеснуло дуло ружья. Мы замерли и схватили с Васей по камню...

Вот бы нам сейчас ружья!

— Эй, если ты еще жив — вылезай! Сам выйдешь — ничего тебе не будет!

Два выстрела оглушили нас. От скалы, под

которой мы сидели, брызнули искры. Пороховой дым заползал в горло, душил нас.

— Пошли! Нет его здесь. Походим еще, где-нибудь лежит он, застонет, мы услышим и вытащим его,— прозвучал голос того, который отказывался идти в пещеру. Другой не возражал. Казалось, они чего-то боялись и рады были уйти поскорее от нашего убежища. Мы еще некоторое время слышали их ворчливые голоса, шуршание тяжелых сапог по щебню.

Наконец я решился чуть высунуть голову из пещеры. Двое полицейских ползли на гребень горы; они часто оглядывались назад и старались держаться в тени кустарников.

— Нагнись, а то увидят! — Вася втянул меня обратно в пещеру.— Посиди здесь, а я сбегаю домой и принесу ему питье и для перевязки чего-нибудь... А пока перевяжи ему рану, вот твой лоскут. Надо перетянуть здесь потуже, кровь останавливать.

— Вася, ты смотри берегись! Сперва пробирайся вдоль кустарника, а подымись у перекрестка тропинок, раньше не надо, опасно...

— Ладно! Я скоро.— И, осторожно ступая, Вася вышел из пещеры.

Мы остались с раненым вдвоем. Я перевязал ему, как умел, рану, и кровь приостановилась. Он стонал, ворочался и все говорил, говорил:

— Виноват я... теперь долго... Кайсын, твой отец, был друг мой, хороший друг... Он бы справился лучше, чем я... Я виноват... медлил... Ха-мыц, Петр... что скажут?.. Кайсын был мой хороший друг... А ты его сын...

— Успокойся, дорогой. Скоро Вася вернется, лечить тебя будем...— Я сам не знал, что говорил. Мне было очень страшно: а вдруг смерть подбирается к нашему Майраму? А с ним только я один! Что я могу? Говорить без конца да прикладывать ладони к его огненному лбу...

За пещерой раздались выстрелы и отдались эхом в горах.

— Стреляют... Неужели в мальчика... посмотри...

Майрам стал тяжело приподниматься на левом локте.

Я подбежал ко входу в пещеру и посмотрел на вершину горы. Клубы дыма нависли над перевалом. Мне ничего не удалось разглядеть.

Вдруг слева от нас с грохотом покатился в высохшее русло реки огромный камень. Дым растаял, и из-за камня показалась шапка... за ней вторая, третья...

«Ну, кажется, конец нам пришел,— подумал я и присел на корточки.— А вдруг это Вася с нашими? Нет, слишком быстро для них. Надо устроить засаду здесь, не отдам его без боя».

— Ну, вот и добрались! — раздался мальчишеский голос, и из-за камня показалось Васино лицо. За ним, чуть отстав, шли два человека.

Я бросился к Майраму и от радости, наверное, нечаянно задел его рану. Он застонал.

— Наши, наши идут! Вася привел их!

Резкий запах лекарства наполнил пещеру. Вначале оно, наверное, вызвало сильную боль у раненого — он скрежетал зубами, задыхался и стонал. Потом стал потихоньку успокаиваться, а когда смог говорить, то велел нам с Васей идти домой. Он напомнил нам о своем сыне, просил разыскать его и рассказать обо всем, но так, чтобы мальчик не волновался.

Скоро мы с Васей шли уже по улицам Садо-на. Шли мы спокойно, как ни в чем не бывало. Правда, Вася надел свою шапку как-то торчком, да и ступал он так гордо, будто один взял Карскую крепость. Я посмотрел на него, и мне стало смешно.

— Надень шапку по-человечески,— слегка толкнул я в бок приятеля,— а то она так торчит, что какой-нибудь солдат не выдержит да и выстрелит в нее!

— Ты подумай только! До самой вершины они доползли, все меня выслеживали.— Вася улыбался немного самодовольно. Но вдруг улыбка исчезла с его лица.— Взгляни-ка, вот они, все еще видны! — Вася так расстроился, увидев по-

лицейских, которые преследовали его, что не обратил внимания на солдат, шагавших к конторе.

Дома заплаканная Дарья бросилась к нам, завертела нас, осматривая со всех сторон. Мы рассказали ей о сходке на конторской площади, о ране Майрама, о пещере и полицейских, которые побоялись войти в нее.

— Где он сейчас, Майрам? Что с ним?

— Я привел к нему друзей, он остался не один, — поспешил Вася успокоить мать.

— Ну, вот и хорошо, — вздохнула облегченно Дарья. — А вы, мальчики, никуда сегодня не выходите. Сидите дома. Еще бы лучше вам подальше где-нибудь спрятаться, да вот куда? Собаки-то эти повсюду рыщут.

— Может быть, у нас в горах? Я знаю такие места, куда ни одна живая душа не попадет. — Я схватил Дарью за руку и умоляюще посмотрел на нее.

— Нет, туда сейчас идти никак невозможно. Они уже там... Ищут Хамыца... Тут ведь знаете какие дела? Кто-то сбросил Мусса с висячего моста; такой переполох подняли, что не дай бог. Подозревают Хамыца.

— Хамыца?! — крикнули мы вдвоем.

— Ну да, уже все на ногах! Должны вот-вот привезти тело Мусса.

Мы переглянулись с Васей. И не произнесли ни слова.

ВЕТЕР В ЛИЦО

*Откуда у сердца
К свободе порыв?
И что так пылает
В нем кровь, забурлив?*

Коста Хетагуров

1

«Кто-то сбросил Мусса в пропасть» — так, кажется, сказала Дарья? Значит, его действительно нет больше в живых? Бурные события дня затмили было в моем сознании ночное про-

исшествие. Слова Дарьи вернули меня к висячему мосту, в ушах опять зазвучал предсмертный крик человека, донесшийся до нас из ущелья... Значит, это правда, и никогда больше не будет смотреть на меня Мусса своими маленькими злыми глазами, не назовет меня паршивым щенком, не будет грозить своей длинной палкой... А все же как-то трудно поверить в это! Скоро, может быть, его привезут. Увижу своими глазами его тело, вот тогда поверю, что он больше не живет на свете! А потом сюда придет толстая Фати. Неужели она будет плакать так же, как моя мать плакала над телом отца? А Мацико теперь, как и я, сирота? Мороз пробегает у меня по спине, мне опять делается очень страшно, и я прижимаюсь носом к окну.

Вася тоже смотрит в окно. В воздухе носятся отдельные крепенькие снежинки. Я вспоминаю, что последние дни снег не шел: как он осел на вершинах гор, так и держался. А сейчас вот опять появился... Доносится шум северного ветра. Он продирается сквозь ущелье и, вырвавшись на волю, громко гудит.

«Привезут Мусса, придут люди из аула, расспрошу их, как там мама и бабушка», — думаю я.

А о чем, интересно, думает Вася? Какой он бледный, какой у него утомленный вид! А лицо почти прозрачное...

Мы с Васей сидим неподвижно, а Дарья все время в движении, что-то толкает ее из одного угла комнаты в другой, из дома — во двор и опять — в дом. Что заставляет ее хватать вещи и перекладывать их с места на место? Лицо ее распухло и постарело...

С улицы донесся плач женщин. У меня захватило дыхание — этот плач перенес меня в недавно пережитое, и мне показалось, что я опять хороню моего отца. Будто железный кулак сжал мне сердце. Вася посмотрел мне в глаза и указал взглядом на дверь.

— Дарья, я пойду, спрошу о своих, о маме, — с трудом произнес я.

— И я с ним. Надо разузнать как следует,

что у них там, тогда и тебе все расскажем.— И Вася надвинул на лоб свою меховую шапку.

Дарья не задерживала нас. Она лишь озабоченно посмотрела на нас и отрывисто сказала:

— Будьте осторожны, не болтайте лишнего, не задевайте никого!

...Ветер выл еще отчаяннее, чем утром, и разносил по горам причитания женщин.

Как только мы вышли на улицу, из-за крыльца показалась толпа.

Молодой мужчина вел за уздечку коня, прикрытого траурным покрывалом. С телеги, которую тянул конь, низко свисали края черной бурки.

Фати в черном шла за телегой. Время от времени она теряла сознание и повисала на руках женщин, которые крепко держали ее с обеих сторон. Фати все время беззвучно шептала что-то и часто оборачивалась к Мацико. Сын Мусса не отвечал на взгляд матери, он упорно смотрел себе под ноги.

Мы стояли за каменной оградой и из-за нее наблюдали за траурной толпой. Никогда я не думал, что может наступить такой час, когда мне станет жаль Мацико. А сейчас я жалел его, он казался мне беспомощным и никому не нужным. Проходя мимо нашей ограды, он посмотрел мне в лицо. Узнал ли он меня? Я увидел, как он опустил голову и задергал плечами. Рыдания Мацико заставили меня расплакаться. Вася, увидев мои слезы, изо всех сил дернул меня за рукав.

— Подойди-ка к ним! Поплачь вместе с родственниками твоего Мусса! Да еще можешь сказать: «Это я убил Мусса!» И обо мне не забудь сказать: вот, мол, это Вася, мой сообщник, тоже убивал! Чего же ты ждешь? Иди к ним!

Я положил руку на Васино плечо и ничего не ответил ему. Он тихо сказал мне на ухо:

— Ты ведь хотел о своей маме расспросить...

Мы перепрыгнули через забор. Одна из женщин увидела меня и остановилась. Она была так закутана, что я не мог понять, кто это.

— Вот хорошо, что я тебя увидела! — вос-

кликнула она.— Я собиралась пойти разыскивать тебя. Да ты что, не узнал меня? — И она раскрыла лицо.

— Ой, да это Гошка! Ну, как у нас дома? Гыцци как? Нана?

— Все так же, как до твоего отъезда. О тебе очень беспокоятся. Ты бы хоть разок домой сходил, мать совсем потеряла из-за тебя покой. Да еще время такое тревожное. Подумай только, что делается! С Мусса беда какая случилась! Такой видный человек, по всей долине его знали! Я его только вчера утром видела в ауле. Как гордо сидел он на своем скакуне! Боже мой, неужели правду говорят, будто это Хамыц?

— Нет, неправда! Врут это! Хамыц уже вторую неделю не возвращается с поля!

— Не знаю, за что купила, за то и продаю! Все о Хамыце толкуют, я сама ничего не придумывала.— Гошка говорила быстро, озираясь по сторонам, боясь отстать от других женщин.— Ну, так что передать матери?

— Скажи, дня через два приду, пусть не беспокоится. А о Хамыце врут! Так и моим передай!

— Хорошо, хорошо! Ну, я побегу, вон как я отстала от всех.— И Гошка, опять закутавшись в платок до самых глаз, побегала за толпой.

— Ну и трещотка! Как она только язык свой не проглотит? — удивленно сказал Вася и добавил: — Взгляни-ка на лысого,— какую он грустную рожу скорчил!

Из конторы вышло несколько человек. Они двинулись навстречу толпе, склонив головы и держа шапки в руках. Впереди шествовал лысый. Вид у него действительно был такой, будто хоронят его отца или сына.

Конторские стояли на площади, пока траурная толпа не вышла на мост. Потом они быстро нахлобучили шапки и направились в контору.

Толпа скрылась за поворотом, и площадь опустела. Мы заметили, что около моста стояла молодая девушка и не отрываясь смотрела на конторские окна. Глаза ее были заплаканы. Мы с Васей

подошли к ней. Она молча взглянула на нас и отвернулась. Толстые черные косы оттягивали ей голову. Мы помолчали, а потом Вася отважно спросил:

— Ты кого-нибудь ждешь здесь?

— Тебе что за дело? — Девушка резко повернулась к нам. Ее смуглое лицо залилось румянцем.

— А ты не бойся нас, не стесняйся. Тебе, может быть, надо в чем помочь, так, пожалуйста, мы с охотой...

Девушка не ответила нам. Ожидая чего-то, она смотрела на двери конторы. И действительно, оттуда быстрым шагом вышла невысокая, худая женщина и направилась к нам. Она шла, часто оборачиваясь в сторону конторы и вытирая на ходу слезы. Подойдя к нам, она заговорила, будто продолжая только что прерванные жалобы:

— Хоть бы сказали, где он сейчас! Они же там голодные сидят, со вчерашнего вечера томятся люди! А с нами эти начальники проклятые не желают разговаривать, чтобы им пропасть! То болтали, будто к вечеру освободят всех, а теперь и знать ничего не хотят! Где бы найти сейчас мужчин, с которыми мой работает, хоть бы пришли они сюда, тоже поговорили бы в конторе. Неужели они испугались? Совсем голову потеряла, ничего не придумаю, куда идти? Кому жаловаться? А вы чьи дети?

— Вот он — Вася, сын Петра, а я — Кайсына... — ответил я и почему-то очень смутился.

— Сын Кайсына, Фидар? Так вот ты кто! Мой муж очень полюбил тебя. Он нам о тебе часто рассказывал! А что вы здесь делаете? Лучше, мальчики, уходите отсюда, а то привяжутся они к вам. У нас уже беда случилась, нам уже все равно... Да и что они с нас, с женщин, возьмут? А вы скорее уходите, не губите себя. У ваших родных и без того горя хватает... — У женщины опять показались слезы на глазах. Она поспешно вытерла их краем платка и, взяв девушку за руку, увела ее. Та оглянулась на нас и кивнула головой.

И вдруг я заметил — на меня взглянули сейчас глаза Данела, улыбнулись губы Данела, слегка приподнялись брови Данела...

Я оторопел и не знаю, сколько времени простоял бы неподвижно, переживая свое открытие, если бы громкое цоканье копыт по мосту не заставило нас с Васей спрыгнуть в овраг. Над нами по мосту стремглав проскочило несколько конных. Миновав контору, они двинулись по дороге в ущелье.

Дома я пробыл недолго. Мне не терпелось узнать, что делается в поселке, и я уговорил Дарью отпустить меня. Вася долго упрашивал мать разрешить и ему пойти, но она заявила, что он очень нужен ей дома.

Не задумываясь, куда мне идти, я направился к шахте. В это время мы обычно возвращались с дневной смены — сумерки быстро сгущались, только вершины гор еще сияли своей ясной близкой.

У родника я никого не застал. Узденя на его обычном месте не было. Я прислонился к скале, вытащил свой шнур и завязал пятнадцатый узелок.

Все события и все встречи прошедшего дня и ночи пронеслись перед моими глазами. Мелькнуло бледное лицо раненого, в ушах прозвучал его голос: «Сына моего Таймуразом зовут...» Грустно смотрели на меня с нежного девичьего лица черные глаза Данела... Где же сейчас Данел? А где Хамыц, Петр? Как нужны они сейчас людям, как не хватает их!

Вдруг я услышал шум шагов, хлюпающих по воде. Спрятавшись за камнем, я стал вглядываться в темный погреб рудника. Топот все приближался. Я боялся пошевелиться, не зная, с кем придется встретиться. Шаги становились все громче, и наконец из погреба показалась голова Узденя. Я все еще не двигался — мало ли кто мог оказаться за лошадьё!

Уздень остановился у кучи руды, повел голо-

вой и, очевидно почуяв недалеко человека, заржал.

— Уздень, бедняга мой! Как тебе жилось сегодня? — Я подошел к лошади и погладил ее по влажному боку. Она снова заржала и ткнулась носом в мою ладонь.

Тут вдруг я увидел, что над входом в рудник наклеена-какая-то бумага. Подойдя к ней поближе, я отодрал ее и разобрал написанные крупными буквами слова: «На работу не выходить, пока не освободят наших товарищей! Не сдавайтесь, товарищи! Держитесь!»

Пока я читал, Уздень смиренно стоял возле меня и искал мордой мою руку. Приладив бумагу на место, я намотал уздечку на голый куст возле спуска в шахту и пододвинул к лошади сено, собранное еще вчера Данелом. Уздень ел жадно. Наголодался без нас, бедный.

...У калитки меня встретил Вася: видно, поджидал меня. Неужели опять что-нибудь случилось?

— Вернулись, пришли! — задыхаясь от радости, кричал Вася. — И папа, и Хамыц! — Вася схватил меня за плечи и сильно встряхнул меня. — А ты знаешь, где Данел и другие? Вон там, у обрыва, в развалюшке-погребе! Там их заперли, а караулят солдаты! Но мы их выручим, будь уверен! Вот, погляди! — И Вася сунул мне в руки какую-то небольшую вещицу, холодную и твердую.

— Наган! Вот замечательно! Вася, где ты взял его? Тебе его дали? Кто?

— Не все ли равно? Ну отдай, а то выстрелишь, он ведь заряженный!

— Вася, ну скажи мне, откуда он у тебя? Хамыц дал, да?

— Ты только никому не говори, это наган Мусса, я утром полез под висячий мост. Не для забавы ведь я спускался в пропасть... А мы с тобой будем оба из него стрелять!

— Что ж, хорошо! А где же Хамыц? Где все они?

Я вспомнил, как важничал Мусса, когда впер-

вые прицепил этот наган к поясу. На нихасе он то и дело отбрасывал полы шубы... А если его собеседники не смотрели на наган, то Мусса подтягивал его на середину живота и вертел его перед собой: дескать, в порядке ли мое оружие?

Сейчас тело Мусса везут хоронить в долину, а его наган у нас с Васей! Что ж, Мусса, больше тебе не придется пугать бедняков!

— Оставь-ка лучше его у себя, а то мать у меня увидит и отберет!

Право же, очень разумный человек Вася! Конечно, лучше, чтобы наган хранился у меня.

— Ты его, Фидар, береги, он нам пригодится. Вот досадно, я не понял, где сейчас Хамыц, а ведь мать что-то рассказывала о нем...

— Слушай, Вася, пойдем сегодня ночью?

— Куда это?

— Как куда? Освобождать арестованных!

— А ты знаешь, сколько там солдат?

— Боишься солдат, оставайся дома. Я и один пойду.

— Чего один, когда туда и отец пойдет с товарищами! Они нас с тобой не звали, а если ты меня трусом считаешь, то пожалуйста, можешь идти. Наган у тебя есть, тебе-то бояться нечего!

Вася отвернулся от меня. Я понял, что он обиделся, и стал, как умел, выворачиваться:

— Я ведь пошутил! Куда я пойду без тебя? Помнишь, как жена Данела удивлялась, что его друзья не пошли с ней вместе в контору? А я ведь тоже друг Данела, значит, я должен идти выручать его...

— А я ему кто? Зачем же я весь вечер спрашивал, где Данел с товарищами? А для чего я оружие добывал? Думаешь, легко было в пропасть спускаться? А вдруг бы меня кто-нибудь сверху увидел?

— Вася, я верю тебе... Слушай меня. Давай выйдем пораньше к старому погребу. Если там правда много солдат, спрячемся и подождем Хамыца и других, пойдем тогда все вместе...

— Сперва надо их найти и сказать о солдатах. Да вот с мамой как? Сказать ей все — не

пустит нас, не сказать — всю ночь будет ждать, спать не ляжет...

— Ну, так пойдем уже!

— Пойдем... А наган пока дай мне. Я уже знаю его секреты.

Что за секрет был у нагана, я, конечно, не знал и покорно отдал его Васе.

2

На другом берегу реки, довольно далеко от Садона, зимой и летом бьет из земли соляной родник. В теплое время пастухи гонят сюда скот — плохо ли дать скотине вволю соли? Здесь ведь за нее платить деньги не нужно. Зимой к роднику добраться трудно — узенькие, крутые тропинки делаются скользкими и с гор их забрасывает щебнем.

Когда-то совсем рядом с соляным источником была шахта, потом ее забросили. Может быть, потому, что зимой пробраться к ней почти невозможно.

Я в тех местах не бывал, о роднике и о старой шахте мне рассказал Вася. Ему сюда приходилось хаживать не раз, когда у него был козленок. Непоседливой и бодливой была Васина скотинка, и особенно полюбился ей погреб старой шахты. Когда-то, заблудившись, забрел сюда козлик, напился родниковой воды, потом спустился в погреб и спокойно заснул в холодке. А Вася и его родные, проискав беглеца всю ночь, решили, что его задрал волк. Васе, как он признался мне, очень надоело бегать за козленком по горам, и он втихомолку радовался, что освободился от этой обузы. Но когда он представил себе, как волки набросились на маленького шалуна, ему сделалось жаль своего мучителя. Поэтому он очень обрадовался, когда пастухи сказали ему, что козленок жив и блаженствует в старой шахте. Вася разыскал непоседу, обвязал его за шею поясом и привел домой. Свежая соленая вода и отдых в прохладной заброшенной шахте оставили, наверное, приятное воспоминание у козленка.

ка, и он повадился удирать в те места, как только его выпускали на волю. Так продолжалось, пока Васин отец не прирезал его.

Все тропки к роднику были знакомы Васе, так часто он бегал по ним за непоседой козленком. Но ведь это было летом, и уж конечно только днем. А осенью, да еще ночью, долго ли заблудиться здесь? Тем более что все тропинки могли быть размыты дождем... Знает ли он об этом?

И вот мы идем по дороге, ничего не разбирая впотьмах. Спотыкаемся о камни, шатаемся от сильного ветра. Когда ветер оставляет нас в покое, мне начинает казаться, будто я иду с Узде-нем в забое и над нами не небо, а низкий свод шахты. Только в шахте, как бы темно в ней ни было, я хожу ровно, не спотыкаясь, а здесь что ни шаг, так рывок всем телом то вперед, то в сторону...

Вдали мерцают слабые огоньки. Можно различить свет и в окнах конторы. А вот есть ли там люди — я уже не могу сказать.

— Вот увидишь, скоро взойдет луна... — почему-то немного смущенно говорит мне Вася.

— А как же! Только она узнает, куда мы с тобой идем, сразу засветит нам! — Я готов болтать о чем угодно, очень уж тоскливо идти по этой страшной дороге в молчании. — Вон из-за той вершины она и будет нам светить, пока мы не дойдем до соляного родника! Луна нас не оставит, она будет нашим третьим товарищем в пути.

— Тише! Раскричался! Услышат нас и покажут тебе третьего товарища! Уж кто-кто, а ты должен знать, как здесь разносится каждое слово!

— Ну ладно, постой немного! Вася, я тебе серьезно говорю: надо подумать, что нам дальше делать. Идти осталось недолго, вот-вот встретимся с солдатами. Слушай, а может быть, они сами нам сдадутся, выйдут вперед и руки поднимут?

— Ох ты, ну и болтун! Вот сейчас нас самих заставят поднять руки вверх! Ой, послушай! — Вася схватил меня за руку. — Слышишь, голос?

— Это ветер с той стороны дует. Никто нас сейчас не мог слышать...

— Да в такой ветер и камни зашепчутся... Присядь! Присядь скорей — здесь где-то совсем близко говорят! — Васино дыхание согрело мое ухо.

Мы отошли в сторону, ступая на цыпочках, и засели за круглым камнем. Ветер донес до нас чью-то речь, но мы могли разобрать лишь отдельные слова.

— Почему они идут здесь? Дороги ведь тут нет. — Васин голос дрожит. — А может быть, их ведет кто-то, кому здесь каждый камень хорошо знаком? А может быть, это наших куда-нибудь переводят?

— Подожди, не гадай. Если они пройдут здесь, мы увидим их! А ты не стреляй, надо сперва все рассмотреть. — Я приложил ухо к камню. Как нехорошо получается, если человек разволнуется... Совсем теряет тогда соображение. Разве мог я расслышать разговор и разобрать голоса, приложив ухо к холодному как лед камню, торчащему на земле, как маленькая скала?

— А может быть, это караул сменяется? — почти беззвучно прошептал Вася и пригнул мою голову к земле: дескать, ни звука больше!

Шаги были уже совсем рядом... Голоса же, как нарочно, совсем не доносятся до нас! А вдруг нас заметили и теперь подкрадываются к нам? Я почувствовал судорогу в ногах, спине стало холодно. Ползком приблизился вплотную к Васе, он приник ко мне, и я почувствовал, как бьется его сердце.

Медленными, осторожными движениями вытащил Вася из-за пазухи наган и наставил его на дорогу. Я почувствовал, что мой друг стал спокойнее. И вдруг что-то заставило нас обоих сильно вздрогнуть. Совсем рядом отчетливо прозвучало:

— Так тебе не дали кирку?

— Как ни просил, не дали! А была бы у меня кирка, разве я сдался бы? Разве я из тех, кого можно живьем замуровать в скале? Их сча-

стве, что я был в постели, а то бы не справиться им со мной!

— Это же Данел! — Я все еще говорил шепотом. — Я не я, если это не Данел!

— Папа! — Вася вздрогнул и... раздался выстрел. Эхо разнесло грохот по горам.

Проходящие замерли, а я побежал к ним с криком:

— Это мы! Не стреляйте. Это же мы — Вася и Фидар!

Люди сразу оказались возле нас. Смущенный Вася низко склонил голову. Наган он держал в опущенной правой руке.

— А вдруг ты кого-нибудь ранил или убил? Говорил ведь я тебе — не стреляй!

Васин голос прозвучал виновато:

— Да он сам выстрелил... Когда я услышал папин голос, он почему-то выстрелил...

Петр взял наган из Васиных рук, передал его Хамыцу и обнял сына.

— Надо поскорее уходить отсюда. Вдруг они услышали выстрел? Еще тревогу поднимут!

Мы все пригнулись и уползли в сторону.

Через некоторое время Хамыц спросил:

— Что вы делали здесь ночью?

— Шли освобождать Данела!

— Вдвоем?

— Да, а что?

— Ничего, да вот, — Хамыц на минуту задумался, — чуть было не выстрелили в нас. Солдаты нас не расстреляли, а вы могли убить! Наган-то какой! Откуда он у вас?

— Это наган Мусса, — ответил я.

— Мусса? А как он очутился у вас?

— Нашли под висячим мостом.

Вдруг около нас оказался Данел.

— Спасибо тебе, сын моего друга. Большое спасибо... В твоих жилах течет кровь Кайсына! Отец бы гордился тобой! — Данел сдвинул на затылок свою лохматую шапку и спросил: — Так вы шли освобождать нас? И наган прихватили для этого? А что в Садоне? Что там нового?

— Сегодня видели ваших. Они ходили в контору...

— Ну, зачем это они? Напрасно только унижались...— Очевидно, Данел уже знал о сегодняшних событиях.— А вот интересно, где сейчас Майрам? Хорошо хоть, что ему помогли, спрятали раненого...

— Вечером его унесли из пещеры, а куда — не знаем. Рана его не такая страшная, жить будет...

Я знал, что Данел захочет узнать об Уздене, и первый заговорил о нем:

— Узденя я проведаль. Ходил, бедняга, один по забою. Я привязал его наверху и сена положил.

— Молодец, Фидар! Хорошо сделал. Лошадь могла забрести куда-нибудь и свалиться в пропасть.

Хамыц и Петр шли за нами. Они взволнованно, хотя и негромко обсуждали что-то. Данел замедлил шаг, чтобы присоединиться к разговору.

— Скажи, Хамыц, а что тебе еще говорил Серго?

— Не знаю, чем ты ему так понравился, но прежде всего он спросил меня о тебе. Знаешь, как он тебя называет? Уральским осетином.

— Знаю. Я ему говорил: «Если ты меня так окрестил, вроде бы новое имя мне дал, то, пожалуйста, крестный, дари рубашку! Так у «нас», осетин, полагается! «Он провел пальцами по усам и говорит: «Ишь ты, как он знает осетинские обычаи, вот поэтому я и говорю — уральский осетин!»

— Очень он мне понравился! — сказал Хамыц.— Такой простой человек, отзывчивый... Я его видел уже два раза.

— Да будь он другим, его бы сюда к нам и не послали,— серьезно, не спеша произнес Петр.

Я потихоньку спросил Данела:

— О ком это они?

— Об одном очень умном и справедливом человеке. Его прислали сюда наши друзья из России, те, которые нам желают большого добра.

Данел говорил прерывистым голосом, а потом присел на корточки и, закрывшись шубой, зашелся в кашле.

Петр остановился и, подождав, пока кашель прошел, сказал:

— А ты, Хамыц, знаешь, какой подарочек тебе приготовили? О Мусса слышал? Да, вот оно и есть. Я, правда, не очень-то верю, что он сам слетел в пропасть. Да еще вместе с конем! Только кто это мог на такое дело решиться?

— Кто-то это вместо меня провернул... Ну и спасибо ему! А я об этом слышал, конечно, слышал, ведь когда что-нибудь происходит с известным человеком, то об этом и в глухом лесу говорят! — улыбаясь, ответил Хамыц.

Вася потянул меня за рукав и приложил руку ко рту: не проболтайся, мол...

— Фидар,— обратился ко мне Хамыц,— ты знаешь, где живет Данел?

— Нет, но если надо, разыщу.

— Отправляйтесь вместе с Васей. Скажите жене и дочери Данела, что на рассвете, не позже, а еще лучше — ночью они должны уйти из Садо-на. Понял меня? Ну ступайте. Здесь вы не нужны, а им это передать — дело очень важное!

— Наган бы,— протянул я руку к Хамыцу...

— Ни к чему он вам... Еще попадетесь с ним, большую беду навлечете на всех. По мосту не идите, ступайте пока по берегу, а дальше перебирайтесь уж по камням. Берегитесь пого-ни!

— Ну что ж,— сказал Вася, беря меня за руку, но глядя на Хамыца,— пошли скорее! Тот выстрел совсем случайно получился. А как бы нам наган пригодился...

— Не задерживайтесь, мальчики.— Хамыц будто и не слышал Васиных слов.— Помните — держитесь закоулков, чтобы никто вас не видел. Данел, ты им все сказал?

— Пожалуй, да. Скажи моим, Фидар, пусть поедут пока в аул к родным жены, им там будет спокойнее. Сегодня могут переночевать у соседей, а завтра чуть свет в аул...

Некоторое время мы шли с Васей молча. Но когда переправились через реку и поднимались вверх по горе, я не удержался:

— Ну что, рад, да? Такой прекрасный наган... Говорил — не стреляй! Говорил или нет?

— Ну ладно, говорил... Мне, думаешь, не жалко? И так душа болит... Взгляни-ка, кто это там у моста?

Не так просто было в темноте рассмотреть, что делается на мосту. Я увидел нескольких конных, услышал цоканье подков. Что нам оставалось делать? Мы пригнулись и замерли. Но вскоре все утихло, топот постепенно замер, как бы растаял в ночной темноте. Опять наступила тишина, только шум реки слегка нарушал ее, да иногда еще ветер доносил издалека хриплый лай собак.

Время было еще не позднее, но нигде не горел свет. Неужели под всеми плоскими крышами верхнесадонских домов уже спят? Мы только на следующий день узнали, что, боясь полицейских, люди плотно завесили свои окна.

Темно было и в доме Данела. Лишь войдя во двор, мы увидели тоненькие полоски света, вырывающиеся из узких щелей ставен. На наш стук долго никто не откликнулся, а потом женский голос тихо спросил:

— Кто стучит? — Спрашивала дочь Данела.

— Свои, открой, Меретхан. — Я говорил очень решительно, но почувствовал, что мои щеки начинают гореть.

— Кто это — свои? — И когда я назвал себя, звонкий голос за дверью произнес со вздохом облегчения: — Гыцци, это Фидар!

Дверь открылась, и мы вошли. Мать и дочь молча смотрели на нас, и в их молчании я почувствовал тревогу и страх. Угольно-черные глаза Меретхан были широко раскрыты и неподвижны. Я посмотрел на нее и удивился цвету ее губ — она, видно, только что ела малину. Где же она раздобыла глубокой осенью свежую малину?

— Данел на свободе! — выкрикнул я.

Меретхан крикнула: «Фидар!» — и бросилась

ко мне. Она схватила меня за плечи, звонко поцеловала в щеку и убежала. В дверях она остановилась, обернулась ко мне и еще раз сверкнула на меня глазами. Она назвала меня по имени... Какое, оказывается, у меня красивое имя...

— Не судите ее, очень уж обрадовалась она! — Мать Меретхан была смущена. — Она так тревожилась за отца, сама не своя стала... А теперь такая радость...

Хозяйка усадила нас за стол, принесла горячий чурек и сыр. Видно было, что она готова отдать нам все самое лучшее из своих припасов... Уставшие глаза ее засияли после первых же наших слов. Даже известие о том, что ей с дочерью надо сразу же покинуть дом, не расстроило ее.

— Меретхан, принеси кислое молоко. А может быть, вы хотите воды? — Ей не сиделось спокойно.

— Все будет хорошо, вот увидите! — Вася сказал это так спокойно и уверенно, будто это от него зависит. При этом он не торопясь отхлебывал кислое молоко, поданное Меретхан.

А я хоть и был очень голоден, но не решался дотронуться до чурека. Пить мне не хотелось, но пришлось, потому что Меретхан немного обиженно сказала:

— Фидару, наверное, не нравится наш напиток, и я напрасно ходила за ним!

— Еще принести? — спросила она, когда я осушил чашку.

Вторую чашку я тоже выпил залпом — еще бы, ведь ее наполняли для меня руки Меретхан!

— Разве его напоишь такими чашками? Ему надо дать сразу целый кувшин, — дожевывая сыр, сказал Вася.

Меретхан рассмеялась и закрыла лицо руками. Мать указала ей взглядом на дверь, и девушка неохотно ушла. На прощанье она оглянулась и весело улыбнулась мне. Я еще раз удивился цвету ее губ.

Опять темнота. Опять шагаем мы вдвоем с Васей, стараясь держаться в стороне от дороги. Как мне хочется обратно в домик Данела! А Ва-

ся все подшучивает надо мной и упрекает меня в неумении вести себя в чужом доме:

— Ну выпил бы одну чашку, ладно, а то набросился на молоко, как голодный теленок, да и девушку сколько заставил бегать!

Я не обращаю внимания на Васю, мне не до него. Если говорить откровенно, то я не понимаю, что со мной происходит, почему так сильно бьется мое сердце и горят щеки. Я не смотрю под ноги и ничего не вижу кругом — перед моими глазами мелькают то сверкающие глаза Меретхан, то ее малиновые губы...

— Куда? Стой! — Вася схватил меня за руку и оттащил назад. Я посмотрел себе под ноги и вздрогнул — я стоял почти на краю скалы. Огни Нижнего Садона сверкали внизу.

3

За окном раздалось несколько выстрелов. Кровать подо мной затрещала, со стены посыпалась штукатурка. Вскочив, я пощупал прежде всего свой лоб — на нем была шишка с куриное яйцо. Я находился в чужой комнате. Петр велел нам всем уйти из Садона, и вот мы уже три дня живем у его друзей. Пока я одевался, звуки выстрелов отдалились. Доносилось цоканье подков по камням. А Вася так и не проснулся. Я понимал, что Дарья не выпустит меня сейчас на улицу, и прошел к дверям на цыпочках, как можно бесшумнее.

На пороге я столкнулся с Дарьей. Она стояла, держась за столбик, кутаясь в старую рваную шубу мужа.

— Всю ночь они не могут успокоиться, — Дарья указала рукой в сторону Садона. — То вся их компания, и конторские и полиция, в Верхний Садон отправляется, перебаламутит там всех, то опять к конторской площади возвращается. И так всю ночь!

Рассветало. Луна уже исчезла. На вершине горы мерцала Большая Медведица. Одна за

другой таяли звезды. Из окон конторы тускло поблескивал свет, можно было разглядеть на площади коней и суетившихся возле них людей.

На улице никого не было видно. Но я был уверен, что люди так же, как и мы с Дарьей, следили за суетой на площади из своих щелей.

— Надо мне скорей пойти, а то не застаю наших, — сказал я и взглянул вопросительно на Дарью. И когда она утвердительно кивнула мне, я продолжал уже твердо: — Пойду мимо конторы, обо всем узнаю.

— Возьми там свою сумку из козьей шкуры, все забываю, как вы ее называете...

— Хурджин...

— Да, да, хурджин. Я тебе еду в нее положила. В контору не ходи, не надо. Оттуда выносят вещи, нагружают лошадей. Удирают они, что ли? Иди, детка. Где сможешь, сокращай путь, поскорее доберись до Хамыца и других. Скажи им — начальство из конторы бежать собралось. Из местных нашлись такие, которые взялись переправить через Святой хребет всю компанию.

Я закинул хурджин через плечо, попрощался с Дарьей и зашагал. Сперва идти было легко, но, когда я спустился в ущелье, стало темно, холодно и страшно. Я перебирался через речку, перепрыгивая с камня на камень, спотыкался, падал, вскакивал и, не замедляя шага, опять бросался вперед. Несмотря на холодный ветер, я так вспотел, что моя рубашка намокла и прилипла к телу. Случилось и так, что я очутился по колено в ледяной воде. Хурджин мой соскользнул с плеча, и быстрый поток чуть было не унес его. Но я поймал мешок и побежал, стараясь, чтобы ноги не замерзли. И все же ноговицы плотно прижались к икрам и леденили их.

Хурджин все тяжелее давил мне на плечо. Узкая веревка больно врезалась в тело, но я не мог остановиться, чтобы сдвинуть ее. Вдруг я не застаю Хамыца? Эта мысль гнала меня вперед, переносила с камня на камень, с одного берега на другой. Дорога мне казалась длиннее, чем всегда, а шаг мой — медленнее.

Намокшие суконные чувяки заledenели, ноги стали скользить. Я упал один раз, потом опять и опять. Вскоре стал передвигаться больше с помощью рук. Я цеплялся за камни, ловил облепленные инеем березовые ветки, повисал на ореховых кустах. А потом я подымался вверх, подбадривая себя тем, что главное — добраться до гребня, спуститься будет уже легче... Может быть, меня еще кто-нибудь увидит. Вдруг это будет Хамыц?

Оглядываться я не решался. Внизу, в далекой глубине узкого ущелья, грохотала быстрая, злая речка. Чем ближе я был к вершине горы, тем грознее разыгрывалась буря. Я знал: если у меня закружится голова, я не удержусь, и меня швырнет вниз, в бурлящий поток. Руки слабеют... Сколько еще я смогу продержаться так? Скорее, скорее перевалить бы через гору. Буря не дает мне покоя, как ни прячусь я за камни, как ни отворачиваюсь от нее... Она колет мне глаза, бьет по лицу песком и щебнем, рвет с меня шубу, стаскивает хурджин. Пожалуйста, забирай себе мою еду, бери мою шубу, только дай мне добраться до перевала! Я опять и опять хватаюсь за мерзлый можжевельник, обнимаю холодные камни и подтягиваюсь вверх на своих израненных в кровь руках.

Над рекой клубится сизый туман, на востоке делается все светлее.

Я уже вижу рябину на вершине горы. Она машет мне окоченевшими от мороза ветками: «Ну, еще немного! Бодришь! Дай руку!»

До земли склоняется макушка доброй рябины. Еще раз подтянусь и крепко обниму тебя, мой новый друг!

И вот я бросаюсь вперед и хватаюсь за оголенную ветку. Рябина сотрясается, даже камни вокруг нее зашевелились, но корни ее сидят крепко. Рябина, спасительница моя! Кто посадил тебя здесь на мое счастье?

Нет, не стало мне легче идти после перевала! Буря опять трепала меня, швыряя из стороны в сторону. Вдруг я почувствовал, что у меня за-

кружилась голова, я упал и покатился по склону вниз. Я успел крикнуть:

— Хамыц! — Ведь я был уверен, что он уже где-то здесь недалеко...

Очнувшись, я прежде всего почувствовал острую боль во всем теле — в руках, ногах, голова тоже болела. Чьи-то ладони поддерживали мою голову, рядом звучал знакомый голос. С трудом открыл я глаза. Надо мной низко склонилось худое, небритое лицо Хамыца.

— Очнулся! — радостно сказал он, не отводя от меня глаз, и тут же возле меня очутились Данел и Петр.

— Теперь можно поднять его. — Данел просунул руку мне под лопатки и приподнял меня. Мне показалось, будто во мне что-то сломалось, и я закричал. Данел сразу понял, в чем дело: — Рука вывихнута, левая. — И он потянул мою руку одним сильным движением.

Сперва мне показалось, что Данел оторвал ее, но постепенно боль стала утихать. Наконец я смог заговорить:

— Начальники из конторы уезжают. Их поведут через Святой перевал. Вещи на лошадях. Надо скорее, а то уедут...

— Через Святой перевал? — задумчиво спросил Хамыц. — Какая это собака поведет их там?

— Теперь уже неважно кто! Скорее к лошадям. — Петр был очень взволнован. — Данел, оставайся здесь! Сообщишь все нашим, они скоро сюда приедут из равнины, объяснишь, куда мы уехали. Помни, как мы условились: занимайте свои места сразу, когда увидите костер на башне аула Мельничного. А мы соединимся с садонскими, они придут с рудников. Вы позаботьтесь здесь о Фидаре...

— О Фидаре не беспокойся, — ответил Данел.

Я только сейчас заметил, что нахожусь в пещере. Яркий свет огромного костра освещал закопченные сводчатые стены.

Мне припомнилась другая пещера — та, в которую мы втащили смуглого, высокого человека

из Туальской долины, Майрама... Он был ранен. А меня почему втащили в пещеру? Неужели я не отправлюсь с Хамыцем, а буду лежать здесь? Где мои чувяки? Хорошо бы на всякий случай иметь их под рукой... Ага, вон они, сушатся над костром, кверху подошвой. А рядом с ними и ноговицы. Чувствую, что мои ноги закутаны во что-то теплое, они уже согрелись, только пальцы еще немного ноют от холода. Я приподымаюсь и вижу, что накрыт бешметом Хамыца.

— Возьми свой бешмет, Хамыц!

Опираясь на правую руку, я встаю и тут же прислоняюсь к стенке пещеры. Хамыца мне уже не видно. До меня доносятся его слова издали:

— Сейчас же надень его на себя!

Затем я услышал цоканье копыт, и лохматая шапка Хамыца мелькнула из-за выступа скалы. Я бросился к выходу из пещеры, но вдруг почувствовал такую сильную боль в ногах, что голова у меня закружилась, и я потерял сознание.

...Наверное, я стонал, потому что услышал голос Данела, доносившийся до меня как бы сквозь туман:

— Крепись, сын моего друга! Крепись, дорогой! Скоро тебе будет легче!

Иногда мне казалось, что возле меня не Данел, а его дочь Меретхан. Она протягивает мне чашку с кислым молоком, которое вдруг превращается в красный цветок. Потом Меретхан исчезает, и появляются мама, бабушка, Вася... Кого только я не видел, с кем не говорил!

Когда я пришел в себя, Данела возле меня не было. Я дополз до выхода из пещеры и огляделся. Утесы напротив были освещены солнцем. Со стороны моста доносилось цоканье подков о камни. Я всмотрелся в ту сторону и заметил, что на площади сутились люди, переговариваясь о чем-то...

Наверное, это уже собрались все наши — садонские, мизгурские, туальские, алагирские... А я как же? Неужели я не смогу быть сейчас вместе с друзьями моего отца? Они вступят в бой с белыми казаками, о которых люди говорят с нена-

вистью и страхом! Наши поймают пауков из конторы, виноватых в смерти моего отца! А я?! Я буду лежать вот здесь, в пещере! А, что теперь думать об этом! Ну, а пошел бы другой дорогой, тогда остался бы невредим, но опоздал бы передать, что мне поручили! Да и не застал бы их! А не опоздал ли я со своими сообщениями?!

Вдруг меня оглушили ружейные выстрелы. Эхо повторило в пещере их грохот. Сперва я замер, а затем привстал в постели, надел чувяки и ноговицы, накинул на плечи бешмет Хамыца и решил все же двинуться в путь. Быстро и бесшумно, как из-под земли, передо мной возник Данел.

— Что оделся — хорошо, а выходить отсюда и не думай! Жди меня. — Говоря, он набрасывал бурку на плечи.

У выхода из пещеры Данел повернулся ко мне:

— Возьми наган. Хамыц оставил его тебе. Только смотри, стрелять нельзя — он заряжен!

Куда девалась моя досада! Холодная рукоятка нагана согрела меня, успокоила и развеселила.

«Друзья моего отца верят мне! Они считают меня взрослым человеком, разумным человеком!»

Я подошел к выходу из пещеры. Разбойничьим свистом встретил меня здесь ветер, будто обрадовался, что я опять попал в его власть. Ну нет, больше я тебе не сдамся! Выть можешь, сколько твоих сил хватит! Мне не до тебя... Укрывшись за выступом скалы, я стараюсь найти Данела. Около моста мелькают макушки мохнатых шапок. Я видел там и лошадей, они стояли чуть дальше, настороженно поводя мордами. Со стороны аула Мельничного слышны были цоканье множества подков и грохот выстрелов. Мне казалось, что стреляют где-то очень близко от меня, что вот-вот покажутся из ущелья вооруженные всадники. Только со стороны Святой горы ничего не было слышно. Черные тучи закрыли вершины, еще недавно освещенные солнцем. Вот эти

тучи ты, ветер, не трогаешь! Только меня почему-то не хочешь оставить в покое... Сегодня солнце должно согреть нас, должно развеселить все кругом своим радостным светом. Сегодня произойдут дела необыкновенные, замечательные! Не слушаешь ты меня, ветер, не сдуваешь тучи с солнца! Ну что же, может быть, ты еще разобьешь свою разбойничью душу о скалы!

Грохот у поворота к мосту все усиливался. Из-за угла показалось несколько всадников в меховых шапках, более высоких, чем носят наши горцы. Они пригнулись и стреляли назад. Я слышал громкие крики:

— Бейте их!

Как бы в ответ на команду, пули завизжали со всех сторон. Над мостом туманом поднялся пороховой дым.

Я засунул левую руку за пазуху, подвязал ее к плечу шнуром от ноговицы и спрятался за большим камнем. Люди в высоких меховых шапках — я догадался, что это и были казаки, — очевидно, не ожидали нападения и растерялись. Они завертелись на месте, не зная, в какую сторону двинуться. Двое слетели с коней и упали в пропасть, а их напуганные лошади рванулись к мосту. Пули свистели совсем близко от меня.

Неужели заметили меня? Я отполз в сторону, вытянув вперед правую руку с наганом.

Неподалеку, за рекой, я увидел высокие бараньи шапки. Пешие казаки перебежали с места на место и стреляли в разных направлениях. Один из них нацелился прямо на меня. Камень, за которым я только что сидел, разлетелся на куски. После этого стало чуть потише, но я хотел непременно разглядеть того, кто стрелял в меня. Куда он мог деваться? Не двинулся ли к мосту, чтобы обстрелять наших с тыла? Как бы мне сказать о нем Данелу? Ага, вон он, враг мой! Он полз в мою сторону на четвереньках, но я хорошо видел его.

Он доползет сюда раньше, чем я доберусь до наших... Наган! Вот когда он мне понадобится!

Я прицелился в ползущее тело, и вдруг наган вздрогнул в моей руке... загремел выстрел. Как это произошло? Рука моя дрожала, дым шел из дула. Я видел, как вздрогнул казак, как он замер было и опять пополз вперед. Я снова прицелился и осторожно нажал на курок. Выстрел и тут же второй. Человек опустился на колени, схватился обеими руками за живот и упал.

— Пусть это будет первой твоей удачей из сотни! Так и бей их, Фидар! — Голос Данела раздался совсем рядом. Он сидел на корточках, чуть ниже меня. Ружье его дымилось. — А теперь обратно в пещеру! Быстро! — совсем сурово командовал Данел и скрылся среди камней.

Я остался один и задумался. А вдруг это Данел попал в казака? Но почему тогда он поздравил меня? Ведь он сказал: «Пусть это будет первой твоей удачей...» Конечно же он так сказал потому, что я попал в казака. Но ведь мы с ним стреляли одновременно, так или нет? А почему я слышал второй выстрел? Да, если я промахнулся, то Данел попал... А что это так дрожит — моя рука или наган? Как болит левая рука! Она вся распухла, отяжелела... Я пробую пошевелить пальцами — больно! А голова трещит так, будто по ней стучат молотком. Надо скорее лечь... Колени слабеют, голова кружится. Я иду, держась за закопченные стенки пещеры. У меня еще хватает силы засунуть наган за пояс, подбросить щепок в костер, а потом я валюсь на со- лому.

Ржание коней, отдельные выстрелы доносятся уже совсем издалека. Темный свод пещеры начинает кружиться надо мной. Буря врывается в пещеру, ветер беснуется и бьет меня по щекам. Откуда-то здесь очутилась Мила. Как прыгает вокруг меня мой верный пес, как радостно лает! А вот и бабушка в черном платье. Она держит за руку отца... Оба плачут... А почему не пришла с ними мама? Где она? Почему ее оставили? И я пытаюсь крикнуть: «Гыцци!»

Кто-то силится оторвать мою левую руку. Это у него не получается, тогда он начинает ломать ее. Да кто же это? Надо посмотреть, надо открыть глаза... Почему это никак не выходит? Наконец мне удастся разомкнуть веки. Осторожно оглядываюсь. Никого нет. Левая рука лежит у меня на груди. Пробую пошевелиться, получается. Ну, значит, я жив! Подымаю глаза кверху — надо мной не темный потолок пещеры, а ясное синее небо. На вершинах гор — золотой отблеск. А ветер все воет... Где же он, неутомимый, рождается и где конец его?.. Я чувствую, как ветер встряхивает меня, и слышу, как подо мной что-то ударяется о камни. На телеге я, что ли? Но как она могла появиться здесь? Откуда? Я привстаю, но что-то прижимает мое правое плечо, и я валюсь обратно на сено.

— Не раскрывайся! Простудишься...

— Вася!

Холодная Васиная щека припадает к моей, на мое лицо падают его светлые, легкие волосы...

— Где Петр? А Данел?

Вася плотно закутал меня.

— Если будешь раскрываться, не скажу тебе ни слова.

— Ну, пожалуйста, скорее рассказывай!

— Тебе и говорить бы ничего не следовало... Почему вчера удрал один? Мы же сговаривались с тобой...

— Торопился очень... Не сердись... Где же они?

— Торопился? Видишь, что получается, если один за все берешься?

— Вася!

— А что ж ты думал, так я тебе сразу и спущу это? Ну ладно, главное, что Хамыцу успел все сообщить... За это прощаю тебя. Другой раз тебе так это не сойдет! Ну хорошо, слушай. — И Вася заговорил своим обычным голосом: — Да рассказ-то будет короткий. Разбили казаков. Кто не успел бежать, сами сдались. Их собрали на

конторской площади. А лысый-то! Видно, совсем спятил! На всю площадь кричал: «Деньги! Отдайте мои деньги! Я иностранец! Не имеете права!» Кричит, руками размахивает. Ну, руки ему завязали, а глотку ведь не заткнешь! Народ обступил его и смеется. А он орет, а он грозит-ся! Другой — с тонкими усами, помнишь? — сам в пропасть бросился!

— Неужели сам бросился! Зачем?

— Испугался. Его ведь и расстрелять могли. Есть за что... Он это и сам знал!

— Вася, а как ты здесь очутился? Кто рассказал обо мне?

Вася блеснул на меня своими синими глазами:

— А это вот как было. Данел оставил в пещере с тобой двух людей из равнины. Они вооружены, приехали сюда воевать с казаками. Слышал, как их называют? Красноармейцы! Ну вот, Данел велел им посидеть с тобой, а сам поехал в Садон и рассказал нам о тебе. Меня и послали с телегой. Красноармейцы помогли мне перенести тебя сюда и устроить помягче, потом поскакали в Садон. Вот и все.

Вася постарался опять сделать важное и недовольное лицо.

— Народ там радуется, а я — пожалуйста, должен возиться с тобой и смотреть на твою вывихнутую руку! — Но больше Вася не мог выдержать этого тона и весело сказал: — Ой, Фидар, увидишь сейчас всех — и наших, садонских, и из аулов, какие все счастливые, — сразу у тебя все пройдет! Может быть, и из вашего аула кто-нибудь окажется в Садоне!

— Вася, погоняй лошады! Спит она, что ли? Слушай, а как с этим?.. Узнали?

— Конечно. Сколько же можно скрывать? Отец пришел домой, было уже очень поздно, и опять собрался уходить. Уже на пороге подозвал меня и говорит: «Узнал бы ты, кто это такую хитрую штуку придумал с Мусса». Ну, я уж не выдержал и рассказал, как все было.

— Ругал он тебя?

— Да нет! — Вася улыбнулся и приложил

палец к губам в знак того, что пока еще надо помолчать об этом.

Наверное, и Хамыц знает, подумал я, потому и наган оставил мне.

Уже показались побеленные бараки и двухэтажное здание конторы. К трубе конторы был прикреплен большой кусок красной ткани.

— Вася, что это — красное?

— Это красный флаг. Его повесили Хамыц, папа и их товарищи! Ты лежи спокойно, мы уже близко...

За рекой по узенькой тропинке медленно шагал Уздень. Он опускал голову так низко, будто подбирал соломинки.

— Свалится! Как он попал сюда? Наверное, ищет, бедный, Данела или меня.— Я готов был уже кричать Узденю: «Смотри не свались на другой берег реки!» — но вдруг увидел бегущую к нам женщину. Впереди нее мчалась лохматая черная собака.

— Нана!

Я сполз с телеги и оказался в объятиях бабушки. В эту минуту куда-то исчезли все мои болезни и раны.

— Ты жив, мой дорогой!

По худому, морщинистому лицу бабушки текли слезы. Она быстро ощупала мою спину, плечи, вывихнутую руку. Ее легкие руки не причинили мне боли.

— У тебя ушиблена рука? И на лице синяки! Подожди, ты и хромаешь?

— Ничего, нана, это все пройдет. Вы как? А где гыцци? Неужели она все еще больна?

— Ей лучше, гораздо лучше! Уже поднимается! Но что же это с тобой? Неужели в самую переделку попал? Слава богу, жив остался! За это надо бы поднести дары покровителю мужчин и путников Уастырджи на золотом подносе!

А что творилось с Мила! Она не находила себе места от радости: бросалась мне на грудь, проскакивала между ногами, отчаянно лаяла, подскакивала, кружилась вокруг нас!

Так мы и двигались вдоль улицы Садона —

впереди Мила, с одной стороны телеги бабушка, с другой — Вася. Бабушка с гордостью оглядывалась на людей, и взгляд ее говорил: «Вот мой внук, мой Фидар. Видите — его рука перевязана, а лицо в синяках! Это потому, что он был в бою вместе с друзьями своего отца, моего покойного сына...»

Около дома Петра мы увидели Меретхан — она бежала навстречу нам. Увидев бабушку, она смутилась и остановилась у забора, но глаза ее встретились с моими и засияли еще ярче. Ее платок упал на плечи, она сжимала рукой его край...

— Меретхан! Смотри, Фидар, вон Меретхан! — Вася радостно махал рукой в сторону своего дома.

Мне хотелось крикнуть: «Меретхан, иди сюда, иди к нам! Неужели ты боишься моей нана?» — но на это ушло бы много времени, и я просто слез с телеги и пошел к Меретхан. Она бросилась к нам, потом остановилась, потом опять побежала и громко крикнула:

— Фидар!

Я стал возле Меретхан и ее же платком вытер слезы, которые — вот уж ни к чему! — текли у нее по щекам.

Мы стояли с ней молча, и я слышал разговор бабушки и Васи.

— Чья это, такая славная?

— Дочь Данела, Меретхан...

— А! Данела!

...На балконе конторы у перил стояли Хамыц, Петр. Незнакомый человек в очках и военном мундире громко говорил:

— Всеми замечательными богатствами края вы будете владеть сами. В радостный день, когда над вашими горами водрузилось красное знамя, я приветствую вас от имени большевиков! Красное знамя разгонит все тучи, все беды, и ни единое облако не омрачит вашу новую, светлую жизнь!

В это время я всегда завязывал узелок. Сегодня стоит завязать самый большой узел!

Опускаю руку в правый карман — шнура нет! В левом тоже нет! Ну что ж, тем лучше — можно ли отмечать первый день новой жизни на старом шнуре? Пусть со старым шнуром пропадут все мои напасти, я найду новый и завяжу на нем первый узел!

Петр и Хамыц увидели меня в толпе. Они пошептались между собой, и Хамыц исчез с балкона. Вскоре он появился возле меня.

— Ну-ка, герой, покажись! Давай отойдем отсюда, я тебе хочу что-то показать!

Мы выбрались из толпы, и Хамыц повел меня за угол конторы. Бабушка шла за нами. Незнакомый человек, держа за уздечку крупного гнедого коня, подошел к нам.

Хамыц внимательно посмотрел на меня и, улыбаясь, спросил:

— Наган у тебя?

— Вот он, — я вытащил его из-за пазухи.

— Он тебе сейчас не нужен, правда? А вот этот конь пригодится, верно говорю? — Хамыц передал в мои руки уздечку. — Что за горец без коня? Ястреб без крыльев — вот он кто...

Бабушка разволновалась:

— Как же мы расплачиваться будем? Такой дорогой конь...

— Айсаду, дорогая, это же подарок! Фидар заслужил его! Он настоящий мужчина, хоть годами еще мальчик! Кайсын не стыдился бы своего сына. Бери лошадь, Фидар! Ее никто у тебя не отнимет. Хозяин ее уже на этот свет не вернется. Правда, Фидар? — Хамыц посмотрел на меня с хитрой улыбкой.

«Вот что! — подумал я про себя. — Наверное, ее хозяином был казак, которого я уложил». И я вопросительно взглянул на Хамыца. Он кивнул мне и тут же оставил нас.

Конь склонил ко мне свою красивую голову и потерся влажной мордой о мою руку. Мила очень разволновалась. Она закружилась вокруг меня и бросалась на коня.

— Мила, это ведь наша лошадь, наша, понимаешь? Что же ты лаешь на нее, глупая?

Я накрутил уздечку на руку и хотел было уже вскочить на седло и помчаться домой. По горам, по теснинам, через бурлящие реки пронес бы меня конь! Перед моими глазами стоит пораженная мать, верит и не верит моим словам: «Гыцци, дорогая! Твой сын — настоящий горец! Посмотри, какого скакуна получил он от друзей отца!»

Я уже собираюсь занести ногу в стремя, но что-то заставляет меня остановиться.

Где они? Где она? Сердце мое бьется тревожно и радостно.

Вот они стоят — отец и дочь! Четыре темных теплых огонька светят мне.

Горите, сверкайте, чудесные глаза Данела и Меретхан!

Никогда уже не будет мне без вас радости и счастья, без вас будет тесно в горах и холодно в солнечный день!



сетинская быль

1. ТАК НАЧИНАЛОСЬ УТРО



осток уже пылает, будто там, за горой, развели огромный костер, но солнце еще не взошло. Сквозь рваные тучи запоздало выглядывает месяц. Наверно, он сбился с дороги и дневной свет настиг его над вершинами хребта. Оттуда, с ледников, тянет прохладой. Трава кругом поблескивает серебристыми бусинками росы.

Я стою неподалеку от нашего маленького стана с непокрытой головой и в ватнике на голое тело. После ночного дождя мои сапоги увязают в земле. Я смотрю на наше село, на горы, оглядываю поля. Как скаковые кони, готовые ринуться вперед, выстроились наши тракторы, выглядывая из-под плетеного навеса.

А трактористы спят. Слышен протяжный храп. Это, конечно, Дебола храпит. «Наш старший», «наш тамада». Когда трактористы ворчат, что он спать по ночам не дает, Дебола сваливает все на войну, вернее, на какого-то немецкого офицера, который повредил ему нос в рукопашной на Одере. Провалиться бы этому офицеру сквозь

землю, набросился на Дебола, как дикий кот. Дебола потерял равновесие и носом уткнулся в торчащий пенёк. «О, настал мой последний час», — подумал тогда Дебола и, изловчившись, схватил офицера за горло. Офицер еще успел разок пискнуть, да так и остался лежать с вылезшими из орбит глазами.

Когда об этом рассказывает сам Дебола, в правдивости этой истории никто не сомневается. Руки у него как кувалды... Пусть только дотянутся до горла врага! Вот и сейчас он разбросал свои огромные руки по постели и кулаки лежат, точно булыжники. От могучего дыхания шевелятся его черные усы, словно ветер колышет тимOFFеевку. Нос у него с горбинкой, и на месте ушиба остался шрам с фасолинку. Он нисколько не уродует его. А некоторые утверждают, что этот шрам даже идет ему. Других ран не видно, и, хотя они его беспокоят больше, чем нос, о них он никогда не говорит. Шрам на носу его мучил, пока он к нему не привык. Ему все казалось, что нос чем-то запачекан, и он тер его то платком, то рукавом, поминутно скашивал на нос глаза, словно следил за своим шрамом, как бы тот не исчез.

Рядом с Дебола под одеялом свернулся калачиком «наш посыльный» Сабаз. Дебола в шутку называет его еще и «Пенек». Правда, по росту Сабазу это прозвище подходит. Но все же мы стараемся не называть его так. Хотя он открыто и не протестует, но мне кажется, что ему это неприятно.

Сабаз приходится Дебола племянником. Отец у него умер, когда он был еще совсем маленьким. Мать вторично вышла замуж, а мальчик так привязался к дяде, брату матери, что не захотел жить дома и сбежал к Дебола, в поле, к тракторам. Сколько Дебола ни уговаривал его, чтобы тот не оставлял школу, ведь всего-то семь лет проучился, он не послушался. С детства он дружит с машинами. Хлебом его не корми, дай посидеть в кабине. И надо сказать, что паренек не просто привык к трактору, он изучил его. Но Дебола говорит, что в этом году ни в коем слу-

чае не оставит мальчика без школы, а если Дебола что-нибудь решил, то уж непременно так и будет. Сабаз вполне согласен с дядей, но при этом говорит, что если даже профессором станет, то все равно трактор никогда не бросит...

Из-под одеяла выглядывает взлохмаченная голова Сабаза. Он сладко спит. И пусть себе спит. Устал за день, хоть никогда не признается в этом. Скоро проснется его наставник, и тогда Сабазу придется притащить три-четыре ведра воды. Меньше Дебола не устроит. Раздевается он до пояса. Волосатые плечи его напоминают клочья войлока. Вода струей сбегает по его носу, и он начинает брызгаться и фыркать, как медведь. Каждый раз у Сабаза оказываются мокрыми рубаха и брюки. Иногда парень не выдерживает и начинает ворчать:

— Хорошо, умывайся на здоровье, но зачем меня мочить?

— Что ты сказал, Сабаз? Говори громче, не слышу, — отвечает Дебола, будто и в самом деле не слышит племянника, и начинает фыркать еще ожесточеннее.

— Ах так! — Парень все ведро выливает на дядю и отбегает в сторону. — Чего ты заставляешь меня таскать воду, лучше пойди на речку и мокни в ней, сколько твоей душе угодно.

— Что ты сказал? Говори громче, не слышу... Лей, куда ты делся?

А мы всегда с нетерпением ждем, когда Дебола начнет умываться. Уж очень это смешно. И хотя я работаю с ними уже два месяца, я еще никак не могу привыкнуть к шуткам Дебола, потому что все разговоры, в особенности с племянником, он начинает с очень серьезным видом:

— А ты у сержанта спросил? Сержант тебе разрешил? Сержант не обидится?..

Это в мой адрес. Я уже давно снял военную форму, а он меня все сержантом величает. А трактор мой называет самоходным орудием. Однажды ночью он сыграл со мной такую шутку. Притащил откуда-то старую маслобойку. Это такой деревянный сосуд, в котором сбивают мас-

ло. Написал на боку этой маслобойки: «Смерть фашистским оккупантам!» — и прицепил ее к моему трактору. Всю ночь я ее возил и только утром заметил, когда уже все вокруг смеялись.

Веселые у меня товарищи, но все же Дебола лучше всех. Сначала он производит такое впечатление, будто вовсе не умеет сердиться. Но однажды мне случилось быть свидетелем того, как он поджаривал на вертеле председателя колхоза.

Одному районному работнику председатель пообещал вспахать землю под картошку, ничего нам об этом не сказав. Через неделю тот, видно, отчитал как следует нашего Дзибо: почему, мол, подвел. И председатель прискакал к нам.

— Бросай сейчас же работу, надо вспахать поляну за дубняком, — задыхаясь, как загнанный лис, говорил Дзибо, тыча пальцем в сторону леса. — Пожалуйста... Чтобы до вечера вспахал... Я обещал человеку неделю назад, неудобно получилось. Он уже семенной картофель давно в лес свез...

— Кто он, кому это так некогда? — спокойно спросил Дебола.

— Ты бы меня еще спросил, кто его деды и прадеды. Человек! И не задерживайся, а то он ждет, — сказал Дзибо, и у него при этом почему-то задергалось левое плечо.

Дебола, наверное, знал, для кого нужно пахать, и спокойно заметил:

— Дзибо, ты сам знаешь — мне семьей пора обзаводиться, поэтому я задумал строить дом. Если он мне немного поможет стройматериалом, так же вот, как тебе весной, когда две полные машины подбросил, мы ему с Ахсаром мигом всю поляну вывернем со всеми червями и мышами...

Левое плечо Дзибо задергалось еще сильнее, он часто-часто заморгал, и его острый нос покрылся испариной.

— В какой это поминальный день тебе об этом говорили? — спросил Дзибо и подбоченился левой рукой, будто хотел унять дрожь в плече.

Дебола нехотя улыбнулся:

— Нам некогда ходить по поминкам и слушать бабьи сплетни. Мы больше своим глазам верить привыкли.

— Ну, если тебе некогда или неохота, так прямо и говори, и нечего сказки рассказывать! Я заставляю других вспахать, хоть на лошадях!

— Ты — председатель, и если захочешь, не то что на лошадях, а на буйволах пахать заставишь, — посмотрев почему-то в мою сторону, проговорил Дебола.

Дзибо ничего не ответил, сел в машину и уехал.

— Теперь берегись. Расстроил ты его, — сказал я, провожая взглядом машину.

— А чего мне его бояться? Снимет с работы, что ли? Я могу уехать и в другое село. Трактористы везде нужны. Знаешь, для кого он старается? Для заведующего райпо Гаппо Муртазова. Дружки они. Одним словом, почешу меня, а я почешу тебя... Или как у нас говорят — плешивая лошадь о плешивую лошадь трется... Понял?

Дзибо стал председателем нашего колхоза, когда я был в армии. До этого он был старшим лесничим. Меня немало удивило, что его выбрали председателем. Вокруг столько хороших людей, а выбрали человека, который, будучи лесничим, за каждую веточку взятки брал...

Уже рассвело, а Дебола и другие трактористы еще храпят вовсю. Наверно, Сабазу холодно, и он прижался к дяде. Дебола обхватил его своей волосатой рукой.

После ночного дождя прохладный утренний воздух пощипывает ноздри. Щебечут птицы, шумит река Таргайдон, жужжат пчелы... Сегодня почему-то все имеет особое звучание. Под обрывистой горой, ближе к реке прилепились дома нашего села. Один дом солидный, из красного кирпича, остальные поменьше, беленькие. От столбовой дороги к селу тянутся две ветки — одна с севера, другая с востока, сходятся они посреди села. Эти две дороги связывают село с внешним миром, по ним расходились его сы-

новья в разные концы страны, по ним же и возвращались домой.

И хотя наше село расположено недалеко от главной дороги, все-таки в дождь и слякоть не так-то просто попасть к нам. Дороги, которые связывают село с главной магистралью, носят весьма необычные названия: Лошадиные уши и Брюхо вола. Рассказывают, что как-то лошадь на одной из этих дорог провалилась по самые уши, а на другой — вол провалился по брюхо. Теперь по опушке леса собираются проложить новую дорогу и заранее придумывают новое название для нашего села: Южное, Солнечное, Рассвет... А Сабаз предлагает назвать наше село Ракетой. Современно, ничего не скажешь! А кому охота отставать от жизни?

В общем-то люди правы. Грязи — неблагозвучное слово. Наше село достойно лучшего названия. Ведь весь район гордится нашими фруктами. Перед самыми почетными гостями хвастаются плодами из села Грязи.

Несколько лет тому назад нас присоединили к колхозу «Победа», и мы превратились во вторую бригаду. Полтора года мы тянули лямку. Нас терпели, как не очень желанных соседей, дела не ладились, и нас опять отделили, и мы стали называться по-прежнему — колхоз «Вперед».

Село наше расположено вдоль тенистой горной речки. И какое же трогательное придумали ей название — Таргайдон («Обиженная»). Наверно, потому так называли ее, что она часто разливается. Летом ранним утром над рекой стелется голубоватая дымка, с ущелья несет живительной прохладой. Откуда только не приезжают к нам люди отдыхать! В летние месяцы стоит немного пройти по ущелью — и увидишь, как в ряд выстраиваются палатки. Отовсюду доносятся звуки гармонии и аппетитный аромат шашлыков.

И хотя зимой тебя считают скучным, наше маленькое село, ты несравненно лучше многих других сел...

Вот по этой нижней дороге уезжал я три с половиной года назад. А возвращался по верхней,

тогда акации были в цвету. Там чуть левее школы виднеется краешек черепичной крыши. Две маленькие комнатки, узкая веранда. Это и есть наш дом. Хотя его и не видно из-за деревьев, но я его узнаю с любого расстояния.

Дом Данела — так говорят односельчане, когда заходит речь о нашем доме. Это имя моего отца, которого я никогда не видел. Только на фотографии. На ней он совсем молодой, моложе, чем я сейчас.

Сын Айсаду — так чаще всего говорят про меня старшие. И я не обижаюсь. Наоборот, мне приятно, что я сын Айсаду. Все, конечно, любят своих матерей. Но мне кажется, что на всем белом свете ни у кого нет такой матери, как у меня. Ведь у большинства людей есть еще и отцы, а то и братья и сестры. А у меня она одна-единственная. Она всех мне заменяет.

Наверно, она уже давно на ногах. Непременно она должна встать раньше всех, а лечь позже. И так всю жизнь. Стоит ей утром появиться на улице, как женщины ее звена одна за другой выбегают за ней, без всяких напоминаний.

Вот и сейчас я машу ей своей фуражкой, я ношу еще армейскую. И кажется, она меня заметила, остановилась. Что-то мне показывает, подняв руку над головой.

— С добрым утром!.. Все хорошо!.. — тихо, чтобы не разбудить товарищей, говорю я.

Я знаю, что она далеко, что она меня не слышит, но мне очень хочется сказать ей «доброе утро», сказать, что мне хорошо с товарищами, что они довольны моей работой...

Вон они перешли мост через Таргайдон. А там на южном склоне в утренней дымке виднеются длинные ряды овощных участков ее звена, ее помидоры. Да, ее помидоры. Так они и называются — помидоры Айсаду. И выращивают их почти во всех колхозах. И там их так называют. Потому что она их вывела перед самой войной. Это была ее дипломная работа в институте. Да, моя мать окончила институт, а до сих пор — звеньевая. И так бывает...

А еще моя мать вывела новый сорт винограда. Помню, с каким увлечением она несколько лет подряд пересаживала, скрещивала виноградные черенки и какие только на них не испытывала удобрения. Зимой переносила их в глиняных горшочках на веранду. И ночами не уставала возиться с ними. Ранней весной она выносила их в огород, накрывала плетеными корзинами, чтобы куры не расклевали.

— Будет, сынок, виноград, будет! Я уверена,— сказала она мне однажды, и ее усталые глаза заблестели искорками.

Я от души радовался. Но через несколько дней, рано утром, когда я еще лежал в постели, в комнату зашла мать. На ней не было лица.

— Что с тобой?

Она с минуту помолчала, а потом кивком головы показала в сторону огорода.

В одних трусах выскочил я в огород. На месте ее черенков валялись растоптанные корзины...

Бедная, как она сразу похудела, какой неразговорчивой стала. Я изо всех сил старался облегчить ее горе, не оставляя ее одну. Но, очевидно, все это я делал слишком неумело. Однажды поздним вечером она села рядом со мной, прижала мою голову к себе и дрожащим голосом сказала:

— Скажи, за что эти муки?..

Что я ей мог ответить? Ближе прижался к ней. На мои щеки падали ее горячие слезы. Я тогда впервые понял, что она говорила о моем отце, которого я никогда не видел...

Из села выехала иссиня-голубая машина. Ее шум перебил мои мысли.

«Кто же это так рано?» — подумал я.

А машина уже спустилась по выпасу, переехала через мост и скрылась за балкой. До меня донесся только шум мотора. Но вот совсем близко раздался скрежет. В прозрачный утренний воздух поднялись черные клубы дыма. Мотор тревожно загудел, а потом заглох. Машина из-за балки так и не показалась. Вместо нее появился человек с закатанными выше колен брюками. Во-

лосы на его голове были растрепаны и походили на веничек, которым обметают корыто для теста. Он крикнул мне издали:

— Эй, вытащи машину своим трактором. Мы застряли тут в грязи!..

Его крик разбудил Дебола, и он присел на постели.

— Кто это, в чем дело? — протирая глаза, спросил Дебола.

— У кого-то машина застряла, просит трактор, пойду погляжу.

— Иди. Если помощь понадобится, крикнешь.

— Хорошо.

— Парень, я же трактор просил. Или ты не расслышал? — заворчал на меня хозяин машины, будто я был перед ним в чем-то виноват.

В таких обстоятельствах любой может расстроиться, поэтому я промолчал. Этого стройного молодого человека я видел впервые.

«Наверно, какой-нибудь начальник. Поэтому и говорит таким властным тоном», — подумал я и отправился к машине.

— Надо было проехать выше, а вы нацелились в самую гущу...

— А еще было бы лучше, если бы я по воздуху перелетел... Ну, чего мы стоим? Я опаздываю. — И он потянул меня за рукав ватника. — Иди, быстрее!..

— А глубоко она застряла, может, и без трактора сообразим?

— Ничего не выйдет, нужен трактор. Каждый раз даю себе слово не ехать в это проклятое место. Такие дороги не для «Волги». В ваше село на ишаках или на волах ездить... Слушай-ка, парень, ты еще не женат? Ну и хорошо делаешь. Если надумаешь жениться, городскую бери или уж из какого-нибудь приличного села, куда бы могла «Волга» пройти.

— А кто вас заставлял приезжать в село, которое вам так ненавистно?

Он, наверно, понял, что я разозлился, и шутливым тоном добавил:

— Любовь, мой молодой дружок... Вот когда ты приведешь чью-нибудь красавицу в свой дом, тогда только поймешь, что такое родственники жены.

— Кто они такие, ваши родственники? — спросил я, хотя уже догадался, что разговариваю с зятем Дзибо.

Он с удивлением и даже с недоумением посмотрел на меня.

— И ты еще считаешься жителем этого села? Нет такого человека, начиная от Дарьяльского ущелья и кончая Эльхотовскими воротами, чтобы не гулял на моей свадьбе. Молва о ней и до сих пор не стихает.

— Я недавно вернулся из армии...

— Тогда понятно. Я зять Дзибо, и живу я в городе. Наверно, слышал обо мне...

— Как же, слышал...

— Тем более хватит разглагольствовать, беги и приведи трактор!

— Что с тобой, Мурат, еще куры не покинули насесты, а ты уже в путь пустился, не выгнали ли тебя родственники? — Неожиданно около нас очутился Дебола и прямо зашагал к машине. — Ну-ка, поглядим, что ты опять везешь? Вот бы нам с Ахсаром такого тестя, как Дзибо. В субботу приехать, воскресенье покутить как следует, а в понедельник рано утром вернуться в город. Не плохо, а?

— Ты что, с обыском пришел? Чего уставился на машину, точно она краденая? — подтягивая штаны, сказал Мурат, подошел к передней дверце машины и застыл в оборонительной позе.

— Погляди, пожалуйста, сколько у него овощей и фруктов! Разве можно так перегружать машину? А кто у тебя там заснул прямо на вишне?.. Почему не поможет тебе? Эй, ты, вставай! Раздавил всю вишню своей огромной башкой, — заглядывая в окно машины, нарочно громко говорил Дебола.

— Отойди! Я вас не для того звал, в наставлениях не нуждаюсь. — И Мурат придвинулся к Дебола. Но, встретившись с его нахмуренным

взглядом, он переменял тон: — Дебола, мы же с тобой не первый раз встречаемся. Ты же на свадьбе у меня гулял, вино пил, шашлык ел... Так чего же ты ко мне цепляешься? Помогите мне, пожалуйста, приподнять задние колеса, всем вместе это ничего не стоит...

Тут из машины вылез Альберт, сын нашего заведующего животноводческой фермой Хамби. Он ошалело смотрел на нас, не понимая, что происходит.

— Чего вы стоите? — наконец сообразил он и сзади подпер машину. — Взяли!.. Еще раз!..

Мурат заскочил в машину. Мотор заработал. Я помогал Альберту. Только Дебола стоял в стороне и улыбался. Машина дрожала, напрягаясь до предела, но не двигалась с места. Наконец ему надоело смотреть на наши муки, он спокойно, вразвалочку подошел к нам, навалился на машину и рывкнул:

— Взяли!

Машина дрогнула, тронулась с места и вырвалась вперед. Альберта всего забрызгало грязью. Он стоял и отплевывался, и зубы его блестели, как кукурузные зерна. Даже на большом расстоянии от него так и разило водкой. Только было я собрался его пристыдить, как из машины послышалось пение петуха...

— Утро... — со злостью сказал Дебола и потянул меня за руку. — Пошли, Ахсар.

— Погодите, хоть по одному рогу... Мы даже не поблагодарили вас. Может, у вас вода найдется? Мы бы немного отмылись, — вслед нам кричал Мурат.

— С немытыми рожами сойдет, — огрызнулся Дебола. Он шагал впереди меня, как утомленный медведь, и не переставал возмущаться: — Легковая машина, отборная вишня, самогон, петухи прямо в машине поют, городская жизнь. И все это за чужой счет... Сабаз, где ты? Скорее воды! — повернувшись в сторону стана, крикнул Дебола и потянулся. Его огромные руки поднялись высоко над головой, как крылья сказочной птицы.

Вечерело. Последние лучи солнца запутались в ветвях старых чинар. Издали казалось — вот-вот запылает лес на гребне гор.

Ноги у меня отяжелели и горели, ныло все тело; казалось, что-то невыносимо тяжелое опустилось на плечи. Рубаха прилипла к спине. Усталый, изможденный Муради шел рядом со мной. Густая дорожная пыль, как кизячный пепел, мягко оседала под его коваными сапогами. Накинув на правую руку выцветший серый пиджак, в левой Муради зажал войлочную шляпу, которую ему вчера подарила старая Дуду. Он жадно озирался вокруг.

Красивы в летнюю пору наши поля и холмы. Поросшие редким кустарником, они трепещут пестрыми головками пахучих цветов. Где-то далеко поют пастухи, вечерний ветерок разносит их песню по полям. Временами до нас долетает девичий смех. Тогда я еще пристальнее вглядываюсь в скошенный луг. Там сегодня женщины сгребают сено, оттуда и слышны их веселые голоса. У меня от волнения дух перехватывает, когда за кустом орешника нет-нет да и мелькнет чья-нибудь белая косынка или пестрое платье. Сапоги мои словно прирастают к земле, и я не в силах оторвать их от пыльной дороги. Глаза невольно косятся в сторону злополучных кустов.

Девушки от нас далеко, и трудно узнать кого-либо по голосу. То одна покажется мне похожей на Залину, то другая. Порой я забываю, что я не один. Девичий гомон завораживает, и как-то так получается, что я замедляю шаг. И тогда Муради уходит вперед.

— Ахсар, ты, может, что-нибудь забыл там, у своих тракторов, все оглядываешься? — вот уже который раз, хитро улыбаясь, спрашивает меня Муради.

Наверно, он понимает, почему я отстаю. Эх, рассказать бы ему о своей мечте, о том, как моим сердцем завладела девушка, которую и он, Муради, хорошо знает. Но разве я посмею даже за-

икнуться об этом? Да и о чем, собственно, я могу рассказать? Ведь я же и самой Залине еще ни слова не сказал. И товарищам я тоже ничего не говорил, но они сами все поняли, по глазам моим поняли, по тому, как я на нее гляжу. А она разве не могла бы понять? Почему же она всегда бросается колкими словами, как горящими головешками? Может, потому, что стоит мне ее увидеть, как я немею, ну, буквально слова вымолвить не могу. Но ведь это только при ней я такой чурбан. Пусть кого угодно спросит...

— Что-то одна из наших косилок долго стоит...— после чрезмерно длинной паузы ответил я и прибавил шаг.

— Может, ее девушки сглазили? — погрозив мне сжатой в руке войлочной шляпой, сказал Муради.

Ох этот Муради! Все-то он понимает, все насквозь видит.

А мне вот непонятно, чего он вдруг меня в сопровождающие взял. Есть же в селе постарше и поопытнее меня люди. Вторые сутки водит меня с собой. И где только мы не побывали: на фермах, на самых дальних кукурузных участках. Казалось бы, что ему в лесу делать? А ведь целых три часа водил меня по нашим лесным склонам. Даже к устью нашей сумасшедшей реки Таргайдон повел меня. Будто я никогда не видел, как Таргайдон зверем бросается с громадной горы. «Я еще мальчишкой,— говорю,— бывал здесь».— «А ты думаешь, я не бывал? Давно, правда, но бывал... Как сегодня, помню, мы втроем сидели здесь последний раз».

И Муради неожиданно для меня назвал имя моего отца. Я постеснялся спросить, откуда он знает моего отца. Как ни говори, ведь он секретарь обкома...

Может быть, поэтому и пал его выбор на меня. Он разыскал меня прямо в поле. Сначала мне показалось, что это машина нашего председателя, а потом, смотря, вылезает незнакомый человек.

— Поезжай в город. Нужен будешь, позволю,— сказал он своему шоферу и прямо по вспа-

ханной земле подошел ко мне. На ходу вскочил на трактор, стал рядом и говорит: — Дай-ка мне руль, Ахсар, я тебя прокачу...

Я твердо знаю, что руль никому доверять нельзя, но тут нарушил это правило, не умея объяснить самому себе, почему я так сделал.

Казалось, он сидит на хорошем скакуне, так гордо поднята была его голова, так уверенно держали его руки руль моего трактора.

Издали послышался голос Дебола:

— Сбавь скорость!..

— Кто это? — не поворачивая головы, спросил Муради.

— Наш старший, Дебола, — ответил я.

— Знаю, знаю... А как Мисурат?..

— Хорошо. Откуда вы их знаете? — с недоумением спросил я.

Муради мне не ответил, только улыбнулся.

После второго захода я посадил на свой трактор давно мечтавшего о таком случае Сабазу, а мы с Муради пошли по владениям нашего колхоза.

С одной стороны, мне было приятно, что Муради взял именно меня с собой, но с другой — я чувствовал себя неловко. Кто я такой? Бывший прицепщик, только что вернувшийся с военной службы, неофициальный заместитель Дебола. Ну, избрали меня секретарем комсомольской организации. И, надо сказать, вовсе не потому, что я лучше других. Есть и получше ребята. «У тебя свежий глаз. Нам это сейчас очень важно», — сказали на собрании и избрали.

«Свежий глаз». Слов нет, очень он нужен в нашем колхозе. Но что делать, когда вот уже почти три месяца я не вижу секретаря парторганизации Тасолтана. Конечно, будь он сейчас в колхозе, вместо меня бы рядом с Муради шагал он — Тасолтан. Неплохой он человек, но, как Дебола говорит, главного позвонка у него не хватает. Слабохарактерный. Ну что, например, он делает целый месяц в горах у пастухов? Не чабан же он. Колхоз же не только из одних овец состоит. Поговори с ними, обсуди их дела, но не

забывай и об остальных. В особенности в такую горячую пору. Куда Дзибо пошлет, туда он и бежит. А может, Дзибо это на руку?..

Девушки спустились с Пастушьего холма и вскоре скрылись в овраге. Мы свернули с проезжей дороги. Тут росло одно-единственное дерево — старый ясень, и Муради бросил под него свой пиджак и войлочную шляпу. Потом расстегнул ворот рубахи и, закатывая рукава, неторопливо спустился в овраг, к роднику.

Под галькой журчал родник. Прозрачная вода струилась между камнями, покрытыми зеленоватой плесенью, а чуть пониже, скрывшись в густой камыш, начинала недовольно булькать.

Муради быстро скинул сапоги и закатал брюки выше колен. Я последовал его примеру. Сначала студеная вода пощипывала ноги, потом она словно потеплела, и я почувствовал, как по всему телу разлилась приятная истома. Я облил водой мокрое от пота лицо, вдоволь напился, и сразу стало легче дышать, будто огромная тяжесть свалилась с плеч. Что может быть лучше родниковой воды в летний зной!

Муради смотрел на меня с завистью и чему-то улыбался. А потом и он зашел в воду выше колен и облил свою волосатую грудь.

— Не вода, а чудо! — воскликнул он, хлопая по воде ладонями, как ребенок.

В это время раздался чей-то голос:

— Но-о!..

Муради оглянулся. Я проследил за его взглядом. Ведя лошадь под уздцы, к роднику спускался водовоз сельсовета Асабе. Увидев нас, он заговорил еще громче:

— Но-о! Чего ты их боишься? Они таких, как ты, не едят...

Асабе стегнул лошадь тонким прутиком и потянул ее за уздечку.

— Все равно что капризная невестка... Ох и замучила меня. Третий год на ней работаю, а все никак не пойдем друг друга, — говорил старик, уставившись на Муради. — Со скотиной всегда так... К чему ее приучат, то и делает. Прежний

водовоз разбаловал. За каждый пустяк ждет подачки... Ну, а если, скажите на милость, нечего мне ей дать, тогда что? Вот почему она так неохотно плетется. Ждет подачки. Поставить бы сейчас перед ней полное ведро родниковой воды, поверьте мне, перепрыгнула бы вон через ту гору, не моргнув глазом,— старик показал в сторону села, за которым виднелся высокий холм. Густые пушистые усы его как-то странно зашевелились, и по губам пробежала едва заметная улыбка.

— О-о... здравствуй, Ахсар...— обернулся он ко мне.— Не узнал тебя. Видно, с поля?

— Да, с поля,— ответил я.— А ты опять за водой?..

— За водой, солнышко мое, Ахсар, за водой... Чтобы завтра не вставать на заре, решил воспользоваться вечерней прохладой... Да будут счастливы дни твои, дорогой гость.— Асабе протянул руку Муради. А потом повернулся ко мне и спросил: — Прости, Ахсар, откуда гость?..

Я познакомил его с Муради. Асабе удивленно поднял мохнатые брови:

— Значит, секретарь обкома? Ну что ж, хорошо, что познакомились. Вот уже два дня в селе только и разговоров что о тебе...

— Обо мне?.. Кто же это обо мне так беспокоится?

— Начальство наше... Леший их поймет, почему они в таких случаях суматоху поднимают...

Старик поставил перед лошадью полное ведро воды. Лошадь сунула морду в ведро и, пофыркивая, стала пить.

— Видели, как нежно воспитана? Боится промочить копыта в воде... Будь ты неладна! Рассказывают, в старину, когда умирал мужчина, на его могилу приводили коня и посвящали его умершему — чтобы на том свете у него был конь... Чтоб и тебя посвятили твоим хозяевам! Тьфу!.. Чего ведро бьешь? — возмущенно сказал Асабе, сняв с левого уха лошади новое оцинкованное ведро.

— Достается же бедным начальникам! Ло-

шадь упрямится — виноват начальник, — сказал Муради и испытующе посмотрел на Асабе. Старик промолчал, и тогда Муради добавил: — Видно, ты не очень боишься своего начальника.

— Что ты сказал? Асабе боится? Не-ет! Не знаешь ты Асабе. Я тоже когда-то был молодым. Клянусь отцом, ни перед кем не склонял головы. А теперь... теперь вот приходится с этой клячей возиться. Да разве я бы стал, если бы не сироты. Что поделаешь. Сыновья мои не вернулись с этой проклятой войны...

Асабе задумался. Его светло-карие глаза были широко раскрыты и устремлены куда-то вдаль.

Мы с Муради незаметно для старика глянули в ту сторону, куда смотрел он. Родниковая поляна лежала перед нами как на ладони.

— Говорят, этой земле нет цены, — вроде бы нечаянно проронил Муради.

— Да, земля тут неплохая, — с глубоким вздохом сказал Асабе. — И про другие земли ничего дурного не скажешь. Не подведут, какое зерно ни оброни... Тебе-то откуда знать, а мы в свое время называли эти земли лоскутками. И знаешь почему? Самые хорошие земли мы поделили на мелкие наделы, чтобы никому не было обидно. Вот как было дело.

— Я слышал об этом. Знаю, Асабе, и то, что твое имя на всю Осетию гремело, когда ты работал на этой вот поляне. Что же теперь случилось? От прежней славы не осталось и следа.

— Да, были времена, Муради. Тогда и дня не проходило, чтобы из соседних районов и колхозов не приезжали посмотреть на наши кукурузные плантации, — ответил Асабе и опять ушел в свои думы.

— Наверно, работа в сельсовете тебя больше устраивает... Может быть, ты и прав. Выгоднее оно и легче, — сказал Муради. — Солнце тебя не печет, под дождем не мокнешь. Да и соседишний раз не побеспокоят. Зарплату получаешь вовремя...

— Зарплату, говоришь? Да что мне зарпла-

та? Человек именем своим должен дорожить. Землепашец делами славен, Муради. Запомни это! Стоит ли жить, если ты ходишь по земле как неприкаянный... Да что тут говорить,—махнул он рукой.— Не береги мне раны, Муради. Я не мотылек, я корнями ушел в землю, глубоко врос в нее, навечно. Не так легко меня оторвать от земли. Вот говорят: человек человеку — друг и брат. Ну, а если тебя человеком не считают, топчут твоё достоинство всякие там ловкачи и себялюбцы, что тогда делать?

— Надо кричать, надо требовать: я человек, я рожден, чтобы жить и творить... А из-за каждого пустяка опускать крылья — это никому чести не делает. Прости меня, но это слабость, бессилие. — Муради заметил, что старик не на шутку взволнован, и смолк.

Лошадь тем временем отошла от родника и осторожно пощипывала траву. Асабе поглядел на нее и обратился к Муради:

— Видишь, вон лошадь щиплет только ту травку, которая помягче. Ты думаешь, и Асабе выбрал себе работу полегче и коротает свой век там, где и солнце не печет, и дождь не поливает? Нет, клянусь покойным отцом! Эти руки никогда не гнушались самой тяжелой работы. Да ладно уж, напомнил ты мне бывшее, вот я и разошелся.

Старик крупными шагами направился к арбе. Муради понял, что он еле сдерживает свою злость, и предупредительно заметил:

— Мы поможем тебе, Асабе. Нам ведь тоже в село.

Мы быстро наполнили водой обе бочки. Муради забил камнем деревянные пробки.

— Так, говоришь, Майрам обожает родниковую воду? — опустившись на траву и натягивая сапоги, снова заговорил Муради.

— Майрам тоже, конечно... Но жена его поперек горла мне стала. От вашей воды, говорит, у меня желудок расстраивается. Видели вы такую княгиню. Не из папиросной же бумаги у нее желудок. Все ей не так... Нет, Муради, неладно это. Объясни мне толком: когда вы найдете на

них управу? Я никак не пойму, отчего это начальники так быстро теряют головы!

— Наверно, оттого, что головы у иных начальников не очень крепкие,— в тон Асабе ответил Муради.

— И мне так кажется... Майрам вырос в нашем селе. Знаем мы его как облупленного. И хорошего в нем немало, но кое-какие грешки тоже за ним водятся. Да где их, безгрешных, взять? Когда же мы его выбрали в сельсовет, он сразу переменялся, словно наизнанку его вывернули. Я уж стар, и силы у меня уже не те, ведь его отец был моим ровесником. Вместе горе делили, вместе и счастье наше добывали. Он это не помнит, это ему теперь не нужно. Накричит, наговорит всякой ерунды, а мне стыдно бывает смотреть людям в глаза. И за него краснею, и самому неловко... Годы мои... Езжу для него в лес за дровами. Вот вожу воду... На старости лет превратил меня в посыльного.

— Газеты-то ты читаешь, Асабе? — спросил Муради.

Старик меньше всего ожидал сейчас услышать этот вопрос.

— Сам я на глаза слаб стал, но внуки, дай им бог счастья, без газет жить не могут,— улыбнулся Асабе.

Он присел на корточки у родника и напился воды. Пригладил сидящие усы утолщенными в суставах пальцами и хитро глянул на Муради, точно хотел сказать: «Еще немного, Муради. Вот-вот дойдешь до цели. Раз задумал доискаться, не робей. Я готов. Асабе не из пугливых».

— Значит, внучата читают тебе газеты, да?

— Сказал же, что читают.

— Тогда и про дела Мусса слышал, наверно. Кажется, он когда-то на скачках у тебя папаху унес...

— Молодой человек! — подбоченившись, вскинул голову Асабе.— Попробуй, пронесись и ты птицей столько раз на скачках, сколько мне доводилось, вот тогда узнаешь, кто чью папаху унес.

— Так мне сам Мусса говорил. Недавно я был у него в гостях. Он передавал тебе привет и удивился, узнав, что ты водовозом стал. Не скрою от тебя, что проводил он меня до окраины села и наказал передать тебе: «Скажи, говорит, другу моему Асабе: «Позор тебе, позор... Когда-то мы и мечтать не смели о твоей славе, нас за твоей спиной и видно-то не было. Так что же с тобой стало? Неужели тебе полюбился безмятежный плеск воды в бочках? Неужели променял ты нежный шелест кукурузных стеблей, заревые разливы восходов и закатов на понукание старой клячи?»»

Старик устался в землю. Из его груди то и дело вырывались сильные вздохи. Потом подергал усы и посмотрел исподлобья на Муради:

— Это Мусса так говорил? А почему же и ты и Мусса не подумали о том, как так случилось, что Асабе стал водовозом!

— Наверно, тебе так легче...

— Не ожидал я от тебя таких слов. Можно, конечно, и нужно прислушиваться к мнению других, но знай, что тракторы, поля, коровы не то же самое, что человеческое сердце...

— Прости, Асабе... Я не хотел тебя обидеть.

— Чего уж тут извиняться! Я теперь ко всякому привык. Присядь на минутку. Все равно еще рано. Раз ты меня раззадорил, так слушай до конца.— Асабе опустил на травку у родника.— Ты сам вызвал меня на откровенность, и заранее прошу прощения, если скажу лишнее. Может, и не осталось у меня никаких достоинств, но правдивость во мне осталась. И дед мой, и отец завещали мне сохранять в себе это святое чувство. Всякое в жизни бывало. Но я никогда не позволял себе без нужды обидеть человека. С годами ушла прежняя сила. Годы, годы сломили меня... Это к слову пришлось. Все равно я не сдался и не сдамся, пока стою на ногах. Я любому могу смотреть прямо в глаза. Прости... Я предупреждал тебя, что обида развязывает язык. Обида... Ни голод, ни бессонница не изнуряют человека так, как незаслуженные обиды. Какая у меня

обида? Кто сделал меня водовозом? Почему Мусса смеется надо мной? Не думай, что я безвольный нытик. Хотя... Как хочешь... Я поступил так, как подсказывало мне сердце. Хорошо, если бы все это случилось лет пятнадцать назад. Тогда бы я смог заглушить свое горе...

У старика от давней обиды глаза налились кровью, и он стал нервно перебирать траву пальцами. Муради слушал молча. Я сидел рядом, не вмешиваясь в разговор.

— Я никому ничего не говорю, но Ахсар,— он бросил взгляд на меня,— наверно, знает мои думы. Он мне как сын родной, и я ничего не хочу от него скрывать. А рассказываю я все это тебе. Ты сам сказал, что я от палящих лучей солнца в тени прячусь. Значит, найдется время и для долгих разговоров...

Откровенно говоря, я толком не знал, почему Асабе бросил работу в бригаде. Краем уха, правда, слышал, что он почему-то не ладит с Дзибо. И все. Асабе — почтенный старик, и все в нашем селе относятся к нему уважительно. Мне никогда не доводилось слышать, чтобы он на кого-нибудь жаловался.

— Видишь вон то широкое поле под горой? — Асабе вытер о траву руку и продолжал свой рассказ: — Это участок нашего звена. Пятьдесят гектаров! На неурожай мы никогда не жаловались. Но осень позапрошлого года выдалась на удивление. Урожай был небывалый. Старики не могли нарадоваться, глядя на тучное поле. Кукуруза стояла стеной, всадник мог в ней с головой скрыться. Из других колхозов приезжали поглядеть на наш участок. Помнится, что и Мусса приезжал. Пришло время — убрали урожай. Машин не хватало, и несколько дней кукуруза ссыпалась прямо на землю. Большущие кучи стояли. Мы опасались потравы — диких кабанов здесь не перечесть, лес рядом. По очереди караулили свое добро. Как-то ранним утром обхожу кучи, гляжу и не узнаю их — вроде бы осели, меньше стали, что называется, на глазах растаяли. Вечером ведь все было в порядке, а наутро

такое приключилось... Кто-то, значит, поживился нашими трудами.

Обошел я все кучи в надежде найти следы от арбы или брички. Никаких следов не обнаружил. Только к участку соседнего звена протоптал кто-то три дорожки. Раньше их не было. Ну, я пошел по одной дорожке. Гляжу, среди необломанной кукурузы — несколько куч.

— А с какой стати перетаскивать кукурузу с вашего участка на другой? — спросил Муради.

— Не торопись. Я тоже сначала удивился. Потом все выяснилось. Рядом с нами работало звено Госамы Нартыковой. Они нас даже на соревнование вызвали. Противно мне об этом говорить и не очень-то я в таких делах разбираюсь, но вокруг поговаривали, что наш председатель волочит за вдовушкой. Злые языки утверждали, что видели, будто он в неурочное время выходил из ее дома. Словом, когда с кукурузой у Госамы ничего не получилось, он перевел ее на ферму. Передал ей чужих породистых коров. Хотел, видишь ли, рекордсменку из нее сделать. Слава тебе господи, ничего из этого не вышло. Ну, так вот, чтобы расположить к себе женщину, он всеми правдами и неправдами решил представить ее к награде... Теперь ты понял меня? Это все равно что красть у самого себя или из одного кармана в другой перекладывать. Меня взбесила эта мразь! Это же люди без стыда и совести! Подумай только, на что они способны! Мне не нужна слава, но топтать меня грязными ногами я не позволю. Добиваться незаслуженной славы для какой-то бесстыжей бабы... Оскорбить стариков... Я на большом собрании в городе от имени звена дал слово вырастить высокий урожай, а председатель хотел нас спрятать под бабьей юбкой. Седоусых стариков... Самых старших в селе...

— Надо было отдать его под суд! — зло сказал Муради.

— Мы подавали жалобу в район, но там оказался у него защитник, дядюшка, брат матери. Председатель райисполкома — может, знаешь?

Он и замял это дело. Я, говорит, ему сам разрешил взять у вас кукурузу для семян. А почему же они днем побоялись забрать кукурузу, почему нам не сказали? Что у них, на языках волдыри выскочили? Я и по сей день себя казню, надо было с жалобой в область обратиться. Да оробел как-то, ты ведь знаешь наши осетинские нравы — неудобно как-то... Начнет ходить родня обиженного, просить и говорить: что, мол, тебе, старику, нужно — больше того, чем суждено прожить, не проживешь, оставь их в покое... Так оно и получилось — чуть ли не каждый день ходили и уговаривали и упростили-таки, уломали. Я сознаю, что поступил неправильно, да что теперь поделаешь... Верно сказано — если выстрелил из ружья, хоть ищи, хоть нет, а пули не найдешь...

— Значит, тогда ты и сложил оружие? Бежал, ушел в сторонку со своей обидой...

— А по-твоему, Муради, это шутки? — нахмутив брови, посмотрел на него Асабе. — Откуда тебе знать, как мне стыдно смотреть людям в глаза, когда они по вечерам возвращаются с поля. Хоть бы мне тогда кто-нибудь доброе слово сказал! Старый, говорят, то же, что малый... А потом, потом было еще хуже. Как говорится, козь от одного удара не помер, так получи нож в спину: взяли они да перепахали тракторами весь наш участок. Ахсар тут ни при чем, он тогда еще трактор не водил. А как мы, бывало, за участком ухаживали! С каждого стебля по три, а то и по четыре початка снимали чистенько, аккуратно... И вот, не сказав нам ни слова, они засеяли наш участок всякой всячиной. Потом вовсе запустили нашу распрекрасную землю, забросили ее, и она сорной травой поросла — ни проедешь ни пройдешь. Значит, они в нас больше не нуждались, раз так поступили.

Вот какие дела. Дела водовоза сельсовета Асабе Кониева... Сердечная рана — не простая рана, Муради. Она долго не заживает. Лекарство от нее не так-то легко найти... — тяжело вздохнул Асабе. — Пора ехать. Ленивая, давай собирайся!

Кому говорю? У-у, хитрая! Будто не слышит, притихла. Пошли, говорю, а то, наверно, у нашего хозяина в горле пересохло. Вот когда покойнички на собственные поминки придут, тогда уже и нам с тобой полегчает. И родник тогда сам к нам в село потечет. А если у нас еще будут такие начальники, как Майрам, боюсь, не дождемся мы с тобой тех самых поминок. Ну ничего, Ленивая, мы с тобой и сейчас из этого родника пьем водицу два раза на день. Но-о, пошла!

Асабе оглянулся на Муради.

— Везде нужен человек! Прости меня, Муради, ради своих предков, выслушай до конца. Ничего удивительного я, конечно, не сообщу, но все-таки...— Асабе сунул тонкий прутик за пазуху и чему-то улыбнулся.— Когда мы еще жили в горах, был у нас там сосед Дзандар. За словом в карман он не лез. На свадьбах незаменимый был человек. Веселил народ своими шутками-прибаутками. А работать не любил. Про таких в народе говорят, что у них спина не гнется, потому что позвонков больше, чем надо. Так вот, этот Дзандар так считал: если он на свадьбе гулял, а домой ничего с праздничного стола не унес, значит, напрасно время потратил. Бывало, еще не успеет за стол сесть, а уж его глаза так и шныряют по столу, добрый кусок мяса разыскивают.

Однажды на пиру сидел он против меня. И вижу я, как он старается незаметно подтянуть к себе отменный кусок говядины. Ловко он это проделал и опустил руку с мясом под стол. Я не свожу с него глаз—что же дальше будет? Не прошло и минуты, как он уставился на меня и говорит с деланной улыбкой: «Если ты, Асабе, даже умирать будешь, все равно я тебе не отдам! Отпусти, говорю!» — «Зря ты последний рог пил, Дзандар. Кого я должен отпустить?» — спросил я, ничего не понимая. «Ах ты жулик! Прикидываешься, будто ничего не знаешь! Отпусти, говорю!» И сердито нахмурился, брови сошлись у него на переносице.

Я промолчал. Тогда он резко нагнулся и заглянул под стол. И глаза у него полезли на

лоб — огромный пес, волкодав, тянул у него из рук мясо и угрожающе рычал.

Испуганный Дзандар только и успел выкрикнуть: «Пшел вон!» — и опрокинулся вместе со стулом. А пес с добычей в зубах перепрыгнул через него и исчез.

Муради от души расхохотался. Я тоже не выдержал и прыснул.

— Вот так и у нас, Муради... Некоторые, вроде того самого Дзандара, норовят с общего стола побольше утянуть. Пусть себе берут, если есть доля их труда в том, что подается на стол... Но-о, Ленивая! — Асабе, видно, по привычке заговорил с лошадьё: — Давай живей! Не обижай хоть ты меня, недолго нам осталось вместе работать. Пусть уберут урожай. А уж потом оставайся со своим хозяином и работай с кем хочешь. Видишь вон те склоны? Там я опять посею кукурузу. Клянусь прахом своего покойного отца! Я еще покажу им, какая у нас растет кукуруза! Тогда и те, кто помоложе, увидят, кто такой Асабе и кто такой Мусса... — И Асабе искоса поглядел на нас. — Теперь не прикроешь нас бабьим подолом. Выберем нового председателя. Настоящего человека... А вдруг и он, как новая метла, будет хорошо мести только первое время?... — Последние слова старик произнес совсем тихо и поверх крупы лошади посмотрел на Муради.

А тот нагнулся, стряхивая пыль с сапог. Старик делал вид, что разговаривает со своей лошадьё, но мы-то понимали, что слова его обращены к нам. Муради выпрямился, кивнул мне и подошел к Асабе.

— Где думаешь брать участок? — спросил он Асабе, будто остановка была только за этим.

— Я еще ничего не решил. Что это ты меня так быстро засватал?

— Просто я подслушал, как ты славно рассказал Ленивой о своих планах. Даже отцом покойным клялся... Ведь не станешь же ты своей лошади говорить неправду, — с улыбкой сказал Муради.

— Да, между нами нету тайн. Особенно ког-

да приходится угощать ее вот этой хворостиной, а угощать ее приходится частенько. По ее же вине. А все-таки ловко ты все у меня выпытал. Да и что же тут удивительного, кому, как не тебе, рассказывать-то обо всем? Сколько же я должен молчать? Ведь вокруг дел по горло...

— Дел много,— повернувшись в сторону села, заметил Муради.— Но братья за них надо всем вместе, только общими усилиями мы поставим хозяйство на ноги.

— Это так, всем вместе. В одиночку мы ничего не сделаем. Но ценить надо каждого человека в отдельности. Заслужи доверие людей, они и горы перевернут. Если же поступишь нечестно или обманешь народ, возгордишься — пеняй на себя. Вот так, дорогой мой Муради. Учить тебя не нужно. Ты не хуже меня это знаешь. А про себя скажу, что соскучился я по земле. До каких же пор мы будем плестись в хвосте? Что же мы, работать разучились или земля наша переродилась? Нет, клянусь могилой отца, умеем мы работать! И земля наша — другим на зависть. Смелее берись за дело, и мы не подведем.

Асабе замахнулся хворостиной. Лошаденка нехотя выбралась на дорогу. Старик неторопливо зашагал за арбой. Мы двинулись вслед за Асабе. Невысокий, коренастый, он был еще крепок, как матерый медведь в осеннюю пору.

«Те, кто помоложе, увидят, кто такой Асабе и кто такой Мусса!» Эти слова старика долго звучали у меня в ушах, я чувствовал, что не на ветер они брошены.

— Спасибо, Асабе,— Муради пожал старику руку, когда мы стали спускаться к селу.— Ты прав во всем. Я рад, что мы поняли друг друга.

— Мне и самому легче стало... Я собирался идти к тебе. Хорошо, что встретились у родника, — взволнованно проговорил Асабе и взмахнул хворостиной.

Сумерки сгустились над опустевшими полями, над селом. На потемневшем безоблачном небе зажглись первые звезды.

Родниковая вода, вечерняя прохлада и этот разговор с Асабе разогнали усталость.

В селе было тихо, издали ветерок доносил до нас перестук колес стариковской арбы. Кое-где у ворот на скамеечках сидели люди. Луна еще не выглянула из-за гор.

3. БАБУШКА ЗАЛИНЫ

Заложив руки за спину, Муради молча шагал рядом со мной. Он был чем-то недоволен и шел, тяжело переставляя ноги, будто считал свои шаги или боялся оступиться.

— Может быть, зайдем к нам? — сказал я, когда мы дошли до угла нашей улицы.

— Спасибо. Вот если бы вы были побогаче, я бы купил у вас козла и преподнес бы его Дуду. Ты знаешь наш осетинский обычай? К кому приехал в гости, у того и ночуй, а если изменил хозяину и решил заночевать в другом месте, то купи козла, зарежь его и преподнеси хозяину. Еще раз спасибо, Ахсар. Иди отдыхай. Завтра нам надо пораньше встать. — И, заложив руки за спину, он пошел дальше. А спустя некоторое время его фигура показалась во дворе Дуду.

«Кажется, он решил спать на сеновале», — завидя ему, подумал я. И пока Муради возился у стога сена, я наблюдал за ним. Он и в самом деле остался ночевать во дворе. Я видел, как он лег.

Ах, хорошо вот так лежать на стоге сена, под открытым небом! Над головой звезды, пахнет полевыми цветами. Лежи себе на спине на самой верхотуре стога, раскинь в стороны усталые ноги и руки, смотри в распростертую над тобою глубину. Медленно выползает из-за дальних гор луна. Слышится песня реки. Шелест листьев. И вдруг где-то на краю села залает собака. На кого она лает? Ни на кого. Кругом ни души. Ну и пусть себе лает. В такую пору и собачий лай приятен, он ничему не мешает: ни песне реки, ни перекличке перепелов.

Ах, как хорошо вот так лежать! Мягко. Удобно. Подложи под голову руки, и мечты унесут тебя далеко-далеко.

О чем, интересно, думает Муради? О чем он мечтает?

В комнате Дуду мирно горит свет. В окне никого не видно. А впрочем, кто там может показаться? Залина на ферме. А Дуду в ожидании Муради склонила голову на стол и, может быть, заснула. Пойду разбужу ее. А то бедная старуха просидит так до утра. Раз свет в окне, значит, Муради не предупредил ее, что останется спать на сеновале.

Я постучал в окно, и тут услышал голос Муради:

— Ахсар, ты что?

— У Дуду горит свет. Надо ей сказать, чтобы она ложилась.

— Ай-яй-яй, как это я забыл!

Дверь отворилась, и вышла Дуду.

— Хорош гость. Старуха его ждет не дождется, а он где-то прячется, — с упреком произнесла Дуду и тут узнала меня.

— А, это ты, Ахсар. А где Муради?

— Доброй ночи, Дуду! Муради — вон, — показал я на стог сена.

— Как так? Голодный, усталый!

— Я звал его к нам, но он отказался.

— Дуду, прошу тебя, не обижайся. Разреши мне здесь остаться, — крикнул Муради, — у меня такая мягкая постель.

— Мягкая постель! — с усмешкой проговорила Дуду. — Спи на здоровье. Но раньше поужинайте с Ахсаром, а потом хоть на дереве устраивайся, мешать не стану.

Дуду спрятала руки под передником, глянула на меня и проговорила с упреком:

— Еще и ночь не наступила, а вы уже спать собрались. Ничего не пойму. Ну, где ты, Муради?

Муради молча спустился на землю.

— Ну, Дуду, раз ты потревожила мой сон —

прощайся со своими пирогами. А к пирогам хорошо бы и еще чего-нибудь...

— Идите, идите! Может быть, и «чего-нибудь» тоже найдется.

— Я пойду домой, Муради. Спокойной ночи.

— Да что ты, Дуду знаешь как будет ворчать, — сказал Муради и потянул меня за рукав.

Пироги были еще горячими и распространяли по комнате такой аппетитный запах, что самый сытый не отказался бы их отведать. Среди тарелок с луком и редькой стоял пузатый графин, наполненный розоватой наливкой.

Муради и Дуду сели рядом и сразу же завели какой-то разговор. А я и слышал их и не слышал. Над кроватью висел портрет Залины. Она высоко подняла свои черные брови и чуть-чуть шевелила губами. Но разве на фотографии губы могут шевелиться? Нет, это ямочки на щеках делали ее лицо улыбающимся.

Мне казалось, что я украдкой любуюсь фотографией, но Муради заметил, что я все время смотрю в ту сторону, и коленом толкнул меня. Мне стало стыдно, и я быстро сунул себе в рот кусок редьки.

Над второй кроватью висели в ряд фотографии шести сыновей Дуду. Все они снялись в офицерской форме. А над ними в черной рамке — большая фотография старшего сына Батырбека с годовалой девочкой на коленях. Она высоко подняла свои пухлые ручонки и кому-то широко улыбалась.

Залина... на коленях у отца... Она и в детстве была красивая. Только ямочки на щеках появились у нее, наверно, позже. Как хорошо она подняла руки, будто хочет улететь. Я переводил взгляд с маленькой Залины на взрослую, а мысли уносили меня к берегам Таргайдона, к сегодняшней Залине. Что она сейчас делает? Наверно, устала и спит рядом с подругами. Если бы она знала, что я сижу рядом с ее бабушкой Дуду и смотрю на ее фотографию? Что бы она сказала? Наверно, прогнала бы меня одним видом своих нахмуренных бровей. А впрочем, зачем ей

меня прогонять? Я же пришел сюда не сам. А что было бы, если бы приоткрылась дверь и она зашла и улыбнулась бы и сказала прямо при Дуду и Муради: «Как это ты отважился прийти сюда?»

Я бы вскочил, ни на кого не глядя, и, никого не стесняясь, сказал бы: «Я пришел к тебе!»

В приоткрытую дверцу шкафа, что стоит в соседней комнате, виднелся краешек клетчатого платья Залины. Я мысленно благодарил Дуду за то, что она не захлопнула дверь в соседнюю комнату.

Это платье из простой клетчатой материи мне нравится больше остальных ее нарядов. Такая она в нем красивая и легкая! Хорошо, что Дуду и Муради заняты своими разговорами и не обращают на меня внимания. Ведь в самом деле странно я себя веду. Не мог отвести глаз от фотографии, а теперь этот клетчатый кусочек! Я уже совсем обалдел, глядя на него. Мне уже стало казаться, будто не платье Залины торчит из шкафа, а она сама спряталась туда. И будто даже поглядывает на меня. Тоже, как и я, украдкой. И вот-вот выйдет она оттуда, даже не выйдет, а выпорхнет, улыбнется мне своими ямочками на щеках, взмахнет руками и улетит через открытое окно. А я останусь сидеть здесь, но сердце мое улетит вместе с ней, как тогда...

Тогда она была в этом же клетчатом платье. Я и раньше видел ее несколько раз, но как-то не обращал на нее внимания. А в тот день мне показалось, будто вижу ее впервые...

Помню, стал мой трактор. Целый час я возился с ним. Кажется, все винтики, все гайки перетрогал, весь перепачкался в мазуте, а трактор ни с места. Я злился, потому что не мог заставить машину подчиниться себе. И вдруг откуда-то слетелись десятиклассницы с тяпками на плечах и буквально засыпали меня своими насмешками:

— Ахсар, подвези нас!

— Ой-ой, как он вымазался!

— Это он нарочно, чтобы к нему девушки близко не подходили...

— Пойдемте, я боюсь его.

— А что он с полем сделал, весь воздух бензином пропитан.

— Жалко мне ту девушку, которая отважится подойти к нему!

— Что это за парень, если его скакун в землю врос.

— Что ты так уставился на нас? Будто запутала тебя нечистая сила?

Мне было до того обидно видеть их свидетельства моей беспомощности, что я готов был броситься на них. Но тут, растолкав всех, ко мне подошла Залина и строго сказала своим подружкам:

— Не приставайте к нему! А ты, — повернулась она ко мне, — не обращай на них внимания, Ахсар. Скажи лучше, чем тебе помочь? Может быть, я смогу...

— Девочки, пойдемте, оставим их вдвоем. Ахсар, не подходи к ней близко, а то вспыхнешь, она у нас горячая.

И, все так же насмехаясь надо мной, они повернулись и пошли.

Залина осталась. Она посмотрела на меня и так засмушалась, что краска залила ее лицо. А потом вдруг улыбнулась и побежала за подружками.

Впервые я видел так близко ее глаза. Они у нее глубокие-глубокие, и где-то в самой глубине светится огонек.

«Подожди еще немного. Куда ты убегаешь? Где ты была до сих пор? Почему я раньше не видел твоих испуганных глаз? Зачем ты ушла? Боишься насмешек?» Я сам себе задавал эти вопросы, не в силах разобраться в том, что произошло. Я стоял точно окаменелый и все смотрел на удаляющуюся Залину. А она убегала от меня в своем клетчатом платье...

Но вот Залина взбежала на горку. Остановилась. Глянула в мою сторону. И мне почудилось, что она помахала мне рукой. А потом скрылась,

и сразу стало пусто и тихо вокруг. Казалось даже, что горка поблекла.

Я надеялся, что Залина снова появится, и, боясь, что не сразу ее замечу, залез на трактор. Вот качнулся цветок — и у меня замерло сердце... Нет, это не Залина, это ветерок пробежал по горке и донес до меня песню девушек. Хоть бы различить мне ее голос!

— Ахсар, ты не спишь? Дай мне, пожалуйста, воды, — сказал Муради и почему-то посмотрел на фотографию сыновей Дуду.

— Нет, что ты... — смутился я и встал, чтобы подать ему воду.

Муради выпил воду, поставил чашку на стол и опять посмотрел в мою сторону.

— Не скучай, скоро пойдем.

«Не скучай». Да я был готов просидеть в комнате Залины до самого утра, чтобы смотреть на ее фотографию, на краешек ее клетчатого платья...

«Ты иди, я еще посижу», — чуть было не сказал я Муради, но вовремя спохватился и, боясь, что Муради опять скажет, будто я сплю или скучаю, стал слушать, о чем они говорят. Словно понимая мои мысли, Дуду заговорила о Залине:

— Залина — единственное мое утешение. Она одна у меня осталась. Ведь я хвалю ее не потому, что она моя внучка, она и в самом деле понятливая. Ты же знал и отца ее и мать, Муради. Хоть бы мать была жива. Мало она, бедная, пожила на свете. А хорошего я от нее много видела, любила я ее, как дочь родную. Пусть будут прокляты те, кто разорил мой дом, мою семью. Много я могла бы рассказать тебе, Муради, о горестях моей жизни... Но хочу говорить о Залине...

Трудно мне было одной ее растить. Вот перешла она в десятый класс. Куда, думаю, дальше пойдет? А вдруг не поступит в высшую-то школу? Ее спрашиваю: «Куда бы ты хотела поступить?» А она ничего толком мне не говорит. Сам знаешь нынешнюю молодежь. Пришли к ней как-то подруги, сели вон в той комнате, болтают,

а я прислушиваюсь. О чем только они не судили, о чем не рядили! До самой Америки добрались, а вот куда учиться пойдут, что делать собираются — об этом ничего я не услышала.

Мне-то самой хотелось, чтобы Залина моя доктором стала. Вот как Фатима — невестка наших соседей. До чего же хорошая, до чего внимательная. Часто она к нам заходит. И когда я вижу ее, чистую, аккуратную, в белом халате, нагладеться не могу. Поверь, Муради, от одного ее прихода все мои болезни куда-то деваются. Не одна я, все ею довольны, уж очень она обходительная. А ведь Залина, хоть и молодая еще, тоже умеет ладить с людьми. Почему же, думаю, и ей не стать доктором. Я ей, бывало, нахваливаю Фатиму, а она послушает, да и побежит в сад к своим грядкам. Чего она только не выращивает! И какой-то новый сорт лука, и редьку, и кукурузу, и пшеницу, и картофель. А бегаёт она к своим грядкам с каким-то круглым стеклом на ручке.

Ну, думаю, грядки грядками, а о высшей школе тоже пора позаботиться. Ничего я Залине не сказала и поехала в город. Не любит она, чтобы о ней проявляли заботу. Ты, может быть, знаешь Бечи Царазонова, это племянник моего покойного мужа, он как раз работает в школе, где учатся на агрономов.

— Как же! Бечи я хорошо знаю, — сказал Муради.

— Так вот, этот Бечи у нас дома вырос, он рано сиротой остался. Вот я, значит, и приехала к нему. Может, думаю, у него есть знакомство в той школе, где на докторов учат. И он, и жена его обрадовались мне. Всякие кушанья на стол выставили, даже вина самые лучшие. А я пить-то не могу, разве что немного осетинского пива. Но дети его стали уговаривать, чтобы я попробовала, как его? Шипучее такое? Ну, выпила я — и поверишь, Муради, будто кто ноги из-под меня вынул...

Ну ладно, все-таки я рассказала Бечи, зачем приехала. Он выслушал меня и говорит:

«Дуду, ты сама знаешь, для Залины я готов сделать все...»

«Я ничего не хочу заставлять тебя делать, Бечи, только прошу, чтобы ее приняли в школу докторов. Ведь после окончания десяти классов надо еще два года работать, это я слышала. Но подумай сам, Бечи, два года, да еще потом учиться сколько!.. Доживу ли я? Ведь ни одно лето, ни один воскресный день она не гуляла, все время работала в колхозе. Разве это не должны учесть? А мать и отец ее на проклятой войне погибли. Должны и это принять во внимание!»

«Все-таки закон есть закон, — перебил меня Бечи. — Если хочешь, пришли ее к нам. Я устрою ее на завод, а вечерами она сможет готовиться в институт».

У меня от досады перехватило дыхание. Ничего я больше не сказала Бечи, встала и пошла к дверям. Жена его и дети бросились за мной, не пускают.

Старшая его, хорошая такая, заплакала и говорит отцу:

«Папа, вечно ты ищешь законы. Почему же в прошлом году приняли дочь Бодзи? Она не только в колхозе — дома, в огороде и то никогда не работала».

«Светлана, ты молчи, тебя не спрашивают!» — закричал Бечи на дочь.

Вышла я из комнаты. За мной вся семья. Бечи взял меня под руку, просил остаться, прислать Залину, обещал помочь ей устроиться.

«Хорошо, хорошо, пришлю, только оставь меня», — сказала я, чтобы Бечи поскорее освободил мою руку.

Я шла не оглядываясь, и так я была зла на Бечи, что еле сдерживала слезы. Выкормить человека, воспитать его, делиться с ним последним куском хлеба и потом встретить такое... И если бы я о себе просила, а то ведь о внучке! Не хочу его знать, не нужны мне его сладкие кушанья. А его шипящее вино до сих пор жжет мне горло.

Я дошла до угла, и тут Светлана нагнала меня.

«Дуду, пойдем скорее, спрячемся, а то папа сейчас подъедет на машине, он хочет отвезти тебя в село. Он послал меня за тобой. Ты его не слушай, не уезжай домой, пока не уладишь дела Залины,—говорила Светлана, а сама тянула меня за руку и завела в какой-то двор.—Я, говорит, знаю, к кому надо идти. Папа сейчас проедет, и мы с тобой пойдем».

И в самом деле, через несколько минут мимо нас промчался Бечи на своей зеленой машине. Вскоре он остановился. Вылез из машины, постоял, поглядел вокруг и, не найдя нас, укатил.

А Светлана повела меня к тебе на работу. Как только мы вошли в двери, навстречу нам вышел приветливый молодой человек.

«Мамаша, вам кого?» — спросил он меня.

Я сказала ему, что нужен мне Муради.

«Извините, придется немного подождать. Я сейчас узнаю», — ответил он и побежал по лестнице, устланной коврами.

Скоро молодой человек вернулся с каким-то высоким, худощавым мужчиной, тот поздоровался со мной за руку и говорит:

«Извини, добрая женщина, но Муради сейчас нет. Заходи, пожалуйста, может, смогу тебе чем-нибудь помочь. Буду рад».

«Нет. Мне сам Муради нужен. Для очень важного дела, — ответила я ему и подумала про себя: «Если уж Бечи не решился, значит, только сам Муради сможет мне помочь, и не стану я понапрасну мучить доброго человека».

Худощавый помог мне подняться по лестнице, завел в большую комнату и усадил на мягкий стул. Потом стал расспрашивать о делах. Понравился он мне, и я ему все рассказала. И на Бечи пожаловалась. Светлана со мной не пошла наверх, она осталась внизу, в прихожей вашего обкома. Но если бы около меня была не только что Светлана, а сам Бечи, я бы все равно не постеснялась, все бы выложила, что накопилось у меня в душе. Он-то, этот худощавый, знал, оказывается, Бечи. Подумать только, каким известным человеком стал наш баловень Бечи!

Словом, худошавый мужчина позвонил кому-то по телефону. Не знаю, с кем он говорил, но назвал фамилию Залины, нашу, значит, фамилию. Скажу тебе по чести, если бы не стыдно было, я бы прямо в кабинете обняла его, как родного сына. Уехала я домой очень довольная. Да вот не запомнила я его фамилию, он мне называл.

— Амбалов, — улыбнувшись, тихо сказал Муради.

— Да, да, Амбалов. Клянусь памятью моих покойных сыновей, если бы он мне ничего не сделал, я бы не была на него в обиде. Так он меня хорошо принял, так ласково, как мать родную. Никогда его не забуду. Иной раз думаешь: какой же злой дух пролетел над нашими-то начальниками? Почему, когда придешь к ним по делу, они на тебя непременно накричат? Прошу тебя, Муради, когда увидишь Амбалова, передай ему от меня привет. Очень хороший человек... Кушайте, милые, кушайте. Утомила я вас своими разговорами.

Дуду посмотрела на меня, показала на пироги, а потом продолжала:

— Домой я вернулась веселая, радостная. С порога кричу:

«Залина, где ты?»

До меня донесся чей-то смех с огорода, а потом прибежала Залина и бросилась обнимать меня.

«Здравствуй, Дуду!» — закричали подружки Залины, глядя на меня через плетень.

Рассказала я Залине, зачем ездила, что и как было. Думала — обрадую ее, а она засмеялась:

«Спасибо, бабушка. Только мы решили поступать в другой институт».

«Кто «мы»? Как в другой?»

Она посмотрела на меня просящим взглядом, положила голову мне на грудь и тихо ответила:

«Бабушка, не сердись. Вот Замират, Венера, Уацират... Мы все вместе... Ты не беспокойся, бабушка...»

До чего же я обиделась, до чего же рассерди-

лась. Однако промолчала. Да и как было не обижаться! Ездила в город, ходила по родственникам. В обком. Старалась, чтобы она стала доктором, чтобы человеком стала, а она с Замират, да Уацират, да с другими подружками ударились совсем в другую сторону.

Послали они свои бумаги в школу агрономов. Конечно, и это хорошая работа. Особенно теперь, когда столько машин, столько всего диковинного... И конечно, на земле нужны люди знающие, ученые. И я верю, что Залина хорошим агрономом станет, с детства любит она землю. К тому же она такая упрямая — захочет что-нибудь сделать, разорвется на части, а сделает.

Главное, чтобы она была здорова. Пусть труд ей будет в радость. И больше ничего мне от нее не нужно. Только вот последние дни она чего-то приуныла, может, потому, что не выдержала, да и сказала что-нибудь Дзибо. И то, что Нина ушла с фермы... Она ведь на ферме работает, может, там у нее что случилось. Прямая она слишком. Не простит ложь и родной бабушке.

— А может быть, скучают девушки на ферме? — вздохнув, спросил Муради.

— Не знаю. Так-то, со стороны, как будто у них все в порядке. И книги купили им, и гармонь у них есть...

— Не понимаю тебя, Дуду. Как это со стороны? — удивился Муради.

— Застал ли ты этот обычай или нет — не знаю, но в мое время было так. Когда наступала пора выходить девушке на люди, то родственники готовили ее к этому выходу целый месяц. Старались, чтобы девушка была одета получше, чтобы выглядела краше других. Если семья не могла справиться ей новые наряды, помогали родственники, и только после этого она шла на чью-нибудь свадьбу и на танцы, и ее провожали молодухи и их мужья из ближайших родственников. Они смотрели за ней, оберегали ее от грубого слова, мало ли и в те времена невоспитанных было. И уж тогда никто не смел бросить по ее адресу неосторожное слово.

Мне кажется, неплохой это был обычай. Раз девушка выходит на люди, то должна она выйти в самом наилучшем виде, чтобы показать с хорошей стороны и свою семью и своих родственников.

Не так давно я была на свадьбе у Бобоевых. Это родственники моего покойного старика. Ну, пригласили меня. Посмотрела я там на молодежь. И поверь, Муради, кровью облилось мое сердце. Было много хороших парней и девушек. Аккуратные, воспитанные, приветливые, но ни одной девушки с фермы я там не видела. Что скрывать от тебя, конечно, мне хотелось, чтобы была там и моя Залина. Свадьбы же справляются не каждый день! Пусть бы повеселилась с подружками, повидала бы людей. Когда же бывать на свадьбах, если не теперь, в молодые годы? Приезжает театр — и опять не для тех, кто в поле или на ферме! Привезут кино — то же самое. А ведь, по правде сказать, девушки сердятся. Я у них часто бываю, и они от меня свои обиды не скрывают. Их нельзя осуждать. Что видят они хорошего на ферме? Коровы, книги, конечно, и все та же гармонь... Послушаешь иногда, какие печальные песни наигрывают они, и самой тоскливо станет. И все-таки работают они хорошо.

Хочу, Муради, сказать тебе еще одно слово. Только прошу, не обижайся. Когда вы — начальники — определяете, сколько вырастили кукурузы, сколько надоили молока, то вы порой забываете о человеке. Ведь это он вырастил, ведь это он надоил, будь тут хоть тысяча машин. Человека не упрячешь под кучей кукурузы и в бидонах молока! Начальникам нашим я говорила про это, но они не прислушались к моим словам. Вот ты им скажи. Я это говорю не потому, что на ферме работает моя Залина...

Дуду умолкла. Муради долго смотрел на старуху, потом проговорил:

— Хорошо ты сказала, Дуду. Да, именно человек вырастил, человек надоил...

А я думал о Залине.

Листья за окном шевелил ветер. Издали донесся однообразный унылый шум Таргайдона. А мне казалось, что это та самая печальная мелодия, которую наигрывали на своей гармошке девушки с фермы.

Дуду несколько раз смирла меня взглядом, будто видела меня впервые. Наверно, она разгадала мои мысли, а может быть, захотела мне что-нибудь сказать. Нет, ничего не говори мне, Дуду! Мы придем к тебе вместе с Залиной и сами скажем тебе те заветные слова, которые еще не сумели сказать друг другу...

Месяц плыл над горами и заглядывал своими бледными лучами в комнату. Мы поднялись. Муради поблагодарил Дуду и вышел во двор. Я пошел вслед за ним.

4. РАССКАЗ О БУРКЕ

С дальних гор дул ветерок. Над нами шепталась листва. Ночные шорохи сливались с немолчным рокотом Таргайдона. Муради расстегнул ворот рубахи, потянулся, будто хотел кого-то обнять, и вздохнул.

— Так-то, друг мой, — сказал он.

Голос у него был какой-то странный, приглушенный. Должно быть, устал он за день: ведь исходил все уголья, потолковал с десятками колхозников. И все к нему с открытой душой, все выкладывают, у кого что наболело. Да, нелегка ноша, Муради, которую ты взвалил себе на плечи и несешь по велению сердца и совести.

Стоит Муради, прислушивается к ночи, точно примеряется, с чего, с какого края взяться, чтобы встряхнуть людей, разжечь угасшие было угольки.

«Ну что ж с того, что человеку немного взгрустнулось?» — думал я, пытаюсь разобраться в настроении Муради.

Тут во двор вышла Дуду с черной буркой в руках. Она молча подошла к Муради, постояла с минуту, видно боясь отвлечь гостя от его дум. Потом так же без слов протянула ему бурку.

Муради с недоумением смотрел то на старуху, то на бурку, и тогда Дуду тихо произнесла:

— Это бурка Батырбека... Возьми ее, ночью прохладно. — Дуду пожевала губами, вспоминая что-то давнее и что-то очень ей близкое. — Все, как и прежде, тянет тебя, Муради, на сеновал... — И, повернувшись ко мне, добавила: — Ахсар, дорогой, пойдем-ка, налей воды в ручной мойник. Может, Муради придется рано ехать.

Я принес воды и наполнил ручной мойник, подвешенный к тутовому дереву, что раскинуло густые ветви посреди двора.

— Идите, родные. Пора. А то не выспитесь. Добрых вам снов,—проговорила Дуду и, бесшумно ступая, ушла в дом.

Муради все стоял на том же месте, перекладывая бурку с одной руки на другую. То ли он пытался что-то на ней разглядеть или искал что-то, я понять не мог, но меня это очень занимало, а спросить его, что он ищет, я не решался. Ничего, видно, не обнаружив, Муради скатал бурку, забросил ее за плечо и направился к воротам.

— Ахсар, пойдем побродим немного по берегу. Спать сегодня неохота, — сказал Муради.

Таргайдон протекает недалеко от дома Дуду. Надо только пересечь улицу, и сразу выйдешь на его высокий крутой левый берег, поросший шиповником. Река шумит внизу, и все звуки ночи тонут в гортанном говоре Таргайдона.

Впереди меня шагает Муради, размеренно, тяжело печатая шаг. Его запыленные сапоги нет-нет да и скрипнут, будто жалуясь на неугомонный характер хозяина. Я стараюсь не отставать от него, но это удается мне с трудом, хотя кажется, что он идет не спеша.

Что с ним случилось? Отчего он так загрустил? Почему он то и дело хватается за сердце? Болит? Но ведь он за целый день ни разу не пожаловался.

Мы дошли до реки. Муради бросил бурку на камень, несколькими пригоршнями воды освежил лицо и шею, потом, глянув на меня, сказал:

— Вот так-то, мой молодой друг... А хорошо тут: и запахи другие, и воздух иной. Видишь, как она играет своими волнами, точно ребенок! Рассыпает брызги, сталкивает камни... А месяц, месяц-то каков! Да что ты в небо глядишь? Вон он, купается в волнах!

Я никогда так пристально не разглядывал Таргайдон, хотя с детства все лето пропадал на реке. А какая она ночью, река, я не знал и даже не подозревал о ее сказочной красоте. Муради, видно, знал наш Таргайдон лучше нас и теперь не сводил с него зачарованных глаз.

— Садись-ка рядом, на бурку, я расскажу тебе одну историю, — сказал он. — Ты еще молод, Ахсар, и, может быть, она тебе пригодится. Видишь этот пенёк? Здесь когда-то росла большая ива. Большая ива, — повторил Муради и умолк, облокотившись о пенёк. Он высоко поднял черные брови и откинул назад мешавшие ему волосы. Сжатые губы и острая борода делали его похожим на горного орла.

Я ждал и думал, о чем же он мне расскажет. Я понимал, что это будет интересно, но Муради не спешил с рассказом. Он все смотрел на горы, на реку, и лицо его в бледном свете луны казалось еще более утомленным.

— Так вот... Здесь росла когда-то большая ива, — начал наконец Муради. — Я учился тогда с сыном Дуду Батырбеком, — сказал он со вздохом. Видно, ему трудно было говорить. — Много ночей и дней провели мы вместе. Ты моложе меня... Извини за подробности, но между нами не было тайн, и даже на свидания мы ходили вместе...

Однажды на свадьбе нашего большого друга вот под этой ивой мы встретили двух девушек из селения Фарн. Одну звали Мадинат, другую Дзерасса. Мы с ними танцевали чуть ли не до утра, нам было очень весело, и трудно сказать, кто из нас был счастливее, у кого больше кружилась голова.

Уж и не помню, сколько раз потом мы прохо-

дили или проезжали по улицам Фарна. Смешно, кажется, но так полюбилось нам это село, что даже собачий лай и мычанье телят — все, все нам казалось там прекрасным. А спустя несколько месяцев Батырбек женился на Дзерассе — матери Залины, меня же призывали в армию. Вскоре началась война. Дзерасса жила с Дуду, а Мадинат с родными в Фарне. Если бы собрать письма, которые я прислал ей за все время войны, наверно, никто не успел бы прочесть их и за месяц. И о чем только я ей не писал! И о чем только она мне не писала!

Муради умолк.

— Ты еще не хочешь спать? — спросил он меня.

— Нет, что ты!

— В то время мне было не больше лет, чем тебе сейчас. И потому я рассказываю тебе все так подробно. Мадинат была умным, тонко чувствующим человеком. Представляешь, какие это были годы, а она ни одного грустного слова никогда мне не написала, ни на что не пожаловалась, ободряла меня, обнадеживала, будто ей было от этого легче...

Потом я перестал получать письма. Куда только я не писал, кого только не запрашивал — никакого ответа. Исчезла моя Мадинат, и все! А я думал, думал о ней — и на передовой, и в тылу у немцев, и в госпиталях...

И вот в одно чудесное весеннее утро я наконец дождался весточки...

Это было на рассвете. Всю ночь лил проливной дождь. А мы шли и шли по грязи, по лужам. К утру, усталые и промокшие, добрались до опушки леса. Расположились на отдых. И вдруг солнце, будто оно ждало нашего прихода, заиграло на верхушках сосен. Очнулся лес, и поднялся такой птичий гомон, что мы забыли об усталости. Все повылезали из наспех вырытых окопов и укрытий. С жадностью смотрели на восход, слушали птиц. А где-то вдали грохотали орудия. Но недаром говорят, что недолга солдатская радость. Так случилось и со мной в то утро.

Принесли мне письмо. Вот что написала мне двоюродная сестра Мадинат: «Дзерасса и Мадинат несли партизанам еду... Немцы схватили их... привели ночью на берег Таргайдона и повесили на старой иве...» На старой иве...— повторил Муради.— Вот тут. Вот он, этот пенёк...

Муради обхватил пенёк и глухо закашлялся. Резким движением головы он отбросил в сторону прядь волос и глянул на меня из-под густых бровей.

— Ты Дзерассу, наверное, знал...

— Знал. Она мне даже как-то сшила чужаки...

— Ну, так слушай, я расскажу тебе историю этой бурки. Если бы не она, мы бы уже давно спали крепким сном, а не сидели бы у реки. Видишь этот серебряный крючок? С обратной стороны на нем выведены две буквы — «М. Ц.» — это мои инициалы. Никто теперь об этом и не вспомнит, раз нет Дзерассы. Дуду? Откуда ей помнить всякие мелочи? Ее сердце пережило великое горе. У нее была большая счастливая семья. А осталось их двое. Она и Залина. Шесть сыновей... И ни один не вернулся с войны. Но она не сдаётся. Да, силен человек. Дуду, наверно, забыла, что бурку эту Батырбеку подарил когда-то я. Она ей теперь не нужна, но вот видишь, хранит ее как память о сыне. И не просто хранит, а бережет, мухе не даст сесть. Она и сейчас как новая, только вот крючок почернел. Трудно разглядеть буквы. А знаешь как он сверкал! Мне эта бурка досталась от друга моего отца, когда я был еще мальчишкой. Друг отца, кумык, был прославленным мастером по золоту и серебру. Какие только узоры не чеканил он на поясах, седлах или кинжалах. Его насечку узнавали сразу, что называется, по почерку. Он часто бывал у нас в гостях и однажды, не знаю уж почему, оставил мне свою бурку. Сколько лет прошло с тех пор!

«В дождь не забывай шубу, а в ясный день — бурку». Так учил меня дед. И когда, бывало, мы на лето из института уезжали в колхозы, я все-

гда брал ее с собой. Батырбеку моя бурка шла больше, чем мне. Он был высокий, широкоплечий, стройный. Накинет на плечи бурку — залюбуеться.

В одно погожее лето мы, студенты, убрали пшеницу в колхозе. Это было неподалеку от села Фарн. Однажды вечером Батырбеку во что бы то ни стало захотелось повидаться с Дзерасой. День угасал. А небо было хмурое, горы затянуло тучами. Вот-вот хлынет дождь! Я отговаривал Батырбека, а он ни в какую, накинул мою бурку и зашагал в Фарн. Едва он успел уйти, как зарядил дождь. Я ждал его до полуночи, потом завалился спать — устали мы за день. Проснулся от скрипа двери. Гляжу — Батырбек вешает на крючок бурку. Ничего я ему не сказал, и он прилег рядом. Лежит, не спит, все смотрит в открытые двери на мутное небо.

«Не промок?» — шепнул я, чтобы никого не разбудить.

«Спасибо тебе... Ох, если бы не твоя бурка... Она была в одном платье... Словом, в следующую субботу посылаю к ним сватов...»

Утром я подарил ему свою бурку...

Таргайдон с шумом перекатывал камни, разбрасывая брызги. Луна застыла над самой верхушкой Казбека, освещая окрестности.

Муради встал, отряхнул бурку, аккуратно сложил ее, посмотрел еще раз на пень и зашагал в село. Я последовал за ним. Шли мы молча. Но Муради, видно, не давали покоя воспоминания, и он снова заговорил:

— Вот так-то складываются человеческие судьбы, Ахсар. Я часто думаю о Дуду. Что бы стало с ней, если бы не Залина? А ведь есть такие люди, которых не трогает чужое горе. Нет им дела до матери, потерявшей всех своих детей! Не трогают их слезы ребенка, бегущего с вытянутыми ручонками навстречу каждому, словно это и есть его отец!..

Сто раз прав Муради. Как много горя выпало на долю наших отцов. А моим сверстникам, а мне самому все ли уж так легко досталось?

Но надо уметь при всех, даже самых страшных, обстоятельствах сохранить не только человеческое достоинство, но и чистоту и, я бы сказал, слушая сейчас Муради, красоту мыслей и чувств. Муради, не стыдясь, раскрыл передо мной сегодня свою душу. А Дзибо хоть раз поговорил со мной по-человечески? Я для него взбалмошный парень, да и только. А как беспокоится Муради о Дуду! Если бы и Майрам так же заботился о ней! Ведь правильно говорит Муради — таких, как Дуду, на руках надо носить, беречь их надо. Достаточно одного дурного слова, одного косого взгляда, чтобы открылись старые раны...

— Ахсар, зайди завтра за мной. Смотри не проспай,— перебил мои мысли Муради и потрепал меня по плечу.

Я медленно брел домой. Было пусто кругом. Все спали. При лунном свете наше село мне показалось удивительно красивым. Я шел и не узнавал улиц, будто впервые попал сюда.

Родное село... Кто помнит, с каких пор стоит оно здесь, у подножия Лысой горы, на маленькой поляне. Сколько поколений сменило здесь друг друга! Сколько молодых, здоровых людей, мечтавших о жизни и труде, погибло вдали от родных очагов! Добрая память о них живет в сердцах сельчан. Их постоянно вспоминают и на работе, и на собраниях, и на гулянках. Ведь так и говорят: «Школа Царая!.. Мост Басила!.. Улица Батраза!..» Это они строили...

Улица Батраза... Я хорошо помню Батраза. Когда я уходил в армию, он еще работал председателем колхоза. Пятнадцать лет он был председателем. Помню, будто это было вчера, его выступление на общем колхозном собрании:

— Не браните меня, дорогие односельчане, но я что-то начинаю сдавать. Сердце пошаливает. Сами знаете, что я никогда не боялся трудностей. Теперь настало время сменить меня. Так будет лучше. Иначе дело может пострадать. Я бы предложил Айсаду. Знающая, всеми уважаемая...

Не согласились в районе. И влетело ему, бед-

няге, за то, что он предложил мою мать. А потом во время жатвы, прямо на току, без слов, без жалоб, упал Батраз, и не стало его. Как солдат в строю, погиб. А теперь посреди села под огромным дубом поставили ему памятник. Самую красивую улицу называли его именем. И если у нас случается что-нибудь хорошее, всегда вспоминают его имя добрым словом...

5. СТОРОЖ СЕЛЬМАГА

— Ахсар, хорошо бы еще повидаться с Мамсуром. Вдруг завтра не удастся выбрать время,— сказал Муради, когда мы на следующий вечер возвращались с поля в село.— Как ты думаешь?

— Пойдем. Днем его и не найдешь,— ответил я.

У сельмага мы никого не застали, хотя издали видели, что под деревьями, возле магазина, двигалась чья-то темная фигура. Куда же он девался? Постояли, помолчали. Странно. Палка вон стоит, прислоненная к двери.

— Раз палка его здесь, значит, и сам Мамсур где-то поблизости,— тихо сказал Муради и нарочно кашлянул, чтобы сторож услышал его.

Никто не откликнулся. Но через минуту во дворе сельмага слышались шаги, покашливание, и наконец над плетнем показалась верхушка папахи Мамсура.

— Кто вы? Что надо?..— направив на нас одностволку, рявкнул Мамсур.

— Свои. Что это у тебя? Ты же свое оружие оставил у двери магазина,— пошутил Муради.— За такой проступок солдата строго наказывали. Видно, ты никогда не служил в армии.

— Служил или не служил, не твоего ума дело. Я спрашиваю, что нужно, чего в поздний час шляетесь вокруг магазина? Мне лучше знать, какое оружие настоящее, а какое нет. Убирайтесь-ка подальше...

Дуло ружья задвигалось.

— Плохо целишься, Мамсур.

— Еще раз говорю: уходите подальше от магазина!

— А не боишься промахнуться? Ведь осрамишь себя на все село...

— Я не привык зря тратить порох. Если понадобится, в обиде никто не останется. Еще раз спрашиваю: что вам здесь нужно в полночь?

Мамсур взвел курок.

«А вдруг он в самом деле выстрелит?» — подумал я про себя и шагнул поближе к дереву.

— Чего ты пристал к нам со своей одностволкой, Мамсур? Выходи на улицу, разговор к тебе есть.

— Всему свое время. Или боитесь, что день не наступит?

— Мамсур, это я, Ахсар... Выйди, пожалуйста. Со мной гость...

— Гость, говоришь? А для чего я гостю в полночь понадобился? — заметно смягчил тон Мамсур и, сняв с плетня одностволку, вышел из ворот. — Так ты говоришь, с тобой гость? Поздний гость, бесприютный, значит? Что это за мужчина, который в селе не нашел себе приюта?

— Думаешь, легко найти приют, когда тебя встречают с ружьем?

— Кто в неурочное время решил посетить магазин, того иногда и погорячей встречают... Да ведь это же и вправду Ахсар! Извини. А вы кто будете? Ваше счастье, что наткнулись на сторожа с ангельским нравом, не миновать бы вам беды... Здравствуйте! Вы уж простите меня — не признал сразу. В темноте принял вас за хулиганов...

— Хулиганы... Грабители... Оставалось еще пустить в дело ружье, тогда уж все, — сказал Муради, пожимая руку Мамсура.

— А что же вы думаете, и у нас завелись хулиганы. Немного их, но есть. Посмотришь со стороны, прямо ангелы. Да не тут-то было. Не моргнув глазом, человека обидят... Особенно такого, как я, со слабым зрением и старого... Ничем они не заняты, безобразничают только. Здо-

ровенные парни, а шатаются без дела по улицам. Совести у них нет. Вот и приходится быть начеку,— как бы оправдываясь, проговорил Мамсур, а потом подошел к дверям магазина и тяжело опустился на камень.

— Как видно, они тебя частенько беспокоят, если ты на них так зол. Почему же не одернете их как следует? — заметил Муради, опускаясь рядом со стариком.

— По правде говоря, парни они неплохие. Только надо их делом занять! Мы сами виноваты... А если бы, скажем, тебя держать на всем готовом в молодые годы? Раскис бы. И хорошая одежда, и еда — всего у них вдоволь. А работать никто не заставляет. Они и разгулялись, с жиру бесятся. Неправильно это. Пропадут они. Мало того, что сами лодыри и хулиганы, они дурно влияют на других. Я и тебя, Ахсар, вот в присутствии Муради упрекаю. Сам ты ведь не якшаешься с ними, работаешь. И молодежь расшевелил. Все мы довольны тобой. Вот бы еще этих бездельников унять. Займись ими. Водка до добра не доведет, а другой заботы у них нет, и никто о них не думает. Поглядите, что творится в селе. С каждым днем дела идут все хуже и хуже. Молодежь разбегается. А чье это село? А колхоз чей? А для кого и ради чего мы трудимся? Кому все это останется? Вам, молодежь! Конечно, и мы, старики, не умываем руки. Здесь мы родились, здесь прожили до седин. Видели и добра вдоволь, хлебнули и горя. Ко всему привычны. Муради, ты прости, в наших сельских делах ты, наверно, еще не совсем разобрался,— молодежи нужна помощь, крепкая рука, умная голова. Добрым словом надо согреть их души, тогда они полюбят землю-кормилицу. И не будут порхать по ней. Не покинут родных очагов. Кто в Садон, кто в город подается... Я не говорю, что там люди не нужны. Нужны, даже очень. Но мы, старики, тоже ведь не вечные. И хотим передать свое дело в надежные руки. Беспризорная у нас молодежь. К труду непривычная... Вот развлечься ей негде. Скука-то и гонит ее из

села. А Дзибо на это наплевать! Был у нас клуб, старый, правда, и то наше правление превратило его в амбар. А летом там держат цыплят. Прежде я не обращал на это внимания. Все недосуг было. День-деньской в поле, некогда оглянуться. Теперь-то у меня достаточно времени,— усмехнулся Мамсур.— Стал сторожем, только и делов, что следить за ними. Признаться, жалко мне их. Я бы на их месте не так поступил с Дзибо.

Муради с любопытством приглядывался в темноте к собеседнику, а последние слова, видно, его очень заинтересовали. Он даже потянулся к нему.

— А что бы ты сделал, Мамсур?

— Сорвал бы замок с дверей клуба,— невозможно ответил старик.— Хоть бы вы сами курятник выстроили,— обратился он ко мне.— Разве для этого тоже кирпич требуется? Курам и мазанка хороша. За хворостом далеко не надо ехать. Живем под самой горой, лес под боком. Чего же еще? Если вы, молодые, не можете или не умеете, скажите нам, старикам. Нам не занимать умения и охоты работать.

Горько мне было слушать это, но Мамсур был прав. Я весь покрылся холодной испариной. Боялся взглянуть на Муради, знал, что он вспомнит наш недавний разговор.

— Я же вам говорил, чтобы очистили клуб. Чего же вы ждете? — повернулся ко мне Муради.

— Дзибо нас все завтраками кормит...

— Да что вы, в самом деле, из Дзибо бога делаете. Нужно быть более решительным, Ахсар.

Я промолчал. А Мамсур, как бы пожалев о том, что его слова прозвучали жалобой, добавил:

— Ахсар не так уж виноват. Ты сам узнаешь, кто здесь во всем повинен...

— А что я узнаю, Мамсур? Дела колхозные — дела общие, и не должен один человек верховодить. Если все отдать на откуп Дзибо, а самим попрыгаться, как трусливым зайчишкам, что же получится? Разве это правильно?

— Нет, Муради! Но у иных дела не так уж распрекрасны, как они их умеют показать. Говорить гладко и красиво — это еще не все...

Мамсур разгреб кончиком палки дорожную пыль, глянул из-под низко надвинутой на лоб папахи на Муради и уставился в землю.

Муради не возразил ему. Я с беспокойством поглядывал на умолкших собеседников. Как бы не расстроилось так хорошо начатое дело.

Легкие порывы ночного ветерка шевелили опавшие листья липы. Стоял едва различимый шорох. Над головой, будто кто-то нечаянно опрокинул ковш с огнем, сверкали звезды. Ни Мамсур, ни Муради не видели сейчас всего этого.

— А какие у вас-то новости, Муради? — наконец прервал молчание Мамсур. Видно, его все-таки тревожил наш поздний приход, и он решил выяснить, что нас привело.

Муради в двух словах рассказал все дневные новости.

— Вот мы с Ахсаром целый день обходили поля. От самого родника до села шли мы вчера с Асабе и поговорили с ним по душам. Теперь решили проведать тебя и тоже поговорить по душам, — полушутя, полусерьезно сказал Муради.

— Асабе? Опять за водой ездил?

— Да, за водой. Шли мы с ним от родника до самого села, и он все не мог наговориться. И все о Майраме. Даже о жене его вспомнил.

— Асабе хвалил Майрама? И его жену? — Мамсур заерзал на месте, хотел было встать, потом подобрал под себя полу пальто и, вроде бы успокоившись, помолчал немного.

— Асабе хвалит Майрама, — заговорил он. — Это новость! А вы уши развесили!.. Асабе жене Майрама родниковую воду возит. Нашел себе работу! А ведь был тоже орлом, гордый был человек Асабе, не подступишься. Да вот скрутила его беда. Водовоз... Однажды я, правда, залюбовался им, ей-богу, залюбовался. — По голосу Мамсура мы поняли, что он припомнил забавный случай и, кажется, перестал гневаться. — Арба его застряла в реке. Начался дождь. Он кричит,

ругает лошадь. Майраму тоже досталось, и родичам его, и живым и мертвым тоже. Слава богу, в это время проезжала мимо колхозная машина. Ну, вытащили, значит, Асабе с его клячей. Благодарит он шофера, а сам весь в грязи и злой как черт. Шофер у нас парень бывалый, не упустит случая пройти по адресу начальства. Взялся он сбрую на лошади поправить, а сам и говорит:

«В следующий раз запряги самого Майрама. Не бойся, он вытянет, тогда, пожалуй, лучше поймет вкус родниковой водицы. Ему это на пользу пойдет. Только пустишь его чуть повыше. Там поглубже, да и к мосту поближе. Может, он хоть тогда заметит, как развалился наш старый мост...»

Асабе весь побагровел, но молчит, слова вымолвить не может. А тот свое:

«Следи получше за пробкой, а то выплеснешь всю воду и придется тебе в такой дождь опять тащиться к роднику. Но прости меня, Асабе, если в следующий раз ты хоть до ушей завязнешь, я не стану вытаскивать тебя. Пусть даже сам Майрам просит. Пока, всего хорошего!»

Парень сел в машину и укатил. Асабе от злости потерял дар речи. Грязный, промокший до нитки, приехал во двор сельсовета наш Асабе. Как раз и я оказался в ту пору там. Не помню уж, что меня привело в сельсовет. Кажется, насчет сыновей, нужна была какая-то бумажка.

«Здравствуй,— говорю,— дорогой Асабе, добрый день».

А он:

«Пусть не увидит добра в своем доме тот, кто заставляет меня так мучиться!»

Это было совсем недавно. Еще и месяца нет. А теперь подменили его, что ли? Теперь для него хозяин ангел, святой. Будто мы не знаем, что это за птица!

Старик не находил себе места. От волнения он тыкал в землю острый конец своей палки. Борода у него тряслась, и он исподлобья наблюдал за Муради, ждал, что тот скажет. Но Муради не торопился с ответом. Ему, наверно, было не-

приятно, что старик неправильно понял его. Но когда Мамсур снова разошелся и стал на чем свет стоит поносить Асабе — тут уж досталось и его покойным предкам, — Муради не выдержал:

— Ты не так меня понял, Мамсур. Меня как раз очень порадовал Асабе. Потому, собственно, мы и к тебе завернули.

— Не зря говорят, что глухой может навлечь беду. Ведь я подумал, что он в самом деле Майрама расхваливал, потому и растрещался как сорока.

— Завтра он расстанется с лошадыю Майрама. Думает снова организовать звено. Да и мостом обещал заняться вместе с другими стариками.

— Верно. Нам должно быть стыдно. У нас всего-навсего один мост, да и тот... — не договорил Мамсур и испытующе посмотрел на Муради.

— Надо правду сказать, Мамсур, — негромко заметил Муради, — зря обидели Асабе. Совершенно зря. Но и он оказался слишком слабым. Можешь бороться, борись! А он может, ты это знаешь. И не к лицу ему было опускать руки. Тем более нельзя сдаваться, когда чувствуешь свою правоту.

— А что мог он поделывать? У него на руках внуки, беспомощные ребятки. Он не знал покоя ни днем ни ночью... Тяжело было ему. И при таком положении обидели человека, оскорбили... — Мамсур приподнял папаху и в упор посмотрел на Муради. — Муради, дорогой, человеческое сердце — оно хрупкое. Немного надо, чтобы ранить его. А потом оно долго не заживает, долго не утихает боль. Так и с Асабе вышло. Нанесли ему сердечную рану, да вот, слава богу, теперь она заживает. Эх, Асабе, Асабе... — Мамсур растянул конец фразы. — Так, говоришь, он звено опять организует?

— Он решил вернуть вашим землям их былую славу. И кое-кому утереть нос.

— Это нам, что ли, утереть нос? А мы что же,

шелуха от мушмулы? Разве мы не на этой же земле выросли? Или нас Асабе учил работать? Не-ет! — возмутился Мамсур.

Из-за вершин тополей выглянула луна. Лунный свет, пробиваясь сквозь ветви, дрожащими полосами лег у ног Мамсура. Старик концом своей палки тронул лучик и взглянул на луну. Лицо его было задумчиво, замкнуто. Он снял папаху, потер лоб и вздохнул.

Мы не сомневались, что Мамсур сейчас же переменит тему разговора. Он был не из тех, с которыми легко договориться. «Тяжел на подъем» — так отзывались о нем односельчане. Прежде чем взяться за дело, он обдумает его со всех сторон. И если решится, ни сил своих, ни времени, ни труда не пожалеет. Откровенно говоря, мы и не надеялись услышать от него сегодня, что он согласен вернуться в родной колхоз.

— Когда я передал Асабе слова Мусса, он места себе не находил, — отворачивая голенища запыленных сапог, сказал Муради.

— Мусса... Это Кутаров Мусса? А почему у вас зашел разговор о нем? — с любопытством спросил Мамсур.

— Ему обидно, что Асабе стал водовозом, — ответил Муради. — И тебя он тоже не обошел. Тебе тоже от него досталось.

— Мне? — как будто не поняв слов Муради, замотал головой Мамсур. — Мне? От Кутарова Мусса?.. Посмотрите на него, пожалуйста! Кричит, будто овладел крепостью Карс. Ей-богу, Муради, в наши времена Мусса никто даже не замечал. На собраниях не он, а Асабе всегда сидел в президиуме. Он был в почете, а не Мусса. Если ты увидишь его, напomini ему, пожалуйста, пусть расскажет, как я его поймал на своем участке. Разве мы не знаем Мусса? Конечно, в пустыне и лиса владыка.

— Почему ты так говоришь, Мамсур? Мусса все уважают. Человек он трудолюбивый, его от земли не оторвешь.

— Я разве спорю? Он в почете. Но зачем же

сплетни разводить? Это недостойно. Мы тоже следим за его делами, и сдается мне, что слишком он вознесся. Сам себя хвалит — это дурное занятие.

— Хорошо, когда есть чем хвалиться. Но что он все-таки делал на твоём участке? Не из тех ли он воров, что повадились тогда на участок Асабе? — хитро улыбаясь, сказал Муради.

— Нет, боже упаси, Мусса не такой человек. Он умеет дорожить и своей и чужой честью. Он не позарится на чужую славу. Ему и своей хватает. А было это так. Жили мы по соседству, жили дружно. Об этом знали все и в селе и даже в районе. Грешно кривить душой — посевы у него бывали отменные. Только в том году, когда мы вызвали друг друга на соревнование, он отстал. На второй год тоже. Не хватило, значит, духу. Правда, мы здорово поработали. Я говорю о своем звене. А звено Асабе? С ними еще труднее было тягаться. О нем вся Осетия говорила. Ты не смотри на его неказистый вид. Работяга он хоть куда, сильный, упорный, одним словом, двухильный. Он секреты земли знает лучше, чем собственную семью. И на помощь щедрый, не откажет в совете, но первенства не уступит ни за что...

Много чего можно порассказать, но эдак и до рассвета просидим. Так вот, однажды, в обед это было, решил я проведать свой участок. Глянул — и глазам своим не поверил: кукуруза шевелится. Что за напасть, думаю. Может, скотина какая забралась, будь она неладна! Завернул я в поле. Какая там скотина. Ходит Мусса, чего-то высматривает. «Здравствуй, — говорю, — Мусса. Еще кукуруза не поспела, рановато к нам пожаловал. Дней через пять, — говорю, — милости просим. Угостим, не поскупимся». — «На что мне твое угощение! Я пришел посмотреть кукурузу, — ответил Мусса, взялся за початок и не смог обхватить его пальцами. — Да, урожай у тебя хорош». — «Не должен быть плохим. А посевы Асабе видел?» — спросил я. «Видел, — рассматривая початки и вздыхая, говорил Мусса. —

Этот старый черт знает какую-то тайну. Земля у вас, видать, лучше».

Мусса глянул под ноги, растер носком сапога рыхлую почву и пожал плечами.

«Уж ваши-то земли на всю Осетию славятся. Вода у вас рядом. Лес близко», — заметил я. «Так в чем же тогда дело?» — воскликнул Мусса.

Я показал ему свои руки.

Тем летом мы все поработали на славу. И случилось так, что в газете поместили наши фотографии. Мусса сидел между мной и Асабе и в руках держал большой початок кукурузы. Какой черт меня попутал, не знаю, но на районном совещании я ему сказал, показывая эту самую газету: «Весной ты не зря крутился вокруг этого початка. Наверно, знал, что тебя будут фотографировать». — «Как? — Кровь бросилась в лицо Мусса. — Я? Початок с твоего участка? Я тебя достойным мужчиной считал, а ты...»

И раньше, бывало, мы часто с ним шутили. Но на сей раз мои слова обернулись, видно, не шуткой. Я это понял, но было поздно. Просил у него прощения, всячески старался угодить ему — все напрасно. И сам я никак не мог успокоиться, нехорошо получилось. Рассказал все Асабе. Он кое-как уломал этого гордеца и недотрогу. А после совещания мы все вместе пошли к нам. Я зарезал самую большую и жирную индейку, и тут мы помирились. Не помню, сколько тостов было сказано, но вот Мусса поднял рог и обращается к Асабе: «Так мы помирились, говоришь, да?» — «Если я еще что-нибудь соображаю, то помирились», — ответил Асабе.

Тогда Мусса говорит мне: «Ей-богу, Мамсур, я бы никогда не поверил, чтобы ты или Асабе захотели меня обидеть. Не два века нам жить. Три старика. Три друга. Дай бог здоровья тем, кто уважает нас. Короче говоря, если вы сейчас же не пойдете ко мне, я и разговаривать с вами не буду больше. Расскажите моей старухе, что на совещании было, и она вам все свои запасы выложит...»

Мы долго не соглашались. Особенно упрямымся Асабе.

«Как же так? У меня тоже есть дом. Тогда уж лучше пойдем ко мне, а потом поглядим»,— говорил Асабе. «Асабе, извини, пожалуйста, но я раньше пригласил»,— не сдавался Мусса.

Что было делать? Пошли в гости к Мусса. Помню, вечерело, когда мы переступили порог его дома. Жаль, не было вас тогда с нами. Он зарезал самого жирного барана, и мы просидели у него всю ночь до самого утра. Помянули в то-стах всех, начиная от самого бога и кончая покойным дедом хозяина. Вспомнили молодость. Да-а... Вот так дружно мы жили с Мусса. Видно, в одном он прав...

Мамсур не договорил. Встал, потянулся и сказал, как бы извиняясь:

— Уже петухи поют, а я вас разговорами занимаю.

— Ничего. Правда, не поужинав, не очень-то приятно слушать про самых жирных индеек и про самых жирных баранов,— отшутился Муради и тоже поднялся.

— Если увидишь Мусса, передай ему: Мамсур, скажи, после твоих упреков на барана уже не согласится. Готовь, скажи, быка. Асабе не говорил, не собирается он сюда?

— Нет, не говорил. Завтра увидишься с ним.

— Хотелось бы сегодня повидаться.

— Завтра утром приходи в сельсовет, он будет сдавать лошадь. Только помни, Майрам без водовоза не сможет жить, как бы он тебя к себе не перетянул.

— Нет! Если Асабе счел это дело для себя недостойным, значит, и Мамсуру оно не подойдет. Клянусь отцом! Думаете, если я торчу ночами у магазина, значит, руки сложил? Нет! Мамсур, пока он жив, будет Мамсуром!

— Вот и Асабе рассуждает точно так же. И я ему верю.

— Надо верить, обязательно надо верить трудовому человеку. Кто поверит, тот не ошибется. Хорошо вы сделали, что завернули ко мне.

Спасибо, что не забываете стариков. Рано еще сбрасывать нас со счетов.

Мы распрощались с Мамсуром и ушли.

Село спало. В канаве тихо журчал ручей. Озаренные лунным светом, вдали сверкали белоснежные вершины гор.

Из-за угла сельсовета показался кто-то. Человек спешил к магазину. Мы с Муради шагнули под акацию, в тень. «Кто он? Куда спешит в такой поздний час?» — думали мы, приглядываясь к удаляющейся фигуре.

Это был Асабе. С неизменной палкой в руках он быстро прошел по той стороне улицы и остановился у магазина. Муради со смешком сказал:

— Держись теперь, Мусса!..

6. НА ФЕРМЕ

Утром я зашел за Муради, но уже не застал его. Напротив ворот, под алычовым деревом, стояли Бутиан и Дуду. Худощавая, в цветастом переднике, заткнутом за пояс, и в черной косынке, из-под которой вылезали седые волосы, Бутиан громко говорила:

— Жалко, вчера поздно узнала, а то бы пришла. Ведь я к нему в город собиралась ехать. Говоришь, он сейчас на ферме? Так прости меня, Дуду, я побегу, может, еще застану его. А вдруг не застану?.. Если он появится, попроси, чтобы подождал немного. Очень он мне нужен.

— Хорошо, скажу, — ответила Дуду. — Да ты его застанешь там.

Бутиан, не оглядываясь, почти побежала по переулку. Я подошел к Дуду, собрался было сказать ей доброе утро, но она меня опередила:

— Ахсар... Муради тебя ждал, ждал и ушел на ферму.

— Я немного задержался.

Мне стыдно было признаться, что я проспал.

— В прошлую ночь ничего, а в эту наша проказница телка его разбудила. На рассвете примчалась к стогу, будто с голоду умирает. Навер-

но, рога у нее чешутся, вот она их в стог и воткнула. Чуть было стог не опрокинула. Пока я бежала, чтобы прогнать ее, Муради уже проснулся.

Дуду улыбнулась, показывая свои ровные, вставные зубы.

Я поспешил на ферму. Улица, которую наши односельчане в шутку называют улицей Майрама, была оживленна, как и другие улицы села. Кто нес воду, кто гнал скот, а кто просто с соседом разговаривал. У ворот сельсовета стояла запряженная лошадь Асабе.

«Куда это собрался старик? Неужели опять за водой?» — подумал я и подошел ближе к арбе. В это время из ворот вышли Мамсур и Асабе, неся большую длинную доску.

— Что вы задумали? — спросил я стариков после того, как поздоровался с ними. И, кивнув на два бревна, что лежали на дне арбы, добавил:— Вы не боитесь, что Майрам увидит вас с этим хозяйством? Мамсуру еще не так страшно, ведь он не в сельсовете работает, но ты-то, Асабе, не боишься?

— А когда я их в лесу заготавливал, он рядом, что ли, со мной работал? И готовил-то я эти бревна специально для моста, а он все тянул. Он собирался из них шифоньер делать. Шифоньер из карагача! — озорно подмигнув мне, сказал Асабе и, заткнув за пояс подол бешмета, резко повернулся к Мамсуру.— Давай-ка погрузим еще и чинаровые доски, которые залежались под кукурузными стеблями в конюшне...

— Оставь, старик, не слишком ли ты разошелся? Давай лучше подождем Майрама. Ахсар верно говорит, мне-то он ничего не может сделать, вся вина падет на твою голову.

И Мамсур, делая вид, что ему совсем не хочется выносить доски, поплелся в сторону конюшни.

— Кто промок до нитки, тот воды не боится. Безвольный человек не станет героем, Мамсур... А потом я не пойму, за что он может нас наказывать. Не домой же мы их везем. Нужно строить

мост? Нужно. Он должен нас благодарить за это,—ответил Асабе и направился за своим другом.

— Как же, жди благодарности... Три пирога и графин водки тебе поставит,—послышался из сарая насмешливый голос Мамсура.

— Насчет этого будь спокоен. У него каждый кусок на счету, он хорошо знает, кому что надо дать.—И Асабе с улыбкой посмотрел на меня, будто не Мамсуру, а мне отвечал.—Неприятно, конечно, ему будет, но что поделаешь? У его родителей тоже не было шифоньера из карагача...

Я помог старикам погрузить доски на арбу.

— Ахсар, ты иди. Сейчас ребята придут, они нам помогут. Хотя, может, Мамсуру надо помочь? Вдруг он не выдержит такой нагрузки?.. Подумай сам, в магазине, когда человек вдыхает сладкие запахи конфет, у него появляются вроде бы лишние позвонки. Трудно, понимаешь, становится ему гнуть спину,—сказал Асабе, выволакивая доску из сарая.

Он оглянулся на Мамсура, зная, что тот не оставит его слов без ответа. И действительно, Мамсур не заставил себя ждать. Он подлом бешмета вытер пот со лба и сказал своему другу:

— Тебе что, ты и шагу пешком не делаешь. Или верхом, или на арбе. Ты, можно сказать, вырос на чистой родниковой водичке... Сейчас поглядим, будет ли у тебя еще охота считать мои позвонки. Кажется, над твоей головой сгущаются тучи, друг мой. Вон Майрам идет...

— Пусть все мои несчастья перейдут к нему. Никогда он до обеда не вставал, что с ним сегодня стряслось?

— Мост собираетесь строить? Давно надо было за это взяться,—даже не сказав «доброе утро», с деловым видом заявил Майрам.

На нем была выгоревшая старая гимнастерка, сапоги покрылись таким толстым слоем пыли, будто он всю ночь ходил по полям.

— Муради нас отругал как следует. Неужели, говорит, под носом у сельсовета не можете

отремонтировать мост? Не стыдно вам? — сказал Асабе и посмотрел на Майрама.

— Справедливый упрек. Готовый материал в сарае... Взялись бы как следует, всего-то один день работы. Ведь ты же знаешь, Асабе, мне голову поднять некогда, столько хлопот. Сколько раз я собирался сказать тебе, что надо отремонтировать мост, да забывал. Все дела, дела... А Муради меня не спрашивал?

Асабе повел бровью и ответил:

— Как же!.. С тебя и начал разговор.

— А где он сейчас?

— Не знаю, пошел прямо вот по этой улице.

— Один?

— Один.

Майрам ничего не сказал и решительно направился в сельсовет. Уже из коридора донесся его голос:

— Поторапливайтесь. Я вам помогу...

— Интересно, с каких пор стал таким заботливым наш начальник? Посмотришь, Асабе, он нам еще отомстит за свой шифоньер, — сказал Мамсур и потянул лошадь за уздечку.

Откровенно говоря, если бы я не торопился к Муради, я бы еще задержался со стариками. Несмотря на то что они были старше моего отца, мне всегда было с ними интересно. Я по-настоящему их любил. Они мне отвечали тем же. Я любил их шутки, их веселые перебранки. Чего только они не говорили друг другу, чего только не сочиняли друг на друга. Родились и выросли они в одном селе, можно сказать, как братья, ничего не тая друг от друга. И если, бывало, один задевал другого, то второй за словом в карман не лез. Как-то Мамсур в шутку сказал:

— Асабе, чувствуешь, как дует? Ты хоть бы камни в карманы положил, что ли, а то как бы ветром тебя не сдуло.

— Ты за меня не тревожься, лучше пойди утешь внука, а то он вон там за углом плачет горькими слезами.

— Что с ним? Я его только что оставил здоровым и веселым, — забеспокоился Мамсур.

— Дедуся, говорит, проглотил мой самый большой мяч, — с серьезным видом сказал Асабе.

И на пиру и на поминках оба старика всегда сидели рядом. И место тамады тоже занимали вдвоем. В селе к этому настолько привыкли, что и в голову никому не приходило посадить их врозь.

Дошел я до окраины села и повернул к ферме. Мне навстречу быстро шла Бутиан. Поравнявшись со мной, она резко остановилась и сразу же заговорила. Видно было, что Бутиан не может больше сдерживать давно накопившуюся обиду.

— Обманщик он... 'Я про нашего председателя Дзибо говорю. Вот уже месяц, как я пороги обиваю. Язык у меня стал тоньше волосинки. А он меня все завтраками кормит. Обманывает, будто я ребенок. Глядя на таких людей, и жизни не рада бываешь. Но как они красиво умеют говорить, будь они прокляты. Ведь прямо в глаза тебе смотрит и лжет. Раз десять он мне говорил: «Иди, успокойся и нас оставь в покое. Если не завтра, так послезавтра непременно пришлю людей и отремонтируют тебе дом». Я ждала, ждала, но никто, конечно, не приходил. И вот позавчера опять сама пошла к нему. Как только он меня увидел, вскочил да как закричит:

«Надоела ты мне, Бутиан. Можно подумать, что колхозу делать больше нечего, как только отремонтировать твою развалюху? Чего ты пристаешь ко мне каждый день?!» — «Ничего я к тебе не пристаю, Дзибо. Если бы ты мне не обещал, я бы уже сама что-нибудь придумала», — ответила я. «Неужели нельзя было обойтись без жалоб в обком? Не могла еще денек подождать? Иди отсюда, и пусть тебе помогают те, кто научил тебя жаловаться в обком. Нам сейчас не до тебя!» — «Какой еще обком? Я, кроме тебя, никому ничего не говорила. Давно бы надо было сказать, тогда и мой бедный сын тоже бы зря не надеялся».

Уж дальше и не помню, что я еще говорила.

В голове у меня помутилось, сердце защемило, еле до коридора добралась. Там прислонилась к стене и не знаю даже, сколько простояла. А сын уже второй месяц не встает с постели. Совсем ослаб. Дом того гляди развалится, а он, чувствуя свою беспомощность, еще больше страдает. Клянусь покойными родителями, что я начинаю опасаться, как бы он с собой чего не сделал. А если с Асланбеком что случится, на что мне и дом и вся моя жизнь?

Я вспомнил худого, бледного Асланбека, едва передвигающегося на костылях. Бедная Буттиан намучилась с ним. А ведь в свое время она считалась лучшей дояркой в колхозе. Как она постарела!

— Дай бог здоровья товарищам Асланбека, — продолжала старуха, — они его не забывают. На эту осень опять выхлопотали ему путевку в Крым. И собес ему помог. Скоро ему ехать надо, а дом едва держится, один угол совсем завалился. Если бы Дзибо меня не обнадежил, товарищи сына давно бы помогли отремонтировать. Я и об этом говорила нашему председателю, просила, чтобы он дал материал. Но он и слушать меня не стал. «Сын, говорит, твой за нас воевал и ты сама все время работала в колхозе, пока здоровье не подорвала, так что же мы, не выручим тебя в тяжелый момент? Все сделаем. Это наша обязанность».

А теперь так обидел меня: говорит, что я на него в обком жалобу подала. Клянусь единственным сыном, я даже и не знала об этом, пока он мне сам не сказал. Может, им кто-нибудь из друзей Асланбека пожаловался, а то откуда бы Муради узнал о моем доме. Сейчас, когда он меня увидел, сразу же спросил: «Ну, как ваш дом, Буттиан? Как здоровье Асланбека?»

Я очень удивилась. Откуда, думаю, он все знает, ведь я ему еще ничего не сказала.

«Извини, — говорю я Муради, — я к тебе из-за дома и пришла. Даже в город хотела к тебе поехать. Никто к моему дому и пальцем не прикоснулся. А позавчера меня Дзибо из правления

прогнал. С твоей, мол, развалюхой ничего не случится, не до тебя нам сейчас. А что мне делать? Что я у него прошу? Чтобы на моего больного сына дождь не лил! Скажи ему, Муради, тебя он послушает».

Не знаю, понравились ему мои слова или нет, но я все высказала. А кому мне еще говорить? Правда, он внимательно выслушал меня, потом сказал: «Иди, Бутян, мы тут сами потолкуем».

Как думаешь, Ахсар, не обманет он меня? Можно ему верить? Или еще куда пожаловаться?

— Никуда больше не жалуйся. Муради все сделает.

— Чтоб твои болезни перешли ко мне, я тоже поверила ему. По всему было видно, что сердится он на Дзибо и Майрама. Теперь Дзибо еще больше на меня разозлится. А что мне делать, я перед ним не виновата. Да и не боюсь я его. Хуже, чем есть, не будет. Сам он виноват. Подумаешь, тоже пуп земли, ключ от ущелья. И о Майраме я сказала Муради. Пусть и о нем знает. «Позорит,— говорю,— власть». А то до каких пор, Ахсар, будем мы держать язык за зубами? Все видят, что человек без дела по улицам слоняется, а ведь никто не скажет, чтобы хоть чем-нибудь занялся.

Подошел он как-то ко мне, а от него водкой так и разит, и ничего я его не просила, сам начал говорить. Да так разговорился, что на словах мне три дома построил. Зачем, скажи ты мне на милость, он мне на рану сыплет соль? Ветер он, а не председатель сельсовета... Ну, я побегу, сын еще ничего не ел сегодня. Одного оставила, — кивнула мне Бутян и зашагала прочь.

Я смотрел ей вслед и, хотя она меня ни в чем не упрекала, чувствовал себя виноватым. В самом деле, зачем мы ждали Дзибо? Знаем же мы его. Наши комсомольцы в два дня могли бы все сделать. Ведь всегда так было, что прежде всего на селе помогали вдовам. Почему же мы до сих пор не додумались до этого?

Во дворе фермы никого не было. Только на

секунду показалась девушка в белом халате и пестрой косынке и, не взглянув на меня, скрылась в дверях. Я хотел пойти вслед за ней, но тут из крайнего коровника вышел заведующий фермой Хамби. Кепку он зажал под мышкой и огромным, с наволочку, платком вытирал пот с лица. Он кого-то ругал, ворчал себе под нос и меня не заметил.

Я еще помню Хамби подтянутым и тонким. А теперь это обрюзгший человек с вислым животом. Узкий, с серебряной оправой пояс он, наверно, куда-то забросил. А если бы и вздумал его надеть, то ни пояса, ни серебряной оправы никто бы и не увидел, они исчезли бы в складах жира. А без пояса, как известно, неприлично осетину появляться на людях. И сын, Альберт, купил отцу в городе армейский ремень. Со стороны кажется, что только ремень и поддерживает живот Хамби, а то бы он упал ему на колени. И видно, что Хамби очень доволен своим ремнем. И живот поддерживает, и руки есть куда заложить.

Смотрю я на заведующего фермой и диву даюсь — только рыжие, торчащие, как иглы, щетинистые усы и остались от прежнего Хамби.

— Ах, и ты здесь? — вытирая шею, наконец заметил меня Хамби. — Иди быстрее! Без тебя Муради и кусок хлеба проглотить не может. — Рыжие его ресницы затанцевали.

«Что с ними случилось? И Майрам и Дзибо смотрят на меня, как волк на ягненка», — подумал я.

— А вы разве для Муради барана зарезали? Зачем я ему так срочно понадобился?

— Да. Девять баранов и одну серую телку... Иди, а то тебе ничего не достанется. За то, что ты три дня ходишь за ним по пятам, он тебе оставил самый лакомый кусок. Чем же еще он тебе за усердие заплатит?

— Зря ты, Хамби, на меня свой порох расходуешь. Кто-то не мог с конем справиться, так начал седло бить... Что я тебе сделал?

— Чего ты притворяешься? По-твоему, мы

ничего не понимаем? Так и знай, Ахсар, пожалей еще...

— Что ты мне угрожаешь? Скажи прямо, что тебе от меня надо. Я не для того сюда пришел, чтобы выслушивать твои упреки.

— Глядите на него, как он хвост поднял! Кто ты такой на ферме и что тебе тут нужно? Что ты воду мутишь? Зачем натравил на нас Муради? Думаешь, если он твой родственник, так на наши должности тебя поставят? И Залину тоже на нас натравил?

— Кто мой родственник? Кто натравливает Муради? Нет, Хамби, не будет того, что ты хочешь. Я тебе припомню твои слова.

Пальцы мои до боли сжались в кулаки. Я еле сдержал себя, чтобы не ударить его.

— Зелен еще! Молоко на губах не обсохло, а смеешь так со мной разговаривать! На родственничка надеешься? Муради здесь не вечно будет сидеть, уедет. А мы с тобой останемся. Если даже ты у него самый близкий родственник, все-таки он не бог и не царь. Понял? Не бог и не царь!

— Слушай-ка! — поймал я его за руку. — На сей раз прощаю тебе, как старшему. Но в другой раз не обижайся...

Наверно, я слишком крепко сжал ему руку, потому что Хамби еле вырвался. Отойдя в сторону, он насупленно посмотрел на меня и погрозил указательным пальцем:

— Попомни, Ахсар, пожалей еще, что так со мной обошелся. Не забывай, что у нас в роду есть и помоложе меня. В обиду не дадут. И у них в жилах течет осетинская кровь.

— Кажется, ты сам с себя маску сорвал. А твоего сына я нисколько не боюсь.

Во мне клокотала злость, но все-таки я заставил себя сдержаться. А так хотелось за все ему отомстить. Подумать только, что он наговорил: «Родственник Муради. На наши должности метишь. Натравливаешь его на нас. Подхалимничаешь». Откуда он все это взял? Зачем возводить на людей напраслину? Мое лицо, наверно,

выражало такую ненависть, что Хамби начал потихоньку отступать от меня, а потом и совсем скрылся за коровником.

Из комнаты отдыха донесся девичий смех. Я оглянулся. В окне я увидел круглолицую девушку с большой кружкой в руке. Делая мне какие-то знаки, она буквально покатывалась со смеху. Я не мог понять, что она показывает, но тут она сама вышла во двор.

— Зачем ты обидел нашего заведующего? — улыбаясь, спросила Афасса. — Ему и без того здорово досталось. Пот с него прямо градом катился. Знаешь, какой разнос устроил ему секретарь обкома. Видел бы ты Дзибо и Хамби! Пойдем, послушаешь. Такого у нас еще никогда не было. А как хорошо говорил Муради, какой он толковый! Когда он пришел, я первой попалась ему на свое несчастье. Он со мной так приветливо поздоровался, потом спросил, где Хамби. Черт меня за язык дернул, сказала, что к реке пошел. Тогда он попросил меня сбегать за Хамби. Я его там, у реки, по храпу нашла. Лежит себе под ольхой и храпит, а босые ноги в прохладной водичке держит. Вот как устроился! Я его растормошила, сказала, что его ждет какой-то гость из города. «Скажи, что не нашла меня, — протирая глаза, заорал он. — Поняла?»

Я ушла. Когда мне девочки сказали, что это секретарь обкома, я не смогла соврать ему и в точности повторила слова Хамби. Муради ничего не сказал и сам отправился на реку. Как он там встретил Хамби, что говорил ему, этого я не знаю. Только, когда они вернулись, Хамби держался до того застенчиво, ну прямо как молодая невестка, рта не раскрывал. Но когда проходил мимо, незаметно для Муради погрозил мне кулаком. Он любит кулаками грозиться и мастер кричать на нас. Хамби не из таких, чтобы обиды забывать. На подлость он всегда готов. Но я его не боюсь. Подумаешь, выгонит с фермы! Из дома-то он ведь не может выгнать меня. А на ферме я и так без всякого удовольствия работаю.

Я собрался было объяснить ей, что на ферме она не для Хамби работает, но в это время во дворе появилась Залина.

— Что ты здесь стоишь? Пойдем туда. Муради о тебе спрашивал, — почему-то взволнованным голосом сказала Залина и приложила ладони к горящим щекам. — Пойдем, пойдем. Ну, что ты смотришь на меня?

— Чего вы все такие красные выскакиваете оттуда, точно с пожара?

Она лукаво посмотрела на меня и сказала:

— Пойдем, сам увидишь, чего мы красные оттуда выскакиваем.

Хотя в коровнике двери и окна были настежь раскрыты, дышать там было нечем.

Ничего похожего на собрание я не увидел. Кто сидел на кормушках, кто стоял посреди помещения, кто привалился к стенке. Когда появилась Афасса с ведром воды, все зашевелились. Следом за ней зашел и Хамби. Он шел уж так осторожненько, будто боялся, что пол под ним провалится. Поискал глазами, где бы притулиться, и присел на краешек кормушки.

Дзибо в это время говорил о том, кто из доярок сколько надоил молока за прошедший месяц. При этом он показывал пальцем на девушек, одну называя козочкой, другую курочкой.

— Почему вы так странно называете доярок, разве у них имен нет? — остановил его Муради.

— Они так друг друга называют, и я к этому привык... — невольно улыбнувшись, ответил Дзибо.

— Вот о чем я хочу спросить, — опять прервал его Муради. — Скоро полдень, почему скот до сих пор здесь, сейчас ведь лето, жалко, что ли, свежего воздуха? Почему не выгоняете коров с утра на пастбище? Там же и доить можно.

Дзибо заметался, будто корова ему на ногу наступила, и с неохотой ответил:

— Привыкли к доильным машинам. Обычно коров рано на пастбище выгоняют. Это сегодня задержались. Чего ты, Хамби, молчишь, почему

скот до сих пор здесь? Сколько раз я вам говорил, чтобы скот вовремя выгоняли на пастбище?

— Сегодня выгоняли уже, да пригнали доить, — недовольным тоном ответил Хамби.

— Целый день перегоняем с места на место. Хоть бы дали нам захудалую цистерну для перевозки молока. Машины!.. А до сих пор мы машинами доили, что ли? Пустые разговоры! — в сердцах сказала Фардыг Кобесова.

Дзибо посмотрел на нее через головы других доярок.

— Если ты хочешь сказать, Фардыг, подойди поближе, а то тебя не слышно.

— Уж я давно перестала говорить. Толкуто от наших разговоров никакого.

— Говори, говори, — подтолкнула Фардыг сидящая рядом девушка.

— И скажу. На этот раз обязательно скажу.

Фардыг встала и прошла поближе к Муради.

— Не стесняйся, Фардыг, — ласково проговорил Дзибо. — Тут чужих нет. Ты же у нас одна из самых старых доярок. И хорошее знаешь и плохое. Тебя мы всегда слушаем...

— Фардыг готова превратиться в камень, только бы ее послушали... Я знаю, Муради, что мои слова кое-кому не понравятся. Вот Дзибо уговаривает меня говорить. Что мне скрывать, не верю я ему. Попробуй скажи что-нибудь Дзибо или Хамби — сразу рот заткнут. А у самих так языки развязываются, как хочешь обзовут, не постыдятся. А чтобы кого спросить или посоветоваться — от них этого не жди. Если даже глупость прикажут, все равно выполняй их волю. На то они начальники! Пусть заменят нас машинами, зачем мы здесь нужны? Ты, Муради, видно, слышал про Нину. Неплохая она была работница. Делала все, что могла. Но вскружили ей голову. И ведь угробили человека. Пусть и у тебя и у меня будет столько хороших дел, сколько раз она умывалась слезами. Я ее тоже не оправдываю. Слабой она оказалась, бесхарактерной. До Нины они мне предлагали, но я не поддалась, не согласилась. И тогда уговорили

Нину. Небось читали в газетах, как Нина «обогнала» всех доярок Осетии. Все мы удивлялись, и нам это дело так объяснили: держите язык за зубами, это, мол, делается для чести колхоза, это поднимает честь района... И мы молчали. Только вот Залина, дай бог ей здоровья, прямо сказала Дзибо, что на ферме очковтирательством занимаются. Она же и в райком об этом сообщила. Тут уж налетели на Залину со всех сторон. И уговаривали, и угрожали, совсем замучили ее. Даже ее бабушку, Дуду, не оставили в покое...

Я украдкой посматривал на Залину. Она стояла смущенная и теребила кончик платка.

А Фардыг продолжала:

— Сколько мы говорим, чтобы коров доили в степи. Но Хамби заупрямился, прямо посинел от упрямства. Коров надо приучать, мол, когда пришло время доить, чтобы сами с пастбища прибегали и вставали к машинам. Они прибегают, только не по своей воле, а пастухи их гоняют туда-сюда. Если бы ты чуть раньше пришел, сам бы все увидел. Коровушки наши не то что привыкают к машинам, а даже близко к ним не подходят. Подход-то к машинам замощен скользкими камнями. Мы все время просим, чтобы выкопали эти камни, выбросили их, никому они тут не нужны. «Нет,— говорит начальство,— это украшение фермы». Нашли, чем украсить ферму! Ни во что не ставят наши слова. Особенно Хамби. «Дзибо так сказал, спрошу у Дзибо». Больше от него ничего не услышишь. Ты же мужчина, черт побери, думай же своей головой! Я не выдержала, сказала Дзибо, но, как видите, Хамби до сих пор занимает ту же должность, а я настырной сплетницей оказалась. И с тех пор я у них как колючка в глазу.

— Не колючка, а бессовестная! — угрюмо покосился Хамби на Фардыг и потряс кулаком.

Это не ускользнуло от Муради.

— Мало тебе обозвать женщину дурными словами, ты еще готов кулаки в ход пустить,— угрюмо сказал Муради.

Женщины будто только и ждали слов Муради. Тут же набросились со всех сторон на Хамби.

— Девушки, наденьте ему на голову ведро, а то от него разит с перепоя.

— Ведь его держат на ферме, как осла, только для того, чтобы он орал!

Хамби смотрел на доярок прищуренными глазами, и нижняя губа его дергалась от злости. Если бы он мог, он бы никого не пощадил, всех бы вышвырнул отсюда.

— Слышишь, Хамби, как тебя любят? Не думай, что их кто-то научил, они сами знают, чего ты стоишь.

— Болтать и клеветать они лучше всех умеют. А я, Муради, тоже человек. Я тоже могу разозлиться. Как только они не обзывают меня за день! И я, бывает, не выдерживаю. А все из-за чего? Чтобы работали лучше. А им это не нравится. Конечно, не всем. Но вот такие, как Фардыг, вечно мутят воду и поносят руководителей колхоза. Злословят и по адресу работников райкома.

Дзибо молча смотрел на Хамби и старался изо всех сил глазами дать понять ему, чтобы он не очень расходилсЯ. В таких случаях, думал Дзибо, всегда лучше промолчать.

Муради опять повернулся к Хамби и заговорил, откинув со лба непокорную седеющую прядь:

— Ты думаешь, что эти вот люди ничего не понимают и не знают. Они прекрасно знают, как вы поделили тут племенных телок, они знают, что из двенадцати тысяч овец осталось восемь—ведь каждый раз режете баранов для работников района. Они знают, что половина поголовья свиней пала, что пятнадцать процентов коров второй год яловые. Знают и то, что вы шампуры по всему берегу реки расставили и что бутылки после выпитой водки расстреливаете. Если хочешь, могу продолжить...

— Бабы сплетни легко повторять,— протянул Хамби.

— Сплетни? — откинув волосы, спросил Му-

ради.— Это не сплетни. Люди в полный голос об этом говорят. Те самые люди, из-за которых вы важные посты занимаете и дома-дворцы себе понастроили.

Дзибо прикусил губу и втянул голову в плечи, будто опасаясь удара сверху.

А Хамби, как привязанный медведь, переступал с ноги на ногу и то и дело поглядывал на Дзибо. Чего ты, мол, молчишь, видишь ведь, что нас хотят погубить? Но Дзибо молчал, и Хамби стал незаметно отступать, казалось желая спрятаться в кормушке.

— Да чего ты мне на ноги наступаешь? — раздался голос Аффассы. — Совсем к кормушке прижал.

Кто-то засмеялся.

На этом разговор окончился. Женщины вышли во двор вслед за Муради. Дзибо хотел было подойти к секретарю обкома, исподлобья поглядывая на женщин. Но сказать, чтобы они убралась, он боялся, поэтому и остался позади всех.

Муради взял Залину за руку. Так они дошли до машины председателя колхоза, и тут он позвал меня.

— Собери комсомольцев и скажи им, чтобы сейчас же взялись за дом Бутан. Хоть с коровника снимайте крышу, хоть с собственного дома, но чтобы завтра, в крайнем случае послезавтра ее дом был отремонтирован. Понял?

— Понял, — ответил я.

А Муради посмотрел на Залину, и они оба чему-то улыбнулись.

7. ШРАМЫ НА СЕРДЦЕ

Еще не совсем стемнело. Душно. Ни один лист на дереве не шелохнется. Скотина спускается с Грушевой горы. Коровы мычат, торопятся к телятам.

Я иду с фермы в село. Комары покинули свои дневные укрытия и беспощадно жалят меня в ли-

цо, в руки. Я стараюсь отогнать их ольховой веткой, но мои усилия бесполезны. Бессовестные, они вонзают в мое взмокшее от духоты тело свои острые жала. На лбу я уже нащупал несколько шишек.

Мысли сменяют одна другую. И все разные. Они кружатся в голове и, как эти слепые комары, жалят мое сердце. Хамби... Зачем ему понадобилось выдумывать обо мне черт знает что? Что я ему сделал плохого? Ведь я же еще вообще не успел сделать никому ничего плохого и ничего хорошего. Что они задумали против меня? Но если нельзя обойтись без борьбы, то уж лучше довести эту борьбу до конца. На ничью я не соглашусь... Знаю, он меня не пощадит. Склочничать и сплетничать он мастер. А впрочем, что он может мне сделать? Кто его поддержит? Такие, как он сам...

А я все иду, и вдруг перед глазами возникают пожелтевшие листы из тетради моего отца. Удивительно, почему в самые тяжелые, в самые неприятные для меня минуты я вспоминаю отца? Ведь я никогда не слышал его голоса, не чувствовал прикосновения его рук. Просто мне очень нужно, чтобы он был рядом со мной, так же как отцы моих сверстников. Мне так часто нужна бывает его помощь. Насколько я начинаю чувствовать себя сильнее, когда кто-нибудь говорит о нем хорошее. А ведь людей, знавших моего отца и любивших его, много и в нашем и в других селах. Если он действительно был такой человек, как о нем говорят, почему же так чудовищно несправедливо сложилась его судьба? По чьей вине? Я часто спрашиваю об этом маму. Но она всегда молчит. Наверно, она не хочет, чтобы я кого-то ненавидел.

А что же тогда значат слова отца, написанные им почему-то мелким-мелким почерком: «Прошла еще одна ночь. Ты опять ни на секунду не сомкнула глаз. Не надо так, не бойся за меня. Ты же знаешь, я свое без боя не отдам. Я поеду, я расскажу об этой величайшей несправедливости. Нужно будет — буду кричать во все

горло. Расскажу о друзьях, чистых, честных людях».

Ох, как надоели комары. Машу, машу своей ольховой веткой, а им хоть бы что. Сухая трава шелестит под ногами. А мне чудится, что это шелестят пожелтевшие листья из тетради моего отца. Я мысленно листаю страницы, и передо мной встают наскоро написанные строки:

«...Капризно, беспощадно ты, Время! Как горный поток, несешься вперед, без оглядки. Никому ты не оказываешь предпочтения. Все для тебя равны. Но так ли это в действительности? Все ли люди одинаковы? Нет. Одни облегчают твой путь, украшают тебя, Время, а другие заботятся только о своей красоте. Им не до твоего пути. А ты всех уравниваешь. Тебе не интересно знать, кто к тебе как относится. А зря!

Упрямо ты, Время. Ничье горе тебя не трогает. А зачем, собственно, я тебе все это говорю? Ведь ты же меня все равно не поймешь. Беги себе... А я постараюсь крепче держаться на ногах. Я не дамся тебе так легко».

А вот еще одна запись, чуть дальше: «Солнце принадлежит всем людям. Каждый должен иметь свою долю. Честь и слава отцов не умирает... На смену придет поколение сильных, смелых людей. Но я никому не отдам своей доли солнца».

Интересно, каким он был, мой отец? Когда он это писал? На рассвете или в полночь? Почему я так хорошо все помню, что он писал в своих тетрадках?..

Там, где дорога сворачивает в село, под тополем стоит кто-то. И смотрит в мою сторону. Кто это? Я прибавил шагу. Из-под дерева навстречу мне вышла женщина. Нина... Откуда она взялась? Где она пропадает вот уже вторую неделю?

— Ахсар, я тебя жду,— смущенно и взволнованно проговорила Нина.— Мать нездорова, и я пришла ее проведать... Я знаю, что неправильно поступила. Но ты все-таки от меня не отворачивайся... Я хотела поговорить с тобой о своих комсомольских делах. Собрания еще не было?

— Нет,— ответил я, поздоровавшись с ней за руку.

Она посмотрела на меня какими-то испуганными глазами. Но, поняв, что собрания еще не было, облегченно вздохнула.

— А я боялась, исключили... Без меня... непременно предупредите меня, когда будет собрание. Я вам обо всем расскажу. Надо, чтобы все знали об этом,— сказала Нина, опуская голову.— Я знаю, что поступила неправильно... Только еще раз прошу: когда будете разбирать мое дело, сообщите мне.

— А почему ты на ферму не зашла? Провела бы своих подружек.

— Подружек?... С чистой совестью надо приходиться к подружкам. Что они мне скажут? Сбежала... Мне очень хотелось повидать Муради. Я рано утром видела его издали, а подойти не посмела. Теперь жалею... Если ты домой, то пошли вместе. Я провожу тебя до моста. Не бойся меня, я еще не совсем пропащая, как обо мне говорят...

— Что ты, Нина?.. А может, это упрек? Конечно, нас всех удивил и огорчил твой побег с фермы. А твои коровы, они, как дети, столпились у комнаты доярок и заглядывали туда.

— Привыкли ко мне, бедняжки. Стоило им услышать мой голос, как они собирались вокруг меня,— глотая слезы, проговорила Нина.

Мы дошли до моста, который недавно построили Асабе и Мамсур, и остановились. Нина облокотилась на перила.

Со всех дворов слышалось мычание коров. Женщины гревели ведрами. Обычные вечерние дела. А луна что-то замешкалась, и сумерки, как бы торопясь насладиться темнотой, все плотнее укрывали улицы и дома своей черной буркой.

— Ты думаешь,— опять заговорила Нина,— мне приятно было вчера украдкой пробираться в темноте в село? Думаешь, я не знаю, что обо мне говорят? Знаю. Поэтому сегодня целый день из дому не выходила. И к Муради поэтому не посмела подойти... Ахсар, прости, что я задер-

живаю тебя. Но завтра на рассвете я уйду. Скажи Залине, я нисколько на нее не обижена. Верно она поступила, хотя и моложе меня, совсем еще девчонка. Не она, так до сих пор бы, наверно, печатали мои фотографии в газетах. Поблагодари ее. От всего сердца тебе говорю. Она оказалась и умнее и сильнее меня. Теперь слушай, может, меня не допустят на комсомольское собрание, тогда вместо меня ты расскажешь о моих делах. Тебе все поверят, потому что любят и уважают тебя.

Нина перегнулась через перила и на какое-то время умолкла, как бы прислушиваясь к журчанию реки.

— Когда я пришла на ферму, — снова заговорила она, — мне там не понравилось. Бывало, вечерами у меня так болели руки, что я не в силах была разогнуть пальцы и взять кусок хлеба. Все кости болели. Женщины как ни в чем не бывало шутили, играли на гармошке, а меня все это раздражало. Я ложилась спать и сквозь сон долго еще слышала их смех и музыку. Утром просыпалась и не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой. Все тело ныло. Доярки наши жалели меня, а я им завидовала и думала про себя: посмотреть на них — в чем душа держится, а какие выносливые. Подоят своих коров, потом мне помогают. Они меня жалели, как дочь родную. Учили меня как могли. А ведь до того, как пришла на ферму, я думала, что дояркой-то быть легче легкого. Нет, поначалу трудно было. Потом полюбила это дело, и молодежь за собой на ферму потянула. Девушки наши мне поверили. И дали мы слово, что не будем отставать от опытных доярок. Мы внимательно следили за старшими, прислушивались к их советам. И дела у нас пошли неплохо. Подсчитали, кто сколько молока надоил за первую половину года. Оказалось, что некоторые старые, опытные доярки надоили меньше нас. Только они за это на нас не обижались. А потом, потом стали меня выделять среди других. Даже сразу и не скажешь, как это началось... Пришли из газеты. Снимали нас. На

первом снимке в газете все мы вместе были сняты. А под ним крупными буквами было написано: «Молодые доярки — комсомолки колхоза «Вперед». В центре лучшая доярка Уалладжирова»... Не прошло и недели, как в газете напечатали статью, и называлась она: «Молодые доярки колхоза «Вперед» одержали победу над старыми, опытными доярками!»

Нам было стыдно смотреть в глаза старшим, будто мы это сами написали в газету.

«Девушек наших на гнилых веревках слишком высоко подняли, как бы они оттуда не сорвались... Надо им помочь, а не то осраимся на всю Осетию». Так говорили между собой старшие. Но если бы наши начальники на этом остановились и меня бы в покое оставили... Как-то вечером к нам на ферму пригнали пятнадцать породистых коров. Вымя у них между ног не вмещалось. Вон какие коровы! Мы, конечно, обрадовались. Каждая мечтала получить хоть одну такую корову. Но утром Хамби сказал, что коровы эти не наши, что нам их дали временно. Так они у нас на ферме и числились как временные. Мы доили их, ухаживали за ними. Молоко от них отправляли в район так же, как от наших.

Через месяц меня вызвал Хамби. Посадил он меня в бедарку, и мы отправились в правление колхоза. По дороге он сказал, что пошлет меня на какое-то большое совещание. Говорил, что на днях наша ферма прославится. Обо мне заговорят по всей Осетии.

В правлении, кроме Дзибо, никого не было. Как только я переступила порог, Дзибо поднялся мне навстречу с улыбкой, поздоровался со мной за руку и показал на свое мягкое кресло: садись, мол.

«Какие ангелы пролетели над ними? Что они от меня хотят? Что задумали?» — такие мысли теснились у меня в голове, и я сидела в его кресле как на иголках. Ждала, что они скажут.

Дзибо начал издали:

«Нина, нам всем очень приятно, что молодежь уважает тебя. Поверь мне, когда в газетах

или на собраниях хвалят кого-нибудь из наших соседей, я умираю от зависти. Ты ведь знаешь, как мы работаем, сил своих не жалеем. Днем и ночью и на ферме и в поле... А работы нашей не видно, будто нас заколдовали...»

«Если бы мы лучше работали, о нас бы, наверно, тоже заговорили», — не выдержала я.

«А я тебе о чем толкую? Чего-то нам не хватает, но чего? Поверь мне, Нина, мартовский Пленум всех нас заставил о многом задуматься. Теперь мы поняли, что нам следует лучше работать. А что мы можем сделать одни? Ничего! Только народ, только с помощью народных масс можно достичь победы. А для этого нужно иметь таких вожаков, таких застрельщиков, как ты! Еще раз повторяю, Нина, мы очень надеемся на тебя, поэтому и вызвали сюда. Когда хвалят наших соседей, невольно задумываешься: а чем они лучше нас? Что у них, земля, что ли, лучше или люди энергичнее? Нет. А почему тогда не говорят о нашем колхозе? У нас и коровы лучше и пастбища плодороднее. Да и люди наши не плохие. Короче говоря, Нина, мы тебя просим об одной услуге. Скоро в Орджоникидзе будет республиканское совещание доярок, и ты должна там выступить от имени нашего колхоза».

«А что я там должна говорить? Ведь я же только недавно начала работать. Что мы по сравнению с передовыми доярками республики? А потом, почему бы не выступить кому-нибудь из старших доярок? Они работают давно, у них больше опыта. Мы, молодые, сами у них учимся», — ответила я председателю колхоза.

«Послушай, Нина, мы тебе добра желаем. Раз нас выбрали руководить колхозом, должны же мы проявлять инициативу? Сейчас слово за вами, за молодежью. Откровенно говоря, мы могли выдвинуть и другую доярку, но это было бы неправильно. Молодежь именно за тобой потянулась на ферму. Мы не должны забывать об этом. Поняла меня?»

«Поняла... Только коров надо лучше кормить.

Даже барду и то вторую неделю не привозят. Не хватает кормов с самой весны... Мы говорим Хамби, а он каждый раз находит какие-то причины...»

Хамби перебил меня:

«Оставь в покое весну! Она уже прошла и больше не вернется. Говоришь, барду не привезли. Машины неисправны. Дзибо, ради всего святого, объясни ты ей сам, а то у меня от этих разговоров уши опухли».

«Хамби, Нина права. Барда нужна. Но придется еще немного потерпеть, Нина. На этих днях машины будут на ходу, и тогда мы завалим вас бардой. Так вот, Нина, готовься. Заранее обдумайте с Хамби, о чем ты будешь говорить на совещании. Обязательно запиши все, а то запутаешься во время выступления. Я это по себе знаю. Мне не раз приходилось выступать на таких совещаниях. Перед отъездом покажете мне текст выступления. Чтобы хорошо выступить, надо иметь талант. Ах, как некоторые хорошо умеют говорить, позавидуешь! Это большое дело! Да не забудь вызвать на соревнование доярков республики».

«Как? Как я их могу вызвать?..»

«Так, как полагается... «Я, молодая доярка колхоза «Вперед», Нина Уалладжирова, обязуюсь надоить от каждой коровы по шесть тысяч литров молока. Вызываю всех вас на социалистическое соревнование...» — начал Дзибо серьезно, как будто вместо меня выступал на этом совещании.

Я думала, что он шутит, и спросила его:

«Вы хотите меня опозорить? Ведь я же давала обещание дать по три тысячи от каждой коровы...»

«Не три тысячи, а шесть тысяч литров должна надоить! И надоишь! Непременно! Мы слова на ветер не бросаем. Разве не так, Хамби?»

И Дзибо подошел ко мне и потрепал меня по плечу.

«Шесть тысяч литров... Как я могу надоить шесть тысяч литров от одной коровы?» — ду-

мала я, выйдя из правления. Меня прямо в дрожь бросало при одной только мысли об этом.

«Скажите, пожалуйста, вы издеваетесь надо мной, что ли? — спросила я Хамби. — Что это все значит? Если хотите, чтобы я выступила на совещании, то для чего повезли меня в правление? Разве нельзя было мне об этом на ферме сказать?»

Он удивленно посмотрел на меня и сказал:

«Лучшая доярка Осетии должна быть в нашем колхозе. И ею будешь ты, Нина Уалладжирова. Рекордсменка республики! Понятно? Мы хотим поднять высоко твою славу, Нина. Колхоз «Вперед», село наше, в конце концов руководство колхоза. Твоя слава будет нашей славой...»

«А как это? О каких шести тысячах литров говорил Дзибо?»

Чем ближе мы подъезжали к ферме, тем больше нервничала я.

«Когда я вас называю глупенькими, вы на меня обижаетесь. Председатель колхоза тебе ясно сказал, и я тоже ясно говорю. Что тебе еще нужно? О чем ты еще расспрашиваешь? Те пятнадцать коров к нам для чего пригнали? Не для того же, чтобы мы их фотографировали. Что же, по-твоему, мы их молоко в речку будем выливать, что ли? И сейчас не поняла?»

Я сама не почувствовала, как выпрыгнула из бедарки. Хамби еще кричал что-то мне вслед, но я не расслышала его слов. Я долго бежала по кукурузному полю, а потом где-то у оврага силы оставили меня, и я почти упала.

«Нет, не бывать по-вашему! Пойти на обман?..» Лицо у меня пылало, по щекам текли слезы. Поверь мне, Ахсар, мне хотелось прибежать в село и кричать что есть мочи. Я и сейчас еще себя ругаю, что так не поступила. Если я когда-нибудь и допустила ошибку, так именно в тот день. Сама виновата... Для чего я все это тебе рассказываю? Кому это нужно теперь?..

Нина держалась за перила моста, и руки у нее дрожали. Потом она подняла одну руку, вы-

терла глаза и посмотрела на меня, будто спрашивала: стоит продолжать? Но, не дождавшись моего ответа, добавила:

— Я до сих пор еще никому так подробно не рассказывала о своих делах, как сейчас тебе, Ахсар. Но воля твоя — можешь и осудить меня. Я знаю, что ты устал и не до меня тебе сейчас, не до моей горькой истории. Но так хочется высказаться!.. Может, от этого легче на душе станет...

— Говори, Нина. Я очень внимательно тебя слушаю, — ответил я и дотронулся до ее холодной руки.

Наверно, ей было приятно, что я не чуждаюсь ее, потому что она с благодарностью посмотрела на меня своими большими черными глазами. Ее тонкие губы задрожали от сдерживаемых слез. Я давно не видел Нину такой. Куда девались ее румяные круглые щеки? Почему так обострился подбородок? На ее загорелом, осунувшемся лице выделялись только печальные, черные глаза.

Мне стало жалко Нину. Я знал ее еще со школьной скамьи. Не по годам серьезная, героиня школьного драмкружка, она всегда была на виду у всей нашей школы. Отец ее — бригадир первой бригады — погиб в сорок втором на войне, а единственный брат подорвался на немецкой mine в школьном саду.

И чем дольше слушал я Нину, тем больше укорял себя. Ведь во всем с ней случившемся есть и моя доля вины, хотя основные события произошли до моего возвращения домой.

Печально смотрела на меня Нина своими большими глазами, будто умоляла: «Выслушай меня до конца».

И я слушал.

— Долго я еще сидела в тот день над оврагом, долго думала над словами Хамби и Дзибо. На ферму вернулась, только когда пришло время доить коров. Девушки меня спрашивали, где я пропадала, но я им ничего не сказала. Мне не верилось, что Дзибо и Хамби так безжалостно

обойдутся со мной. Они стали подсылать ко мне людей, уговаривали. Всячески старались убедить меня. И от имени колхоза, и ради славы всего района... В конце концов я им поверила. Но самое страшное произошло потом. Они меня разлучили с людьми, которые ко мне относились, как к собственной дочери, которые мне верили...

Через несколько дней на первой странице газеты появился мой портрет. На этот раз уже не под портретом, а над ним крупными буквами было написано, что Нина Уалладжирова за два месяца надоили от каждой коровы по тысяче сто литров молока.

На ферме только об этом и говорили. Все обиделись, особенно старшие. Они просто отвернулись от меня. Пошли всякие толки. Дзибо приходил к дояркам несколько раз, успокаивал их. Но дружба наша, как разломанный пополам чурек, не могла склеиться. Подруги перестали доверять мне свои секреты и старались держаться на расстоянии, вроде даже боялись меня. Я несколько раз порывалась рассказать им обо всем, но чувствовала, что они сами все понимают, и молчала.

А слава моя росла с каждым днем. И в газетах, и по радио то и дело говорили обо мне. Начались всякие собрания, совещания... Куда только меня не посылали, где только не заставляли выступать! И всюду хвалили. А потом — золотые часы, дорогие отрезы, поездка в Москву, места в президиуме рядом с руководителями... И ты знаешь, Ахсар, я стала привыкать ко всему этому. И если, бывало, меня не выбирали в президиум или не сажали поближе к руководителям, я обижалась. У меня начинало учащенно биться сердце. Я начинала думать, что, паверно, раскрылось все это дело и вот сейчас скажут об этом. В таких случаях я старалась забиться в угол или спрятаться за спиной впереди сидящего. Но против меня никто не выступал. Все только хвалили. Наоборот, призывали остальных, чтобы и те подражали мне...

А подхалимству Хамби вообще не было пре-

дела. Он вертелся вокруг меня, как лиса вокруг птицефермы. Стоило кому-нибудь из молодых людей заговорить со мной, как его веснушчатое лицо покрывалось красными пятнами. Несколько раз он как бы между прочим начинал жаловаться мне на жену. Он смотрел на меня как на свою должника. А вскоре поползли про меня сплетни. Однажды ко мне подошла Залина и сказала:

«До меня дошли кое-какие слухи, и я хочу тебя спросить... А впрочем, если ты действительно так низко пала, если ты позволила так вскружить себе голову, то, может, и говорить не стоит?..»

Вообще Залина относилась ко мне всегда хорошо. И я к ней тоже. Я понимала, что она хочет поговорить со мной для моей же пользы. Но она подошла ко мне с таким решительным видом, что я невольно сжалась и, может быть, чересчур резко спросила:

«Опять что-нибудь выдумали? В чем я опять провинилась?»

«Что у тебя с Хамби? Почему кругом говорят, что ты спуталась с ним? Неужели от прежней Нины в тебе уже ничего не осталось? Почему ты позволяешь топить себя?»

«Кто тебе сказал? От кого ты слышала? — еле выговорила я и с громким плачем бросилась в ее объятия. — Кто-то топчет меня своими грязными ногами, а вы, вместо того чтобы защитить, шушукаетесь за моей спиной. Какие же вы подруги?»

«Да мы последнее время не смеем к тебе подступиться. Ты все больше с начальством водишься, с городскими гостями... А плакать нечего, этим делу не поможешь. Это не девушки мне говорили, а сам Хамби... Я случайно услышала этот гнусный разговор. Он хвастал в кругу мужчин, что живет с тобой».

Был полдень, а мне показалось, что вокруг все потемнело. Залина взяла меня под руку и увела со двора фермы к реке. Хотя она и моложе меня, а отчитала, как старшая. Я покорно

слушала и не могла не согласиться с ее упреками. Ведь в самом деле я безвольная тряпка.

Бежать, решила я, ночью ли, днем ли, бежать! Расскажу обо всем в райкоме... А если там уже все знают? Что тогда?.. Может, они с Дзибо заодно?.. Будь что будет, мне уже все равно. Бежать... Бежать отсюда как можно скорее!

После обеда, когда мы управились с коровами, я ушла с фермы, никому ничего не сказав. Немного отойдя, я услышала стук колес и цоканье копыт. Я бросилась в кусты, притаилась. В бедарке сидел пьяный Хамби, мурлыча себе под нос какую-то песенку. Я задрожала от страха и гнева. Когда он немного отъехал, я снова пустилась в путь. Врагу бы твоему идти в таком настроении, в каком шла я. То мне казалось, что Хамби догоняет меня, то чудилось, будто я слышу голоса моих подруг и они зовут меня...

А в райком я не пошла...

Вдруг совсем близко послышался треск плетня. Нина вздрогнула, схватила меня за руку и испуганно проговорила:

— Идем. Мне-то уже все равно... А про тебя что-нибудь выдумают...

8. АСЛАНБЕК ПОШЕЛ С НАМИ

Со стороны домишко Бутиан и Асланбека не казался таким неприглядным. Сверху его заботливо укрывала своими раскидистыми ветвями старая яблоня, и ее густая листва прятала от посторонних взоров зеленые пятна тронутой плесенью черепицы. Сложенный из саманного кирпича, домик всегда был чисто выбелен. Его крохотные, но неизменно ясные оконца озорно поглядывали из-под яблоневої кроны на окраинную улицу, по которой редко-редко проезжала одинокая арба или машина, на раскинувшееся по ту сторону улицы большое поле, за которым вдоль лесной опушки тянулось магистральное шоссе, на темневшие на горизонте горы.

Возле самого домика с веселым журчанием бежала речка, то тут, то там образуя широкие

запруды, где постоянно от зари до зари хлопотали гуси и утки. Чтобы попасть к Бутиан с улицы, надо было пересечь эту речку по старому деревянному мостику, растопырившемуся над самой водой.

Дворик был огорожен покосившимся деревянным забором. Казалось, он устал, этот заборик, от долгого стояния и потому доверчиво прислонился к стволу старой яблони. Среди рыжеватой травы по двору вились тропинки, заботливо обложенные по кромкам булыжником со следами давно уже размытой дождями извести. Начинаясь у ворот, главная тропка затем делилась на две: одна вела к крылечку дома, а другая — под навес в правом углу двора.

Давно стоит на краю села дом Бутиан. Асланбек даже не знает, когда его построили. Еще до войны они с отцом заложили в саду фундамент нового дома, но отец внезапно заболел и умер. Мать и сын не успели опомниться от горя, как грянула война, и Асланбек ушел на фронт. С войны он вернулся без ноги и тяжело контуженный. Колхоз помог им тогда отремонтировать ставший совсем ветхим дом. И хотя он был саманный, в отличие от других, кирпичных домов, Бутиан всегда держала его в чистоте. Но этим летом несколько дней подряд лили проливные дожди, потекла крыша, стропила не выдержали, и та сторона кровли, что выходит во двор, провалилась. Стена дала трещину сверху до низу.

Бутиан перенесла всю домашнюю утварь в ту часть дома, что выходила на улицу, а кровать Асланбека поставила под навес. Соседи предлагали Бутиан переселиться с сыном к ним, пока не отремонтируют их дом, но ни мать, ни сын не согласились и жили во дворе под навесом. Они ждали обещанную Дзибо бригаду строителей. Так прошло два месяца.

После засухи наступили дождливые дни. Видно, это и явилось причиной очередного приступа болезни у Асланбека. Тяжелая контузия дала о себе знать. Бесконечные обещания председа-

теля отремонтировать дом, сознание того, что он никому не нужен, взяли верх. Он долго боролся с этой мыслью, собирался пойти на свою прежнюю работу — учетчиком в овощеводческую бригаду, но не смог. Не выдержал, свалился...

«Почему мы до сих пор не догадались помочь Бутиан? На все нам надо пальцем ткнуть, чтобы поняли!» — ругал я самого себя. Мне было стыдно, когда я вспоминал о разговоре Бутиан с Муради.

Весь следующий день мы с Дебола потратили на поиски стройматериала. Пока мы оформляли документы, пока искали кладовщика, уже стемнело. Правда, Дзибо на этот раз не возражал, без единого слова он выписал доски и даже расстроился, когда узнал, что кладовщика не оказалось на месте. Он даже оправдывался перед нами:

— Какой позор, что мы все оттягивали это дело. Да и много ли времени нужно было? Но что поделаешь, когда человеку некогда голову поднять... Да и вас тоже можно упрекнуть. Ведь вы, молодежь, давно могли бы засучить рукава. Чего меня ждать? В вашем возрасте мы не такие были. Мы собственные дела бросали, а вдовам и сиротам помогали в первую очередь.

— Я же сам лично несколько раз говорил тебе: выпиши нам стройматериал, и мы сами отремонтируем дом Бутиан, — прервал Дебола разглагольствования Дзибо.

— Говорить-то ты говорил, солнышко мое, Дебола, но в таких делах требуется решение правления. А потом это совпало с уборкой, до того ли было людям? А то бы ради Бутиан и Асланбека я сам... Хоть и писали они на меня всякую напраслину, я на них не обижаюсь. Нет, ей-богу, нет!..

— Напраслину, говоришь? Мало писали, похлестче надо было, — не выдержал опять Дебола.

— Ладно, не будем валить друг на друга.

Идите помогите ей. Если вам еще чего-нибудь понадобится, приходите ко мне, — сказал Дзибо.

Он поднялся и потянул нас за руки, будто хотел вытолкнуть из помещения, и сам первый вышел на улицу.

Напротив правления, в тени под топодем, его поджидал запыленный «газик». Из окна кабины свисала лохматая голова его шофера, будто голова битого селезня, и храп его раздавался на всю улицу. Дзибо подошел к машине и потряс шофера за воротник.

— Кто-нибудь твою голову по ошибке заберет вместо кормовой тыквы... Сколько можно спать? Скорее в район! — подчеркнуто сурово проговорил Дзибо и сел рядом с шофером на полосатую ковровую дорожку.

Машина закашлялась, как чахоточная, выпустила клубы дыма и, постреливая, покатила по узенькой улице.

— Решение правления... После слов Муради он и про правление забыл, — смотря ему вслед, сказал Дебола и сплюнул, будто ему в рот попала пыль.

Потом мне опять пришлось бегать по селу и искать Дзибо. Вместо наряда на строительные материалы он мне второпях сунул в руки чье-то заявление о выдаче денежного аванса. Я сам виноват — надо было вовремя посмотреть.

Я никак не мог напасть на след председателя. Одни его видели по пути на птицеферму, другие у сельмага, третьи на большой дороге. Но оказалось, что люди видели машину председателя, а не самого Дзибо. Наконец секретарь правления под большим секретом сказал мне, что он дома. Я поспешил к нему домой, хотя и понимал, как он меня встретит... А мне было все равно, как он меня встретит, ведь я шел к нему не по своему и очень важному делу, которое надо было решить сегодня же.

Еще мальчишкой я часто бегал с другими ребятами на Таргайдон купаться. Тогда на берегу реки, прямо под большим старым топодем стоял приземистый, ничем не примечательный домик

Дзибо. Этого домика давно уже нет. На его месте стоит теперь двухэтажный, сложенный из красного кирпича дом председателя. Большими окнами и широкой верандой смотрит он на восход солнца, прислушиваясь к шуму реки Таргайдон.

Дом обнесен высокой каменной оградой. Тяжелые бутовые ворота надежно охраняют его подступы. Справа от ворот низкая калитка; от нее исходит запах свежей краски. Дощечка, прибитая к калитке, извещает проходящих, что во дворе злая собака. Ничего подобного в нашем селе не увидишь, хотя почти в каждом доме есть собака, да еще, пожалуй, позлее, чем у Дзибо.

К воротам вели свежие следы легковых машин. Без стука открыл я калитку. Во дворе я увидел «газик» Дзибо и еще две легковые машины. Из длинного сарая, гремя цепью, с лаем выбежал лохматый пес. Через несколько минут на веранде показалась девочка лет семи. Помахав мне рукой, она сбежала с лестницы и очутилась возле меня.

— Папа говорит, чтобы я тебе сказала... Говорит, что его дома нет, — заморгав длинными черными ресничками, выпалила она и засмушалась. — Дома он. Гости у нас. Они водку пьют. Папа тебя в окно видел... А я тебя знаю. Тебя Ахсаром зовут...

— Передай эту бумагу папе. Смотри, бумага очень важная, — ответил я и потрепал ее за тугие косички.

Какая хорошая девочка, и как они ее портят. Заставляют врать. Мне стало противно, и я ушел со двора. Девочка еще что-то крикнула, потом слышался женский голос, но слов я уже не слышал.

Я больше не пошел к Дзибо. За меня это сделал Дебола.

— Нехорошо поступаешь, парень. Пришел в гости и убежал со двора. Нехорошо, — спустя несколько дней с упреком сказал мне Дзибо.

— Дочку портишь, Дзибо. Вот что нехорошо, — ответил я.

На третий день, когда на вершинах деревьев зажглись первые лучи восходящего солнца, я с топором под мышкой и с полными карманами гвоздей отправился к Бутан и Асланбеку. Друзья опередили меня. Дебола уже орудовал у них на крыше. Рядом возился Сабаз. Волосы у него были взлохмачены, руки и лицо в саже. По доске, приставленной к крыше, он спускал на землю черепицу.

— Дебола, тише, дом завалишь, — умоляющим голосом взывал к своему дяде Сабаз.

— Ты действуй и помалкивай! А не то я тебя вместо гнилой рейки в огород закину, — сказал Дебола и чему-то улыбнулся.

— Нет, сегодня ты меня не выведешь из терпения, что бы ты там ни говорил! — И Сабаз торжествующе поглядел на Дебола.

— Ты не Сабаз, а настоящая обезьяна, нет, вру, не обезьяна, перепелочка. Понял? — И Дебола взъерошил Сабазу и без того растрепанные волосы, а потом мягко шлепнул его по оголенному плечу.

— Черепицу я чуть из-за тебя не выронил. Завелся с раннего утра, — огрызнулся Сабаз и спрятался за трубу.

— С раннего утра и надо заводиться, мой маленький дружок, сердце оно такое — если его не запрячь до восхода солнца, оно слабеет, — перебрасывая через плечо рейки одну за другой, говорил Дебола. — Сердце все равно что мотор трактора: если ты не поухаживаешь за ним до того, как его заведешь, целый день будешь тянуть лямку. Понял?

— Сердце... Мотор трактора... Ничего другого не мог придумать? А впрочем... Недавно я читал одну книгу, и там написано, что у некоторых сердца работают на бензине...

— Верю, что ты читал такое, Сабаз. Чтец ты не хуже другого моллы. Только одно нехорошо: когда читаешь такие сверхчудесные книги, ты должен давать их и мне. Ведь мы вместе работаем, ты считаешь меня своим старшим товарищем... Эй, поаккуратней, черепицу разобьешь!

— Не разбил, — ответил Сабаз и голой рукой вытер пот с лица.

Я всегда с удовольствием слушаю веселую перебранку Дебола и Сабаза. О чем бы они ни заговорили, пусть даже это будет гайка от трактора, она оживает в их устах. Самая обыкновенная гайка у них начинает не только крутиться, она и разговаривает, и даже танцует. А какие расчудесные чудеса они рассказывали друг другу о ласточках, или о кузнечиках, или о пчелах!.. И все эти разговоры велись во время работы, когда они оставались вдвоем. А уж во время ночных дежурств Дебола ни на секунду не умолкал, вовлекая в разговор Сабаза, чтобы тот не заснул и не свалился с трактора. За разговорами, как известно, и время быстрее идет. Правда, Сабаз иногда выходил из себя, слушая всевозможные небылицы Дебола, но стоило тому улыбнуться или примиряюще махнуть рукой, как у Сабаза проходила обида.

Так было и в это летнее утро. Они не отставали друг от друга в метании острых слов, будто это помогало им работать. Если бы незнакомый человек посмотрел на них, он бы непременно подумал, что они о чем-то серьезно спорят.

Асланбек сидел на пеньке в своем выцветшем кителе, с костылем на коленях. Он надел сегодня все награды, и вид у него был праздничный. Асланбек тоже работал. Он принимал черепицу, которую Сабаз спускал по доске с крыши, и аккуратно складывал ее. Пот катил с него ручьем. Черные волосы прилипли ко лбу. На тонкой шее вздулись жилы.

— Асланбек, поехала, лови! — Таким возгласом сопровождал Сабаз каждую спущенную с крыши черепицу.

— Давай, давай!.. Не бойся... — Его усталые карие глаза необычно блестели. Он был очень доволен собой: ведь он тоже работает, а не просто сидит, как сторонний наблюдатель.

Бутиан носилась по двору, казалось потряхнув груз своих немалых лет. Она перекидывала сор через плетень в огород. А потом пошла под на-

вес и вернулась оттуда, держа в одной руке чайник, а в другой большую деревянную чашу. Она встала рядом с сыном и крикнула, закинув голову:

— Дебола, отдохните хоть немного... Освежитесь моим кваском.

— Кваском? Это можно. Только не добавляй туда ничего покрепче, а то я в самом деле могу по ошибке сбросить Сабаза вместо рейки. Жаль все-таки парня. О-о, не сердись, Сабаз! Подай-ка мне, дружок, вон ту чашу, я ее опрокину так, чтобы донышко засверкало, — сказал Дебола и рукавом вытер пот с лица.

Сабаз по-кошачьи ловко спустился с крыши и через миг с полной чашей в руках очутился снова около Дебола.

— Разве я не говорил, что ты не Сабаз, а перепелка! Смотри какой шустрый. Я и в оленя раньше тебя не выстрелю. На, испей водицы, начинать полагается с младших.

— Когда нам принесут воду, я выпью первым, а пока пей ты. — И Сабаз протянул чашу Дебола.

— Но если я ни капли не оставляю, не обижайся. Глядите, люди хорошие, как он испугался, даже побледнел! У Бутиан найдется еще и для тебя. — И Дебола с наслаждением выпил всю чашу и вытер губы. — Вот это я понимаю! Бутиан, пожалуйста, угости Сабаза, а то он перестанет со мной разговаривать. Только не все ему отдавай, и для меня оставь немного...

— Да у меня квасу сколько твоей душе угодно, — ответила старуха, и ее сморщенное лицо просияло.

Солнце уже было высоко, когда наконец явились члены колхозной стройбригады. Их было четверо. Старший, Бури, зашел во двор так, будто он тут не раз бывал. Он высокомерно и с видом знатока окинул взглядом разрушенный дом. Потом воткнул свой топор в бревно, носком сапога откинул в сторону кусок прогнившего дерева и хриловатым голосом спросил у Дебола:

— Ты посмотрел балки? Не прогнили?

— Две крайние прогнили, остальные терпимы, — ответил Дебола.

Бури скинул черную вельветовую куртку, загнул кверху поля белой войлочной шляпы и обратился к товарищам:

— Готовьте балки. А досок вы привезли слишком много. — И Бури с деловым видом посмотрел на меня.

— Не пропадут, — ответил я. — В конце концов починим ими сарай.

— Конечно, доски всегда пригодятся, особенно такие, сосновые, — с явной завистью проговорил Бури и неторопливо зашел в дом. Он задержался там недолго, а потом с порога слышался его голос: — Потолок тоже провалился... Вы счастливо отделались...

— А ты думал, что я вас обманывала? Ты же не верил мне, — горестно проговорила Бутиан и подошла к нему.

— А что мы могли сделать, Бутиан? Мы солдаты. Куда прикажут, туда и идем. Хорошо, если бы у человека было десять рук. Но бог нам дал только две. Не можем мы управиться сразу со всеми делами, — разведя руки в стороны и растягивая слова, сказал Бури, будто все важнейшие дела колхоза выполнял именно он.

К тому времени Асланбек кончил складывать черепицу и теперь, опираясь на костыль, стоял под яблоней, не сводя глаз с Бури. Он покраснел, вокруг его утомленных глаз резче обозначились темные круги. Его худые плечи вдруг задвигались, и он в нерешительности посмотрел в мою сторону. Было видно, что ему стоит огромных усилий сдерживать себя, чтобы не ударить Бури костылем. Я подошел к Асланбеку и взглядом дал понять ему, что не стоит связываться.

Дебола спустился с крыши. С топором в руках он подошел к Бури.

— Послушай-ка, какого черта ты нам мешаешь? Ведь мы же работаем... Иди лучше почишь хлев у Дзибо, за ночь там коровы знаешь сколько... Может, там тебе поднесут чего-нибудь. А здесь надеяться не на что. Уходи отсюда, чего

ты растравляешь им раны? — тихо, но вразумительно сказал ему Дебола и прошел в дом.

От возмущения у Бури задвигались пушистые усы, и ох каким недобрым взглядом он посмотрел вслед Дебола.

А поглядели бы вы, какой дом построил себе Бури на берегу Таргайдона. Одна крыша чего стоит! Всем известно, что оцинкованное железо никто не красит, а Бури покрасил в голубой цвет. Пусть видят люди и завидуют! Он главный строитель на селе, так неужели же его дом не должен отличаться от других? А вот как он его построил, где материал брал? Это другой вопрос. Строить-то Бури много приходится, ну где доску прихватишь, где бревнышко... А вечерами или пораньше утром можно и в другое село съездить. Над двухэтажным домом Дзибо Бури тоже немало потрудился, хотя, как он сам говорил, не принес домой ни копейки от Дзибо. А впрочем, на что ему копейки от Дзибо... Транспорт, стройматериал, кирпич дороже, чем какие-то копейки. Словом, что говорить, «за так» Бури и гвоздя не вобьет.

Вот он и понимал, что от Бутиан и Асланбека ему ждать нечего, потому всеми правдами и неправдами оттягивал дело со дня на день. Но, получив нагоняй от первого секретаря обкома, Бури и появился во дворе Асланбека. И то, можно сказать, с пустыми руками. Один топор прихватил.

Он обошел дом со всех сторон, поднялся на чердак, записал что-то на листочке и с важным видом обратился к членам своей бригады:

— Бревна нужны подлиннее, вот тут по краям закрепите стропила. Чтобы к обеду все кончить. Буду ждать на свиноферме.

— Ну, чего ты важничаешь, чего объясняешь, будто мы стропила никогда не ставили, — с обидой проворчал один из его бригады, низенький, небритый человек. — И еще к обеду, говоришь, кончить. Что мы, шалаш, что ли, ставим.

— Я не люблю повторять два раза одно и

то же... Я заранее все рассчитал и обдумал, — хмуро проговорил Бури и собрался уходить.

Дебола незаметно подошел к нему. Сжав свой огромный кулак, он негромко, но внятно сказал:

— Пока дом не накроем, ты ни шагу не сделаешь. Понял?

Свежевыбритые щеки Бури покрылись красными пятнами, ноздри у него раздулись, и, с трудом переводя дыхание, он сказал:

— Не приведи господь такое, но, если когда-нибудь тебя назначат моим начальником, тогда будешь разговаривать со мной таким тоном. А пока что я молюсь другому богу. Понял?

Сабаз тыльной стороной своей грязной руки утер нос и встал рядом с Дебола.

Но тут, с трудом выговаривая слова, заговорил Асланбек. Он стоял бледный, вцепившись дрожащими руками в костыль.

— Отпусти его... Уходи, не мешай нам!

Перепрыгнув через доски, Бури добежал до ворот, там оглянулся и крикнул:

— Не беспокойся, Бутиан. До вечера твой дом будет как новенький... Дружнее, ребята, к обеду жду вас на ферме.

— Провалиться бы тебе сквозь землю! — одними губами произнесла ему вслед Бутиан и, прихватив щепки, направилась под навес.

Через несколько минут за оградой появился и Майрам. С войлочной шляпой в руках, он так часто дышал, будто за ним гнались бешеные собаки. В запыленных сапогах, в полинявшем военном кителе, он потоптался на месте и, немного отдышавшись, крикнул:

— Вот это я понимаю! Здравствуйте, молодцы! Муради, случайно, сюда не заходил? Он, говорят, меня искал...

— Он всю ночь не спал, все тебя разыскивал, — пренебрежительно бросил Асланбек.

— Что ты сказал, Асланбек? А впрочем, ладно, мне некогда. Работайте, работайте, помогите Бутиан. Молодцы! — донесся уже из-за угла голос Майрама.

— Ради бога, скажите, люди добрые, где он достал этот китель? Ведь и одного дня на фронте не был? Чего ради он парится в такой жаркий день? Что с ним случилось? Чего он бегаёт, как подпаленный лис? — через бревно поглядывая вслед Майраму, говорил Дебола.

Сабаз ответил за всех:

— Говорят, что он уже три дня не снимает сапог, чтобы Муради видел, какой он деловой. Он и ночью не раздевается: вдруг Муради вызовет? А вы заметили, что он хромает, с непривычки сапоги ему пятки натерли! Ведь целый день за Муради гоняется и никак не найдёт.

Слушая Сабазу, даже Бутиан не выдержала и рассмеялась.

Полная луна выползла из-за горы. Мы закончили работу. Занесли вещи в дом, убрали двор и сели под яблоней на чурбаны. Бутиан вынесла маленький круглый столик на трех ножках — фынг — и сказала таким тоном, будто извинялась:

— Не обижайтесь за угощение, нет у меня ничего достойного вас.

Сабаз, видно, здорово проголодался. Он ловко орудовал одной рукой, откусывая по очереди то кусок горячего пирога с картошкой, то курятину, во второй он держал рог и угощал нас аракой, которую Бутиан попросила для такого случая у соседей. Товарищи Бури остались с нами, несмотря на приказ бригадира прийти на ферму к обеду. За все это время они о нем даже не вспомнили. И только уже за ужином, когда дала себя знать арака, низенький небритый плотник помянул Бури недобрым словом:

— Хочу переселиться сюда. У моего старшего сына легкие болезни, а тут у вас и речка и лес: может, ему полегчает. Потому я и решил поработать с вами, пощупать, что у вас за народ здесь живет... И, на несчастье, угодил к Бури.

Если и я, и семья моя умирать будем с голоду, все равно ни одного дня больше я с ним работать не стану. Ведь это же не человек, таких, как он, я своими руками могу сделать из куска дерева, из любого обрубка... Я не боюсь его, пусть доносит на меня начальству. Как писал Коста Хетагуров, помните? «Нет алдара ему ни в горах, ни в долинах». Я независимый человек...

Асланбек сидел рядом со мной, слушал рассуждения захмелевшего плотника и время от времени поглядывал на крышу своего дома. Я спросил его:

— Правда, мы быстро управились?

— Очень быстро. Спасибо.

До чего же счастливые глаза были у Асланбека.

Когда мы встали из-за стола, Асланбек сказал:

— Мама, принеси мой второй костыль, я с ними пройдуь немного.

— Скажи, где он, я мигом принесу.

И Сабаз с куском во рту очутился около старухи.

— Я сама... Ты не найдешь, дорогой мой, — сказала Бутиан и засемила к сараю.

Вскоре она вернулась с костылем.

— Иди, отвлекись немного, дитя мое. Я рада, что ты идешь с товарищами. Я счастлива, что ты опять можешь ходить.

Луна повисла над горами. Она по-прежнему внимательно глядела на дом, на двор Бутиан, на окраинную улицу села. Асланбек шел рядом со мной.

— Этот приезжий плотник прав, — сказал он. — Слышишь, как река поет... Какой чистый воздух... Чертовски хороший уголок!..

Бутиан проводила нас до моста. Тут она остановилась, подперев рукой подбородок. Мы уже прошли порядочное расстояние, а мне казалось, что она все еще стоит и улыбается нам вслед, потому что ее больной сын поднялся сегодня и шагает вместе с нами.

Приближается буря. Над убранными пшеничными полями носятся хлопья соломы и мякины. Густые черные тучи громоздятся одна на другую, будто там, на небе, кто-то орудует вилами. Над лесом то и дело сверкают молнии, оттуда доносится непрерывный гул. Вот рядом со мной ветер смел с макушки охапку соломы, подхватил ее и разбросал по полю. Упали первые капли дождя, а вслед за ними по машине забарабанил град.

Я кричу со своего трактора товарищам. Они не слышат меня. Они машут мне руками, вытянувшись в ряд вдоль горки. Они держат курс прямо на стан.

Вдруг женский голос врывается в шум бури:
— Ахсар, сюда! Сюда-а!

Смотрю в ту сторону, откуда кричат, но никого не вижу. Там тоже беснуется град, да такой, что кажется, будто тучи упали с неба.

— Сюда-а-а! — не успокаивается голос.

Град из всех сил барабанит по моей войлочной шляпе, холодные капли сбегают за шиворот, а я все оглядываюсь, все ищу ту, что меня зовет. Но вот наконец полоса града сдвинулась в сторону леса, и я стал различать верхушку кургана Гаспо. Недалеко от кургана странно белело, будто занесенное снегом, поле, посреди которого я заметил какую-то стройную женщину, стоявшую возле невесты откуда взявшегося там шалаша. Вот она сделала шаг, и сразу сугробы вокруг нее пришли в движение. Еще ничего не понимая, я повернул свой трактор в ту сторону. Не прошло и минуты, как белое поле дрогнуло и подалось от меня. Это куры, испугавшись трактора, подняли переполох. С кудахтаньем перелетая друг через друга, они устремились к шалашу.

— Стой, парень!.. Куда так гонишь? Не к тебе небось торопишься. — Мне навстречу бежала Мисурат, откинув мокрую косу за спину и прикрывая рукой грудь. — Стой, передавишь мне кур!..

— Откуда ты взялась, Мисурат? Когда ты сюда сбежала? — удивленно проговорил я, остановив трактор.

— Сбежала! Ну, выключай свою машину и вылезай. Какой шум поднял. Чего ты на меня уставился, как индюк на муху. Слезай, говорю! А куда делись остальные? — замахиваясь на кур промокшей косынкой, говорила Мисурат, а сама все плотнее запахивала ворот кофты. — Такой страшный ливень, а он посреди поля мух ловит. По-твоему, это геройство? Это глупость! Понял? Так и заболеть недолго.

— Я слышал, как ты кричала, но не узнал тебя. Мне в голову не могло прийти, что ты переселишься в поле, — сказал я, слезая с трактора.

— Хватит болтать, давай кур загоним под навес, а потом хоть в мельницу превращайся, мели, сколько захочешь, — хорошенько шлепнув меня своей мокрой косынкой, сказала Мисурат и вдруг заворчала: — Не узнал меня... Была бы на моем месте Залина, ты бы на своем тракторе сломя голову летел... Но кому нужна Мисурат?.. Вы любите стриженных девушек в обтянутых платьях, на высоких каблучках, похожих на моего хохлатого петушка. Я вас всех насквозь вижу... Цып-цып-цып, а ну, живей в шалаш...

— За что ты напустилась на меня, Мисурат? Что я тебе сделал?

— Чего ты вытянулся, как столб у сельсовета? Иди загоняй кур. Видишь, какой дождь хлещет. Цып-цып-цып... Тоже еще, специального приглашения ждут! — не унималась Мисурат, а сама незаметно поглядывала в ту сторону, где недавно скрылись тракторы.

Наконец я не выдержал:

— Говорят, кто-то не мог справиться с конем и все свое зло срывал на седле. Мне почему-то кажется, что я принимаю на себя удары, предназначенные вовсе не мне.

— Удивительно, как ты еще выдержишь эти тяжелые удары. — Мисурат поглядела на меня сквозь растрепанные волосы. — Сам поду-

май, какие вы мужчины? Женщина в совершенном одиночестве мучается посреди поля со столькими курами, боится, как бы с ними чего не случилось. А вы на все это посматриваете издали с полным равнодушием. Снопы вы, снопы соломы, а не мужчины. Только что шапки носите. Если только шапка отличает вас от баб, так этих шапок сколько хочешь в магазинах. Эх, будь неладен тот бог, который создал меня женщиной! Будь я мужчиной, я бы вас заставила плясать на раскаленной плите!.. Да, а ты знаешь, что я кур вывезла тайно от Дзибо?

— Как?.. А если здесь в открытом поле с ними что-нибудь случится?

— Пусть они немного порезвятся. Посмотри, как они со вчерашнего дня ожили. Видишь, как наелись пшеницы, даже двигаются с трудом. Я только молоденьких курочек и петушков взяла, остальных на ферме оставила. Дзибо об этом, наверно, еще не знает, а то бы уже давно прискакал. Представляю, как он будет кричать... А впрочем, пусть кричит. Если что, уплачу из своего кармана. В крайнем случае единственную корову продам, а маму возьму к себе на ферму. Ничего, она еще крепкая, выдержит. — Последние слова Мисурат проговорила совсем тихо и вытерла косынкой лицо. — Ну и пусть говорит и пусть ругается Дзибо сколько влезет. Я не боюсь его. Я же не из-за своей личной выгоды вывезла их сюда. Мне хотелось, чтобы и мы вышли в люди... В других селах не такие, что ли, люди живут? Ладно, пусть пшеница и кукуруза у нас дают невысокие урожаи. А что нам мешает создать хорошую птицеферму? Вода рядом, лес близко. Бескрайние поля... Муради был прав, когда сказал, что все в руках человека. Без налыгача и волю в разные стороны тянут.

В шалаше, под соломенной крышей, курочки и петушки притихли, плотно прижавшись друг к другу.

Мы с Мисурат сели на соломе. Возле плетеных стенок шалаша кучками белели градинки. Мисурат накинула старое пальто и распустила

мокрые волосы по плечам и спине. А петушки, вытягивая свои длинные шеи, старались на лету поймать капли, падавшие с крыши.

— Ты посмотри на этого озорника! — Мисурат рукой показала на петушка с красным гребешком. — Он не довольствуется тем, чем другие. Он, видите ли, брезгует пить из лужи. Да еще других задевает, то и дело клюнет кого-нибудь. У них тоже есть избалованные. Ему жизнь не в жизнь, если он кого-нибудь не клюнет, кому-нибудь не напакостит. Ты знаешь, кого он мне напоминает?

— Не знаю.

— Так я тебе и поверила. Ты думаешь, я его боюсь? Ничуть. Что он мне может сделать хуже того, что я уже испытала. Да и ни в чем я перед ним не виновата.

— Майрам, да?

Мисурат посмотрела на меня исподлобья.

— Волки они все корноухие.

Петушки не успокаивались. Все норовили выставить свои красные гребешки под дождь. Только тот озорной петушок близко к себе никого не подпускал. Он так жадничал, будто за всю жизнь не выпил ни глотка воды, — все вытягивал и вытягивал свою шею. Мисурат не спускала с него глаз. Она, наверно, стала зябнуть, потому что плотнее запахивала полы пальто, стараясь прикрыть колени. Она так согнулась, что я уже почти не видел ее лица. Только ее распущенные волосы были перед моими глазами. И я впервые увидел, как запорошила ее голову седина. Наверно, я этого раньше не замечал потому, что мне не приходилось сидеть с ней так близко и так внимательно разглядывать ее. А ведь она была красивая, Мисурат! Глаза у нее и сейчас красивые. Большие, серые, они так печально смотрят из-под черных пушистых ресниц.

Человек, он и есть человек, и, каким бы веселым он ни был, когда-то случается ему быть и печальным. Мисурат не стыдилась своей глубокой задумчивости. Она молчала, поглощенная своими мыслями, и мое присутствие несколько

ей не мешало. Подумаешь, что я для нее, она помнит, когда я родился, и дружит с моей матерью.

Мне было очень жалко Мисурат. Я тоже молчал, боясь потревожить ее думы.

Мисурат уже не юная девушка. Многое пришлось ей пережить. Ее сверстницы уже успели женить своих детей. А Мисурат до сих пор одна. Ох, скольких сватов выставила она в свое время из дома. Скольких хороших парней отвадила! А все потому, что молчаливый, застенчивый Бадила завладел ее сердцем. И героем он не был — не брал крепость Карс. И красавцем тоже не был — не завладел дочерью Луны. Но зато какие песни он пел, этот милый веснушчатый парень... По ночам не давали спать Мисурат его песни. И не в голосе тут было дело, ведь и у других парней были хорошие голоса, а в том, что Бадила пел свои песни всем своим благородным существом.

А какие у него были глаза!.. Иссиня-черные, и не просто горящие, а обжигающие.

Может быть, потому был он с Мисурат молчаливым, что и без слов проникал в ее душу, кто знает... А сама Мисурат? И красивая, и сильная, и остроумная, ах, как боялись парни ее метких шуток! Но когда появлялся Бадила, она застывала на месте, она просто забывала все слова на свете.

Они никогда не подходили близко друг к другу, он никогда не целовал ее. Но один-единственный раз она танцевала с ним. Все кругом танцевали смид, и они среди других. И все равно они оба молчали, и Мисурат казалось, что не по земле она идет, а парит где-то в небесах. И еще ей казалось, что Бадила уносит ее в своих сильных руках в какие-то неведомые дали. Но вот они оказались на краю площадки, и Бадила больно, очень больно, сжал ей руку выше локтя. И не успела она опомниться, как он исчез, затерялся среди танцующих.

А потом... Ах эти злополучные овцы! Все бы могло сложиться иначе. Как будто в селе не бы-

ло другого парня, взяли да послали Бадила в Кизляр. Правда, через товарищей он посылал ей приветы. Но что приветы! Ей нужен был сам Бадила, его песни, его глаза...

А потом началась война. Когда Мисурат узнала, что Бадила вернулся из Кизляра, она в сумерках побежала с фермы в село. Она решила все сказать. И ему она не позволит молчать. Больше ждать нельзя. Больше она не может. Почему она должна узнавать о его любви к ней через товарищей, через его сестру?.. А вдруг она опять ничего не сумеет сказать, вдруг опять растеряется? Нет, на этот раз она должна с ним заговорить. Даже если будут вокруг люди, она никого не побоятся. Пусть потом о ней говорят что угодно. Ей все равно.

В то время как Мисурат шла в село, Бадила сквозь щели плетня заглядывал во двор фермы. Девушки заметили его и выбежали из помещения.

— Кто тебе нужен, чего ты заглядываешь к нам?

— Чего вы на меня уставились, разве что такого же потеряли? Мне Мисурат нужна...

— Пока ты в Кизляре с барашками возился, твою Мисурат похитили, и не вздумай в погоню пускаться, все равно следов не сыщешь...

— Где она? Мне не до шуток, сегодня ночью я уезжаю на фронт.

— На фронт? — хором повторили девушки и сразу стали серьезными. — Тогда не задерживайся, Бадила, беги в село. Мисурат туда недавно пошла.

Бадила бросился бежать без оглядки, уже на ходу крикнув девушкам «спокойной ночи».

Много разговоров было в тот вечер о Бадила и Мисурат. Девушки все, за исключением Залихан Кантеевой, обвиняли Бадила. Но Залихан с ними не соглашалась:

— Оба они виноваты... На месте Мисурат я бы уже давно взяла его за шиворот. Мисурат только при нас смелая. Не дай бог при ней обидеть даже курицу — в пух и прах разнесет. А его

я защищаю не потому, что он мой брат. Он, конечно, тоже виноват.

Но ведь и Мисурат знает, что Бадила ее любит. А ведут себя оба, как дети, прячутся друг от друга. Если парень ничего тебе не говорит, скажи ему сама. Хватай за ухо и тащи за собой. Нет, девушки, что бы вы там ни говорили, я бы не могла так, как Мисурат, я бы не выдержала.

— А все-таки твой Бадила тюфяк. Такую девушку заставил сохнуть. И ты, Залихан, не за семью горами живешь, почему ты ему ничего не скажешь? Смелости не хватило?

— Я и ему и ей говорила. Так им и надо, пусть теперь побегают друг за другом.

Кто знает, сколько бы еще спорили девушки, если бы в это время Мисурат не прибежала обратно на ферму.

— Никто меня не спрашивал? — с ходу бросила она, заглядывая в углы, будто тот, кто ее спрашивал, прятался за чьей-нибудь спиной.

— В кошки-мышки вы играете, что ли?.. Спрашивал. И обратно за тобой побежал в село, — со злостью проговорила Залихан.

Мисурат подскочила к ней.

— Правда, не обманываешь?

— Зачем нам тебя обманывать? Сегодня ночью он уезжает на фронт...

Мисурат в изнеможении опустилась на стул. Слезы заволокли ее большие серые глаза. И все-таки ей было хорошо — ведь Бадила приходил сюда к ней. А война не вечно будет длиться. И Мисурат будет его ждать и год, и два, и больше... Но что же она расселась? Сегодня последний вечер...

Мисурат встала. Ей было неприятно, что подруги смотрят на нее с жалостью, и она нарочно громко сказала:

— Чего вы все молчите, словно языки проглотили! Лучше скажите, что мне делать, что он сказал?

— Не задерживайся, беги, он ждет тебя.

Ни слова не говоря, Мисурат выскочила за дверь.

Девушки сразу растерялись.

— Как же мы ее на ночь глядя отпустили одну? — сказала Залихан.

— Правда. Тебе надо было пойти с ней, Залихан. Ты бы ей там помогла встретиться с ним...

— Да оставьте меня в покое, я сама с ними голову потеряла, — со слезами на глазах взмолилась Залихан.

— Что с тобой? — окружили девушки Залихан.

— Жалко мне их...

Мисурат торопилась. Привычная дорога от фермы до села показалась ей необыкновенно длинной. Может, она сбилась с пути? Может, у нее ноги настолько ослабели, что она топчется на месте? Нет, дорога та же. Вон в темноте чуть покачивается старая ива, а справа от нее — курган с плоской верхушкой. И вода в реке, как всегда, ворчит, будто чем-то недовольна. Вот и мост. Нет, она не сбилась с пути. Только тянется этот путь почему-то бесконечно долго...

Когда пропели вторые петухи, Мисурат пришла в село и прямо направилась к дому Бадила. Окно их крайней комнаты еще светилось, но там было тихо. Она оглядела двор, осторожно заглянула в окно и, никого не увидев, побрела домой. Мать еще возилась у плиты. Увидев возле себя дочь, она от неожиданности выронила из рук тарелку.

— Очаг мой остыл, что с тобой случилось, ты такая бледная!

— Ничего, мама, я здорова... Никто меня не спрашивал?

— Спрашивал... Бадила... Недавно он заскочил сюда, будто за ним гнались. Когда я ему сказала, что ты пошла на ферму, он подлетел ко мне и поднял меня на руки. Ну ненормальный, и только. До сих пор бока трещат. Первый раз видела его таким. Мало того, что поднял меня, еще и в щеку чмокнул. А потом бросил на стол вот эту бумажку, сорвал со стенки твою карточку и исчез. Хотела ему с собой хоть бутылку араки дать. Схватила кувшин, побежала, да куда там,

разве за ним угонишься. С соседней улицы через минуту донесся шум машины, и все: уехал, значит...

— Будь проклята война! — воскликнула Мисурат и со слезами бросилась на шею матери.

Куда она еще могла бежать? В город? Восемьдесят километров пешком? Глубокой ночью?..

— Ох, тяжело мне, девушки, — ослабевшим, чуть хриловатым от слез голосом проговорила Мисурат, вернувшись утром на ферму, и бросила на стол записку Бадила.

Чем могли подружки облегчить ее страдания? Что они могли для нее сделать?

Залихан зашмыгала носом и прислонилась к косяку двери. Остальные одна за другой потянулись к записке. Бадила писал:

«Будь они неладны, и твои куры, и мои овцы... Я уезжаю, даже не я, тело мое уезжает, а сердце остается с тобой, в твоих чудных серых глазах... Я сам во всем виноват. Почему я молчал до сих пор? Прости меня, уж такой я, наверно, уродился. Разве Залихан тебе ничего не передавала? Спроси ее. Это страшное время проверит чистоту наших чувств. Не забывай меня, ведь я люблю тебя больше жизни...»

Девушки плакали. А Залихан, увидев в письме свое имя, пристала к Мисурат:

— Разве не говорила я тебе? А ты не верила, думала, что я шучу.

— Говорила, сестричка моя маленькая, говорила, — сказала Мисурат, обняв худенькие плечи Залихан.

А с фронтов приходили первые черные вести. Появились первые сироты. Первые слезы... Как непрощенные гости, проникали они из села в село, из дома в дом, из сердца в сердце. Девушки сложили песню и по ночам тихонько напевали ее.

Это была песня, сотканная из слез, похожая больше на причитание, чем на песню. Напевала эту песню и Мисурат. Когда засыпали подружки, она брала гармошку и одними губами пела:

Будь проклята, ворона леса Черного,
За то, что неумолчно громко каркаешь...
Сгорела б лучше та машина адская,
Что милых увозила на войну.

Много слез заставила пролить людей эта песня. Много девичьих глаз иссушила она. Много гармошек заставила надрываться.

Ни одного слова не написал Бадила ни Мисурат, ни матери. Будто сквозь землю провалился.

— От многих нет вестей. Наверно, они попали в такое место, откуда не идут письма. Вот посмотришь, напишет, — успокаивали Мисурат подруги.

И она ждала. Она верила всем, кто утешал ее. Да и что ей еще оставалось делать? Не одна она ждала. Все ждали.

Был пасмурный осенний день. Залихан пришла из села. Не переступив еще порога фермы, она расплакалась. Девушки обступили ее.

— Пришла похоронная, — вытирая рукавом слезы, проговорила Залихан и заплакала еще громче.

— Что ты сказала?! — выкрикнула Мисурат. Руки у нее повисли, и она, пошатываясь, побрела к воротам.

Подруги побежали за ней.

— Не сердитесь на меня... Оставьте меня одну, — еле проговорила Мисурат и опустилась на камень.

Все померкло для нее вокруг, даже звуков никаких она не слышала, только где-то далеко-далеко плакала Залихан...

Первые седины уже очень скоро прокрались в черноволосую голову Мисурат. А потом их стало больше. Весь облик ее изменился. Печать горя легла на лицо, на лоб. Порой появлялась у Мисурат надежда: а вдруг ошибка и он, Бадила, вернется? Но Бадила не возвращался, и Мисурат постепенно стала мириться со своей судьбой. Она очень много работала. И днем и ночью. Это все, что у нее осталось. Кое-кто из парней

Идите помогите ей. Если вам еще чего-нибудь понадобится, приходите ко мне, — сказал Дзибо.

Он поднялся и потянул нас за руки, будто хотел вытолкнуть из помещения, и сам первый вышел на улицу.

Напротив правления, в тени под топодем, его поджидал запыленный «газик». Из окна кабины свисала лохматая голова его шофера, будто голова битого селезня, и храп его раздавался на всю улицу. Дзибо подошел к машине и потряс шофера за воротник.

— Кто-нибудь твою голову по ошибке заберет вместо кормовой тыквы... Сколько можно спать? Скорее в район! — подчеркнуто сурово проговорил Дзибо и сел рядом с шофером на полосатую ковровую дорожку.

Машина закашлялась, как чахоточная, выпустила клубы дыма и, постреливая, покатила по узенькой улице.

— Решение правления... После слов Муради он и про правление забыл, — смотря ему вслед, сказал Дебола и сплюнул, будто ему в рот попала пыль.

Потом мне опять пришлось бегать по селу и искать Дзибо. Вместо наряда на строительные материалы он мне второпях сунул в руки чье-то заявление о выдаче денежного аванса. Я сам виноват — надо было вовремя посмотреть.

Я никак не мог напасть на след председателя. Одни его видели по пути на птицеферму, другие у сельмага, третьи на большой дороге. Но оказалось, что люди видели машину председателя, а не самого Дзибо. Наконец секретарь правления под большим секретом сказал мне, что он дома. Я поспешил к нему домой, хотя и понимал, как он меня встретит... А мне было все равно, как он меня встретит, ведь я шел к нему не по своему и очень важному делу, которое надо было решить сегодня же.

Еще мальчишкой я часто бегал с другими ребятами на Таргайдон купаться. Тогда на берегу реки, прямо под большим старым топодем стоял приземистый, ничем не примечательный домик

Дебола стоял у входа в шалаш с войлочной шляпой в руках.

— Так вы, значит, здесь? — сказал Дебола, наверно для того, чтобы хоть что-нибудь сказать.

— Нет, у бога в раю, — с упреком бросила ему Мисурат.

— А что же, и там, наверно, неплохо.

— Заходи, что ты встал под самую струю?

— Кто до нитки промок, воды не боится.

— Когда Дзибо начнет тебя отчитывать за то, что кур моих вывез в поле, забудешь о том, что промок.

— Если я ему скажу, что вывез их по распоряжению секретаря обкома, он мигом все бранные слова забудет. Да ладно, не домой же я их завез.

— Как ты думаешь, Дебола, а за трактор нам хоть одна курочка полагается или нет? — сказал я. — Мы, конечно, согласимся и на цыпленка.

Я в шутку хотел дать понять Мисурат, что Дебола взял трактор без разрешения.

— Мы все это учтем, — улыбнулся Дебола, — когда будем расплачиваться за калым... Цыплятина тоже неплохая вещь, но в старые добрые времена зятя угощали еще и яичницей. Эх, завидую тем, у кого родня жены добрая... А ты, Мисурат, вся соткана из хитрости и коварства. Небось нарочно кур-несушек оставила на ферме, чтобы не пришлось угощать нас яичницей.

У Дебола явно развязался язык, и он опустился между нами на солому.

— Уйди, чего ты трешься об меня в своей мокрой одежде, я и так вся продрогла.

Мисурат слегка подтолкнула Дебола локтем. Но он подсел к ней еще ближе, обнял ее одной рукой и тихо проговорил, будто посвящая ее в какую-то тайну:

— Ничего, у Дебола хватит огня, чтобы тебя согреть...

Мисурат отвела от себя руку Дебола и покосилась на меня. Я поднялся, но она усадила меня обратно.

— Ахсар! Я тебя очень прошу, завтра вечером перевезите мой шалаш на гору. Это совсем нетрудно. Укрепите мне там плетни, солому я сама как-нибудь заброшу на крышу, а куры будут пастись и незаметно поднимутся.

— А вчера вечером вы, кажется, с Дебола и без меня неплохо управились.

— Ты, я вижу, кое-кому начинаешь подражать... Мы искали тебя, Ахсар, но не могли же мы бежать за тобой на ферму, мы и так опаздывали. А потом я еще подумала: стоит ли лишать прелестную внучку Дуду утренних лучей ее солнца?.. Да ты бы и сам был не рад.— Все это Мисурат говорила, повернувшись лицом к Дебола, будто вовсе не ко мне относились ее слова.— Мне уже терять нечего, все равно придется держать ответ за то, что вывезла кур на волю, так что отвечу и за вас.

— Стоит ли беспокоиться? Перевезем мы твои плетни. Только завтра, кажется, под озимые будем пахать под горой...

— А вам-то какая разница? Так или иначе эти поля тоже надо вспахать!

— Конечно, надо, но...

— Но нет распоряжения председателя колхоза... Агроном ничего не сказал, не было решения правления. А как же я решилась ответить за три тысячи кур? И ради кого я торчу тут в открытом поле? Со вчерашнего дня у меня во рту куска хлеба не было! Об этом вы знаете? Только вот жареная кукуруза... Нате, попробуйте! — И Мисурат бросила мне полную горсть жареной кукурузы.— Другие стараются как-нибудь помочь женщине, а вы все «планы, планы»... Если вы такие трусы, я на собственной спине все перетащу. Я не дам голодать своим курам. Никто мне не нужен...

— Подожди-ка, чего ты завелась, ведь мы же тебе не отказали еще?

— Хорошо, Мисурат, мы согласны. Но почему ты со вчерашнего дня голодаешь? Ведь ты же, Дебола, знал...

— Он не виноват, я сама ему не разрешила. Девочки должны были принести мне поесть. Не знаю, почему их до сих пор нет. Может, с курами что случилось? И цыплят нельзя здесь оставлять без присмотра, а то бы я сама к ним сбегала...

— За сутки с твоими курами ничего бы не случилось,— не выдержал Дебола. Но, встретившись с печальным взглядом Мисурат, он смягчился.

Я сидел рядом с ними и, глядя на них, чувствовал себя взрослее их обоих, несмотря на то что они были гораздо старше меня. Надо было видеть, как они смотрят друг на друга, как понимают друг друга по взгляду, по движению бровей.

Вскоре прибежала Верочка с фермы и принесла еду для Мисурат. Она явилась босиком, с пучком соломы на голове. Платье на груди растегнулось, подол она задрала выше колен. Сбросив с головы солому, она протянула Мисурат сверток с едой, а сама принялась натягивать на колени мокрое платье.

— Посланец с дарами...—громко сказала Мисурат и что-то шепнула Верочке на ухо.

Та покраснела, прикрыла руками грудь и отвернулась.

— Вчера приезжали за яйцами, и мы до позднего вечера их считали,— сказала девушка и повернулась к нам уже в застегнутом на груди платье.

— А я как раз хотела тебя спросить: сколько вы отправили?

— Без двадцати штук четыре тысячи.

— А битых много было?

— Не знаю, Уарзета считала.

Услышав разговор о битых яйцах, Дебола оживился:

— Неужели вы бы там обеднели, красавица, если бы ты хоть несколько битых яиц захватила с собой? Ведь мы же тоже люди. Тоже работаем. Я тебе каждый день твержу, Мисурат, что врачи мне рекомендуют яичницу.

— Боюсь, как бы у тебя живот не разболелся.

— А я думал, ты боишься, как бы я после яичницы не закукарекал.

— А ты и не отведав яичницы уже кукарекаешь...

Верочка приснула в кулачок. Не выдержал и я. А Дебола, будто и не слышал слов Мисурат, блаженно улыбался.

— Ладно, Дебола, не страдай. Верочка еще раз придет сюда и принесет яйца, и мы тебе зажарим яичницу прямо в твоём ведре из-под бензина. Правда, Верочка?

— Да что там ведро, я готов пожертвовать своей войлочной шляпой, только чтобы ты сама жарила мне яичницу.

— Договорились. Ну-ка, Верочка, где твой шир?¹ Давай его сюда, пока он не совсем остыл.

— Откуда ты знаешь, что я принесла шир? По запаху? Они не посмели даже сварить тебе яйца, боялись, что будешь ругаться. А мяса нам не привезли. Если бы я знала, что застану тут гостей, я бы из дому что-нибудь захватила.

— Ничего, завтра принесешь. Только не бери, пожалуйста, целый кувшин араки, тяжело будет тащить. Наполни лучше большой графин,— продолжал шутить Дебола.

— Араку гнать теперь не разрешают. Бедные вы, мужчины...

— Столько, сколько нам надо, у твоей мамы еще найдется. Сказать тебе, где она ее прячет? Ну-ка, дай свое ушко, я не хочу, чтобы они знали.

Мисурат, наверно, нравилось шутливое настроение Дебола, и едва заметная улыбка блуждала по ее лицу. Она не спускала с него глаз. После дождя он чуть порозовел. Черная шевелюра, как бывало когда-то в молодости, закурчавилась, а одна прядь спустилась на правую бровь.

¹ Шир — каша из кукурузной муки, сваренная на молочной сыворотке и заправленная маслом.

Дебола казался мне помолодевшим. Наверно, так казалось и Мисурат.

Спасибо Верочке, кроме шира у нее нашлось еще три теплых пирога с капустой. Так что получился не просто обед, а настоящее пиршество. Дебола поднял стакан с молоком. Ох, посмотрели бы вы на нас, какие длинные тосты мы производили! Даже выпили за мое и Залины здоровье. А эта озорница Верочка как поднимет свою чашку с молоком да как скажет:

— Ты приходишься мне зятем, и так и знай, что на плохой отрез я не соглашусь. Ведь Залина двоюродная племянница моего отца. Если ты не будешь ко мне хорошо относиться, я уговорю ее уйти к другому. А то вы знаете, он меня не замечает? Что я, такая уж маленькая, ничего не понимаю, да? Нет, понимаю. Не такая уж я маленькая.

— Да у тебя вроде слезы на глазах.— Мисурат потянула Верочку за подол.

— А потому что мне обидно... Ну ладно, за ваше здоровье!—И Верочка залпом выпила молоко и села рядом со мной.

Я обнял ее за плечи и сказал:

— Прости меня, Верочка, я не знал, что вы родственницы. А насчет отреза не беспокойся.

— Насчет отреза я пошутила,— улыбнулась она.— А разве Залина не говорила тебе, как я ей целый час тебя расхваливала.

— Как же... Говорила...

— Так не вздумай уступать ее кому-нибудь...—И с этими словами Верочка вручила мне кусок пирога с капустой.

— А какие еще новости в селе? Где наше начальство? Что-то никого из них не видно. Они, наверно, еще не знают, что я переселилась в поле?—спросила Мисурат, вытирая краем косынки рот.

— Знают уже. Только им сейчас не до тебя. Их вызвали в город. Те, что приезжали за яйцами, рассказывали.

— А кто уехал-то?

— Дзибо. И Тасолтана с гор привезли. А кто еще, не знаю.

Дебола притворно кашлянул:

— А как же наши овцы без Тасолтана, не подохнут ли, бедные, без секретаря? Я не завидую нашему начальству, потеют они там сейчас здорово. И мы с тобой, Мисурат, тоже хороши коммунисты, ничего не скажешь.

— Еще бы одно собрание, я бы их наизнанку вывернула. Тряпка он, наш Тасолтан. Но не беспокойся, они опять из воды сухими выйдут. Оправдаются. Разве мы не знаем Дзибо? — махнула рукой Мисурат.

— Сколько бы лиса ни прятала свой хвост, когда-то он все равно вылезет. Ты знаешь, что Нина все-таки была у Муради? А что из двенадцати тысяч овец за два года в колхозе осталось только четыре тысячи, тоже знаете? Знаете. Так об этом и в обкоме знают. Мы слишком далеко расположены от города, дороги у нас плохие, и поэтому, видите ли, начальство редко навещалось к нам. А если кто и заезжал, так опять же все обходилось как нельзя лучше. Резали гостю барана, подавали двойную араку, черное пенистое пиво. Еще с собой фруктов давали... Если бы хоть разок еще устроили собрание, я бы всех за ушко да на солнышко...

— Слышите, — показывая рукой на большую дорогу, сказала Мисурат. — А ты, Верочка, думала, что они в городе.

— Нам так сказали, — ответила Верочка. — А ведь это машина не Дзибо.

Дождь не прекращался. Дул холодный ветер. Мы все повернулись в ту сторону, откуда приближалась машина.

— Грузовая машина... Интересно, кто это едет? Кто на нас наступает?

С этими словами Мисурат встала.

— Кто бы ни был, никого не боюсь! Даже если его сопровождают конные с одной стороны, а пешие с другой, все равно ринусь в бой. А если это окажется сам Дзибо, тем лучше, мы поговорим с ним по душам.

И, словно в самом деле готовясь к схватке, Дебола встал и размялся.

Машина остановилась у шалаша. Из кабины вылез Хамби.

— Здорово, цыгане,— сказал он. Дождевая капля свисала с его огромного носа. И, не дождавшись ответа, он заговорил, тяжело дыша:— Дзибо и парторг выехали в город. Перед отъездом председатель предупредил меня, вернее сказать, оставил вместо себя меня. Так вот, ему кто-то сообщил, что ты, Мисурат, кур вывезла в поле. И он сказал мне, чтобы я тебе немедленно же передал его распоряжение доставить кур туда, откуда ты их вывезла. Немедленно. Без всяких возражений. И я передаю тебе это. Я специально приехал. Потом не говори, что ты ничего не слышала... А как у вас дела, Дебола?

— Не хуже, чем у тебя,— коротко ответил Дебола и бросил на меня хмурый вопрошающий взгляд, будто хотел меня спросить, что ему дальше делать.

Но тут заговорила Мисурат:

— Хамби, выслушай меня. Зачем тебе лишние хлопоты? Я заведу птицефермой, и я лучше других знаю, что мне нужно делать. И не хочу от тебя скрывать, что кур я вывезла в поле по совету Муради. Можешь так и передать Дзибо. И еще помни, что хоть ты и член правления, но я тебе не подчиняюсь. Понял? — полушутя, полусерьезно говорила Мисурат, но по движению ее бровей было видно, что стоит Хамби ей возразить, и она набросится на него, как наседка.

Мисурат говорила тоном человека, уверенного в своей правоте. И не так уж глуп был Хамби, чтобы спорить сейчас с ней. В особенности при нас.

— Как хочешь. Мое дело сообщить тебе то, что мне поручило руководство. Но и ты не должна забывать, что за животноводство отвечаю перед правлением я,— довольно сдержанно заявил Хамби, часто-часто моргая своими светлыми ресницами, словно мухи лезли ему в глаза.

Дебола несколько раз порывался вступить

в разговор, но Мисурат глазами подавала ему знаки: оставь, мол, сама справлюсь. Верочка стояла в стороне и слушала.

— Хамби, мы тут сидели и мирно беседовали, а ты вдруг залетел к нам, как черный ворон. Езжай обратно подобру-поздорову... — не выдержал все-таки Дебола.

— А я же не с тобой говорю. Тебе бы я мог, конечно, сказать, что тракторы ваши стоят без дела, что ты перевозил кур Мисурат, что тебе в трехкратном размере придется платить за эти вот плетни, что бухгалтер уже составил акт, а Дзибо уже наложил резолюцию... А потом... — Хамби бросил взгляд на Мисурат.

Дебола выступил вперед. Мисурат схватила его за руку. Хамби понял, что ему не стоит задерживаться, и выскочил из шалаша, бросив на ходу:

— Смотри, Мисурат, я тебя предупредил!

Из окошка кабины он помахал в воздухе двумя дохлыми курицами и крикнул на прощание:

— Мисурат, иногда дохлая курочка дороже целого барана!

Машина Хамби покатила к большой дороге. Мы стояли и смотрели ей вслед.

— Вот бессовестный! — сказала Верочка. — Интересно, где он их подобрал? Я-то раньше его там шла, почему же я не увидела.

— Не раздавили ли вы мне их своими тракторами? — побледнев от испуга, проговорила Мисурат и бросилась бежать по расплывшемуся следу моего трактора. Мы тоже побежали в разные стороны по уже убранному пшеничному полю.

— Где он их мог найти? — сказала Мисурат, когда все снова собрались в шалаше.

— Для такого дела Хамби не пожалеет и собственных кур, — ответил Дебола.

В лунную ночь после дождя воздух всегда необыкновенно чист. Кругом тихо-тихо. Лишь наши тракторы нарушают ночной покой. На краю

поля у шалаша Мисурат горит костер. Два человека стоят у костра, я вижу их отсюда. Впереди меня трактор Дебола тяжело выворачивает землю. Сабаз напевает какую-то песню. Из-за шума трактора я не могу разобрать слов. Да и как ему не петь, ведь Дебола доверил ему свой трактор!

Пусть горит вечным огнем костер Дебола и Мисурат!

Пригнись хоть немного, Охотничий курган! Может, сейчас и Залина развела там костер...

10. ПЕРВЫЕ КАПЛИ ДОЖДЯ

В клубе полно народу. Те, кому не хватило места, прижавшись друг к другу, выстроились вдоль стен. Глядя на них, кажется, будто они стараются растянуть помещение. Табачный дым клубится под потолком и, вытягиваясь в струйку, стремится проникнуть в узкие двери. Сквозь щели прорывается в помещение свежий воздух, словно стараясь спастись от холода.

Душно в клубе. Люди обливаются потом. И хотя полы свежевывмыты, стены только-только побелены, все-таки чувствуется еще запах куриного помета.

Я сижу рядом с Дебола. Впереди нас — Мамсур и Асабе. Чуть ли не пар поднимается над их головами. Мисурат на ухо что-то говорит моей матери. И обе они смеются.

— Воздух для нас жалеете, что ли, почему собрание во дворе не устроили? — слышался сзади чей-то хрипловатый густой бас.

— Может пойти дождь. Слышишь, как ветер свистит, — отвечает другой голос.

— Ну так облейте нас еще кипятком, чтобы мы окончательно сварились...

— Да помолчи ты! В кои-то веки вместе собрались, а ты свою трубу наставил мне прямо в ухо!

— Да оставь ты свои ноги в покое, чего ты их без конца об пол бьешь, будто на муравьиной куче сидишь!

— Бога ради, дайте послушать...

Со всех сторон слышатся разговоры. Не слышит их только Дзибо. Он видит, что люди над чем-то смеются, о чем-то говорят, но ему сейчас не до них. Он стоит у стола, опустив свою бритую голову над бумагами, разложенными перед ним. Пар поднимается и над его головой. Дзибо кажется, что ему одному так жарко, что он больше всех потеет. Еще бы! Ему же придется сегодня держать ответ перед всей этой публикой.

До чего же ему не хотелось устраивать собрание. Как уговаривал он Муради: отложим, мол, до окончания уборки. Тот не согласился. А Мамсур, Асабе, Мисурат поддержали Муради.

И вот сейчас уже совсем мокрым платком он вытирает пот со лба. Временами он высоко поднимает свои лохматые брови и оглядывает собравшихся.

«Дышите, курите больше,— говорит его взгляд,— может, дым скроет вас от глаз моих».

Одни шушукуются, другие смеются, это наверняка те, что будут выступать против него. Дзибо даже знает, кто из них о чем думает сейчас.

Вон у дверей сидит Госама. Пустить бы ее сейчас сюда, она бы его в пух и прах разнесла. Чего она на него уставилась, как индюшка на муху... Что, пожалела свои пироги с сыром, араку, яичницу? Ах, сколько раз она его угощала! Да и он сделал ей не меньше добра. Когда, бывало, глубокими ночами завозил ей полные машины, она иначе на него смотрела. Будь она неладна со своей подслащенной аракой. Боком все это ему вышло. Если не она сама, все равно кто-нибудь непременно скажет об этом. Такие вещи они не забывают. Да и ей верить нельзя! Чуть семью ему не разбила. Крутилась вокруг него, как хитрая лиса. Интересно, кого теперь она будет заманивать своими пирогами? Но и печет же она их ах как вкусно! Ничего, найдет, кого угостить. Не зря бегают у нее глаза. Кого-то опять затягивает в свои сети. Кто он, интересно? Если бы она заранее знала, кто он, уж подсела бы к нему

и пронзила бы его своим огненным взором, как стрелами Нарта Сослана¹. Пропела бы ему на ухо те же лстивые слова, которыми когда-то соблазняла его, Дзибо. А впрочем, разве она когда-нибудь говорила ему что-нибудь доброе? Больше плакала. У нее всегда слезы наготове.

Конечно, неприятностей он ей доставил немало. Но вначале и она его как следует помучила. Ох, сколько ночей заставила она торчать Дзибо под окнами своего дома. Тогда и начались все его несчастья. С тех пор он стал жертвой злых языков... Пусть говорит, пусть рассказывает, о чем хочет. Все равно не расскажет больше того, что уже знает о них народ. Пусть расскажет и о том, что Дзибо несколько раз поднимал на нее руку... Ладно, ладно, все равно второго такого дурака она уже не сыщет. Никто не позволит ей оседлать себя. А она страсть как любит ездить на ком-нибудь верхом.

А как эти два старых волка — Мамсур и Асабе — поглядывают друг на друга. Как они локтями подталкивают друг друга. Стоит одному из них выступить, и это будет похуже того, что скажет Госама. Дзибо хорошо знает Мамсура и Асабе. Пусть только враг попадет им на язык, они мигом превратят его в ишачью подстилку. К тому же и обком их поддерживает. Совсем разбаловали этих двух старых чурбанов. Говорят, что Дзибо выгнал их с работы... Странные тоже эти работники обкома, чего только не скажут. Откуда он их выгнал? Не жаловаться на Дзибо, а молиться на него должны были бы они. Ведь на какие хорошие места их поставили. Под солнцем не парятся, дождь на них не капает, зарплату получают вовремя. Что им еще нужно? Стоит этим старым чурбанам хоть раз попасть под дождь, и они развалятся. А работникам обкома что? Не им же с ними работать. Вот послушали бы, как они постоянно ворчат...

Правы были наши предки: не делай добро, не

¹ Н а р т С о с л а н — персонаж осетинских сказаний.

получишь зло. Посмотрите только на них, без крыльев хотят летать. Никак не могут поверить, что бензин у них давно весь вышел. Нет, Мамсур и Асабе не будут, не должны говорить. А как насчет кукурузы?

Будь ты неладна, Госама! Чего ты так уставилась на Дзибо? Все эти неприятности у него из-за тебя. Старики бы и по сей день работали. Лучше бы у него в тот день язык отсох, когда он заставил перетащить эту проклятую кукурузу... Не видеть бы ему в жизни ни одной женщины. Шею свернуть — и то лучше... Мамсур сейчас имеет право встать и при всем честном народе нарезать ремней из его спины. Кажется, он в самом деле хочет встать, хочет что-то сказать... Нет, он что-то шепчет на ухо Асабе. Не встанет, ничего не скажет Мамсур... Дзибо подкупил этих двух старых волков выдержанным копченым салом...

Между рядами что-то подозрительно часто мелькает голова Бутиан. Эта скажет, эта не выдержит. Если ее связать по рукам и ногам, она все равно выскажется. Опасный она человек. Она может напомнить хотя бы то время, когда Дзибо ее откормленных коров передал Госаме, но главное даже не в этом: ее дом, ее больной сын..., Подождала бы она хоть несколько дней. Отремонтировали бы ее жалкую хибару. Нет, не выдержала, нажаловалась Муради. Но и Дзибо никто за язык не тянул. Зачем он ее обманывал? Много ли нужно было для ремонта ее домика? Сделали бы вовремя, она бы забыла обиду за коров. Ничего бы не сказала и про Госаму. А сейчас, только посмотрите на нее, сидит с таким видом, будто хочет броситься на Дзибо. Стоит ей только встать с места, как народ одобрительно зашумит. Ее не трудно спутать с огородным чучелом, а как народ ее любит. С каким уважением люди относятся к каждому ее слову... По правде говоря, работница она очень честная, трудолюбивая. И неудивительно, если она выступит против председателя. А как ей было не злиться, когда дождь лил на голову ее больному сыну? Надо, надо было отремонтировать ее домик...

Значит, он в самом деле виноват?.. А не слишком ли много обвинений он принимает на себя? А завхоз, парторг, бригадиры? Они же тоже отвечают за что-то? Эту вину он свалит на них. На парторга Тасолтана? А что? Пусть и он попотеет. Сколько раз ругали его в райкоме, сколько раз хотели освободить его. Дзибо настоял, чтобы его не трогали. Он нужен был Дзибо. Не совсем он бесхребетный, как думают о нем некоторые. Были у них схватки. Да еще какие. Но парторг смирился. Нужно же жить, кормить семью. А у него семеро...

Эх, Дзибо, кажется, ты все ближе и ближе подкатываешься к краю пропасти. Раз дело дошло до Муради, ответ придется держать тебе самому. Не стоит лить керосин на сухие дрова...

Постой, постой... А если все свалить на Майрама. Для головной боли, что ли, у нас председатель сельсовета. На Майрама! Пусть и он отвечает хоть за что-нибудь. Где же он? Что-то его не видно и не слышно. Ну и колдун... Как только Муради появился в селе, он сразу же притворился больным, вот-вот умрет. Сдохнуть бы тебе... А впрочем, даже лучше, что он заболел. Он трусливее зайца. Он бы бросил Дзибо еще какие-нибудь обвинения. Ему доверять никак нельзя. Скажет еще, что председатель разъезжает по селу на своей машине, а какой-то несчастный мост не может отремонтировать. А ведь мог бы мобилизовать на это дело и машину и тракторы, ведь все в его распоряжении. У Майрама и в самом деле ничего нет, кроме его клячи и старой развалины Асабе. С ними не совершишь культурной революции на селе... Но Бутиан он мог помочь? Мог! А почему не помог?

Айсаду... Как тихо она сидит. Как хмуро смотрит на Дзибо. Наверно, чем-нибудь недовольна. Она такая. Редко когда она выступает на собраниях. Но стоит ей выступить, как народ целиком переходит на ее сторону. Люди тянутся к ней, как к матери. Спрашивают у нее совета. Выступит она безжалостно. И если уж она развяжет узел своей горечи, тогда держись, Дзибо...

Ох, и долго бегал за ней Дзибо! Долго уговаривал. Только она оказалась не такой сговорчивой, как Госома. В душе он восхищался ее гордостью, неприступностью, но вслух ей этого никогда не высказывал. Если не за себя, то хоть в защиту кого-нибудь она непременно выступит. Она такой человек. Любому ее слову поверят. Лично ей Дзибо, кажется, ничего плохого не сделал... Ну, говорил ей, конечно, вернее сказать, напоминал, что муж ее враг народа. Но об этом ей многие говорили. Ведь поэтому не стала она членом правления. Нет, Айсаду ничего не может сказать. Она не такая болтушка, как другие. Большую опасность представляет ее прежде времени созревший сынок. Он все равно что бодливый бычок. Надо не надо — везде сует свой нос. Вожак молодежи!.. Дзибо предупреждал Тасолтана, чтобы не допускал этого самоуверенного щенка до общественных дел. А он не послушался. Приезжал сюда еще и секретарь райкома комсомола и поднял его чуть ли не до небес. Счастье твое, Ахсар, что Дзибо вовремя не взялся за тебя, а то бы не забыть тебе его вовеки. Немало таких молокососов сломил Дзибо в свое время... Чего тебе не хватает, зачем лезешь на рожон? Доверили тебе самый новый трактор, ты секретарь комсомольской организации. Чего тебе еще нужно? Молоко на губах не обсохло, а как сумел подладиться к Муради. Такой далеко пойдет!.. Вообще-то пусть идет куда хочет. Лишь бы не вмешивался в дела Дзибо. Видали, как он сидит в кругу почетнейших людей, как хитро улыбается, глядя на Дзибо. Красноречив, как его покойный отец. Причем ни одного лишнего слова от него никогда не услышишь. Точная копия отца. Он уж будет говорить, обязательно будет. Насчет матери он ничего не скажет. Он будет говорить в защиту молодежи.

А вдруг он начнет рассказывать о делах Нины... Хамби тоже на старости лет совсем рехнулся. Чего он пристал к молодой девушке? Чего он позорил ее, когда имеет свою семью. Ведь она же в течение двух месяцев понятия не имела, что

молоко от пятнадцати коров отправляется в район от ее имени. Как ишака, всю жизнь тащил Дзибо за собой Хамби. Носился с ним, переводя с места на место. А ума у него от этого не прибавилось. Теперь и он, наверно, выступит против председателя, расскажет, как вместе закупали в магазинах масло, как на одну цистерну молока троекратно составляли документы, и во всем окажется виноват один председатель. Да? Ничего, и тебе тоже нелегко будет отделаться. Не беспокойся, и до тебя доберутся. Нет, Хамби, хоть Нину ты и прогнал, но Ахсар и Залина здесь. Ничего ты не сделаешь уже ни криками, ни нахмуренными рыжими бровями. Придется отвечать перед теми, кто выбирал тебя и председателя.

Теперь бесполезны и раскаяния и мягкий тон. Допустили, мол, ошибки, исправим их... Только клятвами и обещаниями можно еще спасти свои шкуры. И если после Дзибо тебе предоставят слово, постарайся, друг, не жалея себя. Говорят, когда волк попадает в беду, он и под собаку ложится. Другого выхода нет. Если друг друга не поддерживать, всем хвосты подожгут. Понял? Давай бросайся им под ноги. Надо во что бы то ни стало остаться на своих местах. Лишь бы спастись, а там — день идет и счастье с собой несет. Только мягкостью, а не наскоками безмозглой курицы надо действовать. Здесь тебе не ферма, здесь не покричишь. Видишь, кто сидит за столом президиума? Секретарь обкома. Причем первый. Когда со всех сторон начнут бросать тебе реплики, мигом растеряешься. В красноречии тебя и армия Агура не победит, а в хитрости сам Нарт Сырдон...¹ Где еще может тебе пригодиться твое красноречие, как не здесь? Тебя обязательно кто-нибудь спросит о тех трех телках, которых ты этой весной прирезал на берегу реки, и о тех породистых телятах, которых ты роз-

¹ Агур и Нарт Сырдон — персонажи осетинского фольклора. Агур — предводитель непобедимого войска. Нарт Сырдон — умный, коварный герой нартского эпоса.

дал своим родственникам и друзьям. Скажи, что они их купили за свои деньги. Дзибо-то именно так и объяснил Муради. Слышишь, не признавайся. Разве ты, лиса, не говорил, что никто об этом не знает, а те, кто знает, подкуплены тобой копченым салом?

Будь оно неладно, это твое копченое сало, что ты им, как эликсиром жизни, подмазываешь всех. Вот чуть позже, когда займешь тут место Дзибо, когда со всех сторон посыплются на тебя обвинения, тогда посмотришь. Тогда люди увидят, что останется от твоего копченого сала. Только запомни, что сейчас не время терзать друг друга. Не надо разбирать башню по камушку, выстроенную собственными руками. Найдется кому ее разрушить. А впрочем, что за башня?.. Самый элементарный обман государства. Долги колхоза выросли выше головы, поля заросли сорняком, правление восстановило колхозников против себя. А еще что? Пьянство? В этом отношении к председателю никто не придерется. Все знают, что Дзибо не так глуп, чтобы в пьяном виде вылезать из дому. Машина? А у кого сейчас нет машины? Что удивительного, если председатель колхоза купил машину своему единственному зятю? Не на ворованные же деньги он ее покупал. На что она нужна была колхозу?

Пар поднимается над головой Дзибо. В горле у него пересохло, он поперхнулся и судорожно схватился за стакан с водой. Смотрит в зал, смотрит на Муради. Он старается держаться спокойно. Но от народа ему трудно скрыть свое истинное состояние. Стоит Асабе бросить ему реплику, и он сбивается, буквы начинают прыгать перед его глазами.

— Люди добрые,— отстранив бумаги в сторону, хриплым голосом говорит Дзибо,— я от вашего имени благодарю обком... А особенно вот Муради. Он с большим вниманием рассмотрел наши дела, отметил все наши недостатки. От имени трудящихся нашего села я даю твердое обещание с честью выполнить взятые на себя обязательства... Если бы вовремя кто-

нибудь предупредил нас, что мы ошибаемся, тогда бы...

Дзибо вытирает пот со лба, украдкой поглядывая из-под платка на Асабе, и продолжает:

— Вы сами знаете, что вот уже два года погода не благоприятствует нам. Ей-богу... О-о, простите,— поперхнулся Дзибо.— То дожди, то печет... Я часто думаю: может, климат наш переменялся? Поверьте мне, Муради, случается так, что над соседними селами светит солнце, а у нас ливни. А потом, как выглянет солнце, земля трескается от жары. Я вырос в этом селе, но такого чуда никогда не видал...

— А разве до сего времени у нас не было дождей или солнечных дней? — слышится из рядов густой бас Мамсура.

«Держись, Дзибо, приближаются раскаты грома», — думает про себя Дзибо с притворной улыбкой на лице.

— Я об этом и говорю... Дожди у нас и до этого бывали. Конечно, надо признаться, что не меньше виноваты и мы, члены правления. Если бы мы хорошо наладили работу, и дожди бы нам не помешали...

Дзибо оглядывает сидящих в зале. Взгляд его остановился на Хамби и на Майраме... Высунула свой длинный нос и острый подбородок мать Асланбека...

«Будь ты проклята, чего ты на меня устави-лась?» — думает Дзибо, а сам исподлобья поглядывает на Хамби.

Но тут, будто кто-то подал сигнал, со всех сторон посыпались на Дзибо вопросы:

— А ты подарил своему зятю колхозную машину?

— До каких пор этот лис Хамби будет работать на ферме?

— Почему мы в колхозе держим скот без учета?

— Почему не говоришь насчет телят?

— Сколько твоих овец пасется в горах вместе с колхозными?

— Сколько личных овец Хамби?

— Как ты у Мамсура воровал кукурузу для Госамы?

— Где Нина, почему она убежала с фермы?

— Я здесь!

От дверей к столу президиума решительно направилась Нина. Все, как по команде, повернулись в ее сторону. Исподлобья смотрел на нее и Дзибо. Будто желая остановить Нину, он высоко поднял руки и громко сказал:

— Успокойтесь! Хоть бы гостя постеснялись.

Народ не успокаивался. Дзибо заерзал на месте, будто в ногу ему попала заноза, а потом резко повернулся к Муради:

— Ну, что это?.. Как это называется?..

Муради нахмурил брови, встал и жестом показал Дзибо, чтобы тот сел. Как шум горного обвала постепенно стихает где-то в глубине ущелья, так и тут постепенно замирал гул в зале. Только Нина, словно она действительно на кого-то наступала, все продвигалась вперед.

И опять заволновался народ:

— Пустите девушку. Чего вы ей преградили дорогу?

— Скажи, скажи, Нина! При всех скажи!..

— Теперь держись, Дзибо...

— Нина, не бойся, мы здесь...

Но вот Нина поднялась на трибуну и уперлась рукой в угол стола, словно боялась упасть.

Дзибо сидел позади нее и все время стирал пот со лба. Он видел, как дрожит бледная, худая рука Нины.

— Я никого не обвиняю,— начала Нина с дрожью в голосе.

— А тогда зачем полезла выступать? — слышался голос из глубины зала.

— Дайте ей говорить! — сказал Муради.

— Я хочу сказать о себе, о своей слабости, нерешительности... Поэтому мне так стыдно стоять сегодня перед вами. Оставила товарищей. Сбежала... Вовремя не раскрыла обман и хитрости наших руководителей. У меня не хватило

смелости бороться с ними. И сейчас перед вами я признаюсь в своих ошибках. Вы сами знаете, что от работы я никогда не увиливала, делала все, что могла. Но они вскружили мне голову, я поддалась их обману... Я не оправдываюсь, вы меня знаете. Выросла я среди вас...

— Ты конкретнее скажи,— вскочив с места, крикнул Дебола.

Я потянул его за рукав и усадил на место.

— А чего она тянет? Нравилось небось, когда на руку золотые часы надевали. Тогда никого не выводила на чистую воду. Теперь дошло,— не переставал ворчать Дебола.

— Ты выслушай меня, Дебола. Я вышла на трибуну не для того, чтобы покрасоваться перед вами. Хотя многие меня и ненавидят, сочиняют обо мне всякие небылицы, все-таки...— Спазмы сдавили ей горло, голос сорвался, и Нина посмотрела в нашу сторону.

И опять кто-то крикнул:

— На воре шапка горит!

Нина вскинула голову и резко повернулась к Муради.

— Не буду говорить о себе... Но им, Муради, не верьте. Я имею в виду Дзибо и его прихлебателей. Они, как лисицы, умеют замечать следы. Спросите людей, пусть расскажут об их делах. Они рядового труженика ни во что не ставят. Живут только для себя. Перед всем народом говорю: если Дзибо и его помощнички останутся на своих местах, мы совсем погибнем. Если хотите сохранить наш колхоз, надо, чтобы председателем стала Айсаду.

Нина бросила взгляд на мою мать и быстро сбежала по ступенькам в зал. Люди окружили ее.

— Нина правильно говорит!

— Дзибо нам не нужен!

— Пусть боком им выйдет народное добро.

— Айсаду... Кроме Айсаду, мы никого не желаем...

— Давайте сейчас и выберем!

— Дайте мне сказать несколько слов! — слышался хриловатый голос Асланбека.

Тяжело опираясь на костыли, он подошел к трибуне. Его поношенный китель украшали сегодня ордена и медали и до блеска начищенный гвардейский значок. Свежевыбритый, он казался моложе своих лет.

Зал притих.

— Простите,— с волнением в голосе начал он,— пусть не покажется вам странным, но я хочу начать не с того, что ли, конца. То, что сказала Нина, верно. Так все думают. Спросите любого, он то же самое скажет о нашем председателе. Прислушайтесь хотя бы к репликам. Они же, как стрелы, разят его. Но извините, я о другом... Тот, кто был на войне, знает, что такое комиссар. Душой его называли... Вот меня, раненого, с поля боя вынес наш комиссар Захаров. Не будь его, я бы, наверно, не стоял сейчас перед вами. Таким, мне кажется, должен быть и секретарь партийной организации — душой колхозников. А где он? Почему он молчит? Бойтся обидеть Дзибо? Нет, Тасолтан, если бы ты был настоящим секретарем, ты бы давно пресек кулацкие замашки нашего председателя. Может, скажешь, не в твоей это власти? Он же коммунист, член нашей партийной организации. А мы тебе говорили. Вспомни, как с тобой ругалась Мисурат. Я знаю, ты скажешь, что это не партийное собрание и нечего, мол, обсуждать сейчас секретаря партийной организации. Но я думаю, Муради, нужно, необходимо решать вопрос и о секретаре партийной организации. Мы, коммунисты колхоза, требуем этого.

И еще один вопрос. Сейчас везде во главе колхозов стоят специалисты сельского хозяйства, грамотные люди. Почему же мы должны быть исключением? Кто такой Дзибо? Лесник! А ведь у нас есть опытный, грамотный человек. Я имею в виду Айсаду. Вы же сами в трудные минуты за советом обращаетесь к ней, хотя она всего лишь звеньевая.

— Правильно! — дружно поддержал Асланбека зал.

А он, расстегнув ворот своего кителя, с гор-

до поднятой головой пошел на свое место. Я смотрел ему вслед, и его слова продолжали звучать в моих ушах. С этого вечера он мне стал еще ближе.

— Выходи, тебя просят,— обратился Муради к Тасолтану.

Тот нехотя встал и пошел к трибуне. По всему было видно, что он не собирался выступать.

— Критика в мой адрес была правильной,— медленно, будто слова застревали у него в горле, начал Тасолтан.— Дела наши за последнее время резко ухудшились. Я, конечно, не снимаю с себя ответственности...

— Ты расскажи, что стало с нашими овцами? Ты же целыми месяцами пропадаешь у пастухов? — перебил его из зала чей-то голос.

— Спросите у председателя колхоза.

Зал гудел. Кричали со всех сторон.

Тасолтан стоял растерянный и поглядывал на Муради, видимо ища у него поддержки. Но Муради резким движением руки дал ему понять, чтобы он кончал и садился на место. Обиженно скривив губы, Тасолтан не спеша сошел с трибуны.

Дзибо сидел вжавшись в стул и, как будто собираясь кого-то боднуть, выставил вперед свою голую макушку. Но вот он встал и повернулся к Муради:

— Не забывают, Муради, меня утвердило бюро обкома. А вы один — это не бюро. И тут, на этом так называемом собрании, не имеете права снимать меня с работы.

— Имеем право и снимем! — громко сказал Дебола и, переступив через мои ноги, ринулся вперед. Мне еле удалось его удержать.

Муради хмурился и стучал карандашом по графину. Народ не успокаивался. Тогда Муради встал:

— Я один не считаю себя бюро обкома. Но, как видно, нам с вами, Дзибо, не избежать встречи на бюро. И еще хочу предупредить вас: не на таких напали, никто ваших угроз не испугался. Мы тоже на этой земле выросли, этим воз-

духом дышим. Садитесь, пожалуйста. Дайте людям высказаться.

— Говорите сколько хотите. Я свое слово скажу в другом месте.— И, сунув под мышку свои бумаги, Дзибо спустился в зал и направился к дверям.

— Люди хорошие, давайте поговорим, послушаем друг друга! — сказал Муради и уже не хмуро, а приветливо оглядел собрание.

11. ЭТО ГОВОРIT МАМА

Народ выходил из душного клуба на свежий воздух. Небо по-прежнему было хмурое. Где-то над лесом шел дождь. Редкие капли начали падать и здесь, над нами. Несмотря на надвигающийся дождь, люди группами останавливались и оживленно разговаривали. Те, кто не смог выступить на собрании, высказывались здесь. Было такое впечатление, будто собрание, проходящее в клубе, разбилось на несколько собраний. Со всех сторон я слышал разговоры о моей матери. Одни были за нее, другие нет-нет да и отпускали какую-нибудь колкость.

Стоя рядом с Дебола, я глазами искал маму. Наверно, Дебола понял меня и, расталкивая людей, стал продвигаться вперед.

— Ахсар, подожди-ка, ты мне нужен на минутку, — поймала меня за рукав Нина.

Я повернулся к ней.

— Что, Нина? Слушаю тебя.

— Мне нужно с тобой поговорить.

— Меня Дебола ждет... Если не секрет, то и он...

— Нет, нет, что ты... Пусть и он послушает, я буду только рада. Хотя он меня и избегает, я все равно отношусь к нему как к брату. Я хочу спросить тебя: что мне делать? Как поступить?

— Хотя ты спрашиваешь Ахсара, но я тебе скажу, — сказал Дебола и покровительственно, по-отечески опустил свою большую ладонь на плечо Нины. — Иди на ферму и продолжай работать. Сейчас не время обижаться, моя милая

сестричка. На твоём месте я бы взял себе коров, которые первый раз отелились, подкормил бы их как следует и утер бы нос тем, кто над тобой посмеивается. Поняла?

Нина молчала, опустив голову, и теребила концы своей шелковой косынки.

Дебола опять опередил меня:

— Ну, чего ты молчишь? Не понравились тебе мои слова? Ничего не поделаешь, сестренка. А что же, по-твоему, когда наш председатель откормленных коров Бутиан передал Госаме, старухе это приятно было?

Я наступил на ногу Дебола. Он со злостью посмотрел на меня и огрызнулся:

— Ладно. Если она такая нежная, то зачем ей идти на ферму...

— Я, как к родным, к вам обратилась, а вы...— еле сдерживая слезы, проговорила Нина и быстро отошла в сторону.

— Что ты наделал? На рану ей соли насыпал. Не видишь разве, во что она превратилась? Кости да кожа. Позови ее.

— Делать мне больше нечего... Беги, держи ее за хвост. Сама вернется. Пусть знает, что теперь ей не доить чужих откормленных коров.

— А нельзя было то же самое сказать спокойнo? Чего ты на нее накинулся?

— Я церемониться не умею. Всегда говорю прямо, что думаю. А ты за нее не бойся, от слов еще никто не умирал.—И Дебола посмотрел вслед Нине.—Им и слова уже не скажи. Обиды, упреки...—И все-таки, не выдержав, он побежал за Ниной. Но сразу же вернулся.—Озорница... Ее и след простыл. Обиделась... Чего уж такого обидного я ей сказал?

Я промолчал. Недалеко от нас девушки с фермы окружили Муради, и я подошел к ним. Тяжело ступая, Дебола шел за мной.

— Послушай-ка, завтра нужно повидаться с Ниной.—И, как бы невзначай, Дебола толкнул меня локтем в бок.—А ты чего надулся?

— Ты ведь жалеешь ее больше других, а сам так сурово говорил с ней!

Тут к нам подошла Мисурат:

— Куда вы делись? Я вас знаете сколько ищу!

— Не пироги ли у тебя остывают? Откровенно говоря, после этой духоты не плохо было бы выпить холодного пивка и закусить горячими пирогами,— перешел Дебола на шутливый тон.— Приглашаешь?

— Обойдетесь и без пирогов. Послушай-ка, я с Айсаду иду в правление. Муради нас вызывает. Перед тем как ехать в поле, перемени белье. Чистое возьмешь в нижнем ящике комода, а не то подожди меня. Я живо вернусь. Ой, пропах ты весь бензином...

— Это не беда. Тебя бы мне хоть еще разок увидеть.

— Постеснялся бы парня,— смущенно проговорила Мисурат и прикрыла рукой глаза.

— Сегодня ночью я никуда не уйду, если даже силой будешь меня гнать. Видишь, Ахсар, в год раз приезжаю домой, и то палками гонит. Поэтому я тебе и говорю, чтобы ты не торопился обзаводиться семьей. Ярмо, муки рабства... Как тебе еще растолковать? — Скрестив руки на груди, Дебола с серьезным видом обратился к Мисурат:— Слушай, прошу тебя, не задерживайся. Пойми ты наконец: если бы на собраниях вырастала кукуруза или рождались бы молочные озера, нам бы некуда было девать богатства.

— Что-то ты подозрительно осмелел, уж не заходили ли вы куда-нибудь, случаем? — Мисурат поближе подошла к Дебола и подняла голову к его лицу.

— Как же, когда ты в клубе рядом с Айсаду сидела, мы как раз в гости забрели и выпили там.— И Дебола дыхнул на Мисурат.

— Ладно, в красноречии тебя и молла не осилит. Идите, идите, я скоро,— сказала Мисурат и, расталкивая людей, стала пробираться к моей матери.

Муради, Мисурат, мама и еще несколько человек направились в сторону правления.

Вдруг какой-то парень запел сильным голосом:

Звучит свирель, пасется стадо.
Скотина у Дзибо что надо!
Ее кормить решил давно
С колхозным стадом заодно.

Забыл Дзибо давным-давно,
Что пастухи не батраки.
Ему-то это все равно.
Свирель играет у реки...

— Вот черти... Чего только не придумают. Ты слышишь, Ахсар?

Дебола потянул меня за руку и от души расхохотался.

— Интересно, кто это?

— Кто бы ни был, а песню эту разнесут по всем селам Осетии,— все еще продолжая смеяться, ответил Дебола.

Смеялись и женщины, что стояли на ступеньках клуба. А парню уже подпевало множество голосов.

Мы с Дебола направились домой. Шел он мрачный, заложив руки за спину, углубившись в свои думы.

С Дебола это часто случается: то он без удержу шутит, смеется, а то вдруг нахмурит брови, уйдет в свои мысли и не видит и не слышит ничего вокруг. Человек, конечно, не певчая птица. Иногда можно и задуматься и даже поскучать. Только Сабаз не любит, когда его дядя бывает в таком состоянии. Да и я, признаться, люблю, когда Дебола весел.

— Трудно будет Айсаду...— заговорил он, когда мы дошли до его улицы.— Эти хитрые лисы довели колхоз черт знает до чего.— Дебола говорил так же размеренно, как и шагал.— Ну ладно, пошли пока к нам, они еще не скоро придут. Сами там найдем чем подкрепиться.

— Спасибо. Я еще...

— О-о, если такое дело, я тебя не удерживаю.— И он встряхнул меня, как пустой мешок.

— Нет, нет, я бы разве скрыл от тебя?

— Иди, иди... Передай привет от меня.

«Трудно будет Айсаду». Эти слова Дебола не выходили у меня из головы, когда я пробирался по нашей темной улице. Мне хотелось повидать Залину, поговорить с ней. Где она сейчас? Дома или на ферме? Там была такая сумятица, что я и не видел, куда она девалась. И еще Нина меня задержала, а то бы я, конечно, нашел ее. Залина простит меня. Она поймет.

В клубе она мне делала какие-то знаки, что-то показывала, но я ничего не понял. Я так волновался, что вообще плохо соображал и ничего и никого, кроме мамы, не видел.

А какая мама сегодня была красивая! Как шли ей ее седые волосы: казалось, что кто-то побрызгал ей голову серебряной росой. Когда она поднялась на трибуну, весь зал дружно вздохнул. Это было всеобщее признание. Я смотрел на маму, и мне казалось, что глаза ее спрашивают: «А не поздно выбрали вы меня? Справлюсь? Смогу?» — «Сможешь, справишься!» — отвечало ей мое сердце. «Мы этого давно хотели», — говорили ей улыбающиеся лица старого Асабе и добряка Дебола, черные глаза Нины и ямочки на щеках Залины...

Залина... Мама! Как долго я не смел заговорить с тобой о ней! Но ты однажды сказала мне, что я уже мужчина. Когда это было? В ту ночь, когда мы с Залиной сидели на берегу Таргайдона? Нет, раньше. Это было, когда я первый раз увидел ее в клетчатом платье.

Вот что значит материнское сердце! Я тебе ни слова не сказал, а ты все поняла. Ты посмотрела мне прямо в глаза, запустила свои мягкие пальцы в мои волосы и тихо-тихо проговорила:

«Пусть ты увидишь в жизни то, что не суждено было увидеть твоим родителям, сын мой».

Я чувствовал, как дрожали твои пальцы. С глазами, полными слез, ты отвернулась от меня, и я еле расслышал твои слова:

«Ты уже мужчина».

Мужчина... Какой же я мужчина? Многое

еще нужно мне сделать, чтобы стать мужчиной. Когда мне говорят, что мой отец был настоящим мужчиной, я чувствую себя счастливым. Но когда я спрашиваю тебя, мама, в чем, в чем было его мужество, ты либо отмалчиваешься, либо говоришь, что у него было чистое сердце, что он любил свой народ, что он всегда боролся против несправедливости. Мне этого мало, я больше хочу о нем знать! Ведь я его никогда не видел. Я знаю его только по твоим скупым рассказам и по словам других людей, знавших его.

Мысли теснятся в голове. Тяжелые мысли. Они затрудняют мой шаг, и кажется, будто к ногам привязали гири. Ночная мгла окутала меня, сдавила, тяжелым грузом легла на мои плечи.

«Айсаду трудно будет». Прав Дебола. А впрочем, когда тебе было легко? Главное, что люди верят тебе.

Как бы я хотел облегчить твою жизнь. Я бы работал и за себя и за тебя, мама. А скоро, может быть, совсем скоро Залина... Она тоже будет тебе помогать. Вы же так любите друг друга. Ты сама хвалила ее, ты говоришь, что она родилась на наше счастье...

Мама вернулась домой усталая и озабоченная. На ходу бросила косынку на стул, спросила, ел я чего-нибудь или нет, и прошла к себе в комнату. Она долго не появлялась, и я забеспокоился. Когда я вошел к ней, она лежала на кровати, уткнувшись в подушку, и плечи ее содрогались от рыданий.

— Мама! Что с тобой, мама? Кто тебя обидел?

Я просунул руку между мокрой подушкой и ее горячей щекой и прижал ее голову к своей груди. Я никогда не видел, чтобы она так плакала. Она обвила мою шею своими дрожащими руками и сказала срывающимся голосом:

— Ничего... Не беспокойся. Никто меня не обидел. Теперь меня не так легко обидеть. Я плачу о прошлом... Больше не буду. Лишь бы ты

у меня был здоров... Не бойся за меня, Ахсар. Не так просто обидеть женщину, у которой такой сын, как ты.

Когда я была молодой и сил у меня было много, тогда... тогда меня преследовали три страшных слова: жена врага народа... Эти слова висели над моей головой, как черная туча. Наплевать на то, что ты окончила институт, что ты можешь принести народу пользу. Будь довольна, что тебе доверили звено, дали возможность кормить сына. Не лезь туда, куда тебя не просят. Забудь, что ты пять лет училась, ты — всего-навсего звеньевая. Делай так, как тебе говорят, хотя ты знаешь, что нужно делать иначе.

До войны был у нас секретарем райкома Болат Болатов. Помню, однажды он приехал к нам, вызвал меня к тогдашнему председателю колхоза Батразу Дзахову. Поговорил со мной, расспросил о делах, о тебе, ты еще маленький был, и говорит Батразу:

«Назначь Айсаду бригадиром...»

Батразу понравилось это предложение.

Так я стала бригадиром. Конечно, и я обрадовалась. Наконёц-то, думаю, поверили мне. Но радость моя была недолгой. Прошло несколько месяцев, и ко мне прямо в поле приходит Батраз. Отозвал меня, долго мялся, покачал своей седой головой и наконец сообщил под большим секретом:

«Знаешь, Айсаду, Болатова нет. На его месте другой. Говорит, что бригадирами должны работать... Ну, словом, я пытался объяснить ему, а он и слушать не захотел. Есть, говорит, указание сверху. Пойди разберись, кто дает такие указания...»

Так я опять стала звеньевой.

Прости меня, Ахсар. Я не хотела тебя расстраивать. Не такой у нас сегодня вечер. Прости... Ты же знаешь, я не боюсь работы. Давай лучше поговорим о моих виноградных черенках. Я думаю довести свои опыты до конца. У меня почти все уже было готово. Пусть на южных склонах рядом с нашими помидорами наливаются

соком виноград, выведенный и выращенный у нас — в Предгорье. Муради мне сам об этом напомнил, просил, чтобы я довела опыты до конца.

— Ты сделаешь. Ты все можешь, мама... Ты же слышала, как народ хвалил тебя, как все дружно за тебя голосовали? Любят они тебя... — успокаивал я мать.

Но она выглядела такой беспомощной.

— Знаю, сынок... Слышала... Потому и расстроилась...

— А где сейчас Муради? — спросил я, чтобы отвлечь маму от ее мыслей.

— Уехал в город. Завтра к обеду вернется.

Мама вышла в другую комнату, вытащила из буфета пироги с капустой, поставила на стол графин с пивом и, оглянувшись на меня, улыбнулась, хотя глаза ее еще не просохли от слез:

— Давай поужинаем, сынок.

Под лампой блестели ее седые волосы. А ведь я даже не заметил, когда ее красивые черные волосы стали белыми. Правда, седина ей очень шла. Из-под широких бровей на меня смотрели ее встревоженные, усталые глаза.

Я вглядываюсь в лицо матери, и мне кажется, что за этот день она постарела и морщины на лбу стали глубже и руки дрожат.

— Скажи что-нибудь, — говорит мама, показывая на стакан пива, который стоит передо мной.

— Нет, мама, скажи ты. Жаль, не знал, что у нас есть пиво, а то бы Дебола позвал к нам.

— Да, надо было. Но пиво-то принесли, когда тебя не было.

— Ну хорошо, пусть твоя новая должность принесет тебе счастье.

— Давай лучше выпьем за что-нибудь другое.

— Я же тебе сказал, что не умею произносить тосты.

— Пора научиться. Надо знать обычаи. Ведь ты теперь хозяин дома.

— Ну, будь здорова, мама. Я пью за тебя...

— Опять за меня... А я выпью за здоровье своего кудрявого мальчика Ахсара.

И, глядя на мои загрубевшие, потрескавшиеся руки, мама не торопясь подняла свой стакан.

Я встал и обнял ее.

— Спасибо, мама. Спасибо за то, что ты такая хорошая.

— Хорошая, говоришь? А если даже не хорошая, никто тебе своей не уступит. Лишь бы ты у меня был здоров...— Мама придвинула ко мне блюдо с пирогами. — Ты же целый день ничего не ел.

— Дебола говорит, что голодный человек все равно что трактор без бензина. Пыхнет, и конец.

Мама старалась казаться веселой. Но у нее это плохо получалось. Я ловил ее задумчивый взгляд и понимал, что мысли ее далеко отсюда, что она порой забывает даже о моем присутствии.

— Что сказал Муради, что они собираются делать с Дзибо и другими? — спросил я.

— Завтра будет известно. Наверно, его пошлют на какую-нибудь ферму. Мы так думаем, если он согласится. А не то и в поле работы хватит. Кое-кто говорил, что он бы не отказался от должности лесничего, но Муради на это не согласился.

— Дзибо знает, где выгоднее. Лошадь, сено, стройматериал, дрова. Наконец, пасека. Одним словом, рыбка просит кинуть ее в речку... А как с Хамби?

— Ничего хорошего. Видно, его дело передадут в суд. На партийном собрании будем разбирать дела и Дзибо и Хамби.

Посмотрим, как решит собрание с секретарем парторганизации. Тасолтан сам по себе неплохой человек, а в секретари не годится. А как ты посмотришь на то, чтобы твоего Дебола перевести на другое место?

— Куда?

— Вместо Тасолтана. Пока ему ничего не говори.

— А Мисурат ему не скажет?

— Мисурат еще не знает. Ее мы думаем в сельсовет...

— Наша работа, конечно, пострадает, но... Надо честно сказать, что лучше Дебола секретаря не сыщешь. Человек он честный, народ его любит, и для него нужды людские важнее собственных. Но с ним ведь еще не говорили?

— Поговорят. Он работает с тобой, поэтому я тебя и спрашиваю. Муради так расхваливал его. Откуда он его так хорошо знает?

— Да они вроде никогда прежде не встречались. Вот только позавчера вместе пахали...

— Как, то есть, вместе пахали?

— Муради вел трактор, а Дебола сидел рядом с ним.

— Этого Муради не говорил. Он и о Сабазе все знает. Трудно, говорит, будет парню одному, но Ахсар ему поможет. Только парня без учебы нельзя оставлять.

— Как обрадуется Сабаз, когда узнает, что он будет самостоятельно работать! А трактор он знает не хуже других. Конечно, он еще мал. Но ничего, мы ему поможем. Парень он смелый.

Я наполнил пивом наши стаканы.

— Больше не буду, пей сам,— сказала мама. — Что-то голова побаливает. Может, от пива и разболелась? — И она потерла пальцами лоб. — А почему ты не спрашиваешь, кто будет на животноводческой ферме? — Мать знала, что из-за Залины мне не может быть безразлично, кто будет руководить молочнотоварной фермой, поэтому и спросила меня. — Тасолтан. Подходит?

— Конечно, — ответил я. — А как с курами Мисурат? Неужели она доверит кому-нибудь своих кур? Это единственное, чем славится наш колхоз.

— Ничего, подружки не уступают ей. Они не подведут. Правда, Мисурат не легко будет в сельсовете. Но мы поможем. А на будущий год девушки закончат институт, и тогда дела наши пойдут лучше.

Я понимал, конечно, что мама знает, чем и как живут люди в нашем колхозе, и все-таки мне было необыкновенно приятно сознавать, что этот интерес ее к жизни села и есть ее кровное дело. Раньше она со мной никогда не заговаривала на эти темы. К ней приходили люди, спрашивали ее о чем-то, делились с ней своими переживаниями.

Прибегал и старый Асабе после того, как с ним у родника встретился Муради. Он взволнованно спросил ее:

— Ради всего святого, скажи, Айсаду: ты хорошо знаешь бывший наш участок, на котором мы кукурузу выращивали? Не испортили его этими никому не нужными травами? Что ты скажешь? Ты все книги по этим делам читала.

— Участок очень хороший. Не мне тебя учить, ты же сам знаешь, что земля то же, что и корова, — когда ее доит хорошая доярка, она все молоко отдает, а другую близко не подпустит...

— Правильно ты говоришь. Дай бог тебе здоровья. Значит, не испортили наш участок... — сказал Асабе и ушел довольный.

После тяжелого дня село отдыхало. Ни шума не доносилось с улицы. Только слышно было однообразное тяжелое дыхание Таргайдона. Казалось, что река тоже устала и поэтому так тяжело дышит. Ветер трепал занавески на окнах. Крупные капли дождя стучали по крыше.

Мама молчала. И я, неожиданно для самого себя, попросил ее:

— Мама, расскажи мне что-нибудь об отце. Сегодня мне почему-то особенно хочется, чтобы ты рассказала о нем. — Я ближе подсел к ней. — Знаешь, в трудную минуту я всегда вспоминаю его. Не знаю почему.

Мама долго молчала. Она смотрела куда-то поверх моей головы и перекатывала пальцами по столу хлебный шарик.

— Много тяжелых дней я пережила, — наконец заговорила она. — И в такие тяжелые дни

я всегда задавала себе вопрос: как бы поступил сейчас твой отец, какое бы принял решение? И сразу меня покидал страх. Откуда-то появлялись силы бороться с трудностями, бороться с обидой. А потом подрос ты. Три года тебе было, когда ты впервые спросил меня: «Почему у меня нет папы?»

Я не знала, что ответить. Еле сдержала слезы. А когда ты уснул, я вышла на веранду и вволю наревелась...

— Мама, не надо. Я же не об этом.

— Ты уже не ребенок, поймешь. Я была тогда молодая, одинокая. И больше всего меня убивало, что многие мужчины считали, раз я жена врага народа, я должна продавать свою совесть.

Помню, еще в войну у нас председателем райисполкома был один тип. Несколько раз он вызывал меня в район, приезжал и сюда. Обещал меня сделать чуть ли не своим заместителем. Хлебные карточки мне прислал.

На одном собрании я бросила ему в лицо его хлебные карточки. Все выложила ему. Его, правда, вскоре сняли, но он меня еще долго мучил, угрожал...

— А где он сейчас? — вырвалось у меня.

— Попал в тюрьму. Посадили его за какие-то махинации. Да, да, не удивляйся... Председателя райисполкома... Были и такие. На пшеничном поле, случается, и куколь прорастает...

Но были и другие. Помню, однажды в вечерних сумерках возвращалась я с поля. Я очень спешила домой. Ведь ты один оставался. Вижу, по большаку скачет кто-то верхом. Всадник быстро свернул в мою сторону. Он подъехал ко мне. Смотрю, человек незнакомый, никогда до этого не видела его. Признаться, я немного испугалась. Одна в огромном поле, к тому же начало темнеть.

«Не пугайся, Айсаду,— обратился ко мне по имени молодой человек и спешил с коня.— Хорошо, что ты одна. Слышать о тебе я слышал,

а вижу впервые. Я недавно в вашем районе. Мужа твоего я хорошо знал. На комсомольских активах встречались. Но не о том сейчас речь. Ты мне очень нужна. Я рад, что нашел тебя. Но об этом никто не должен знать. Я верю тебе, верю, как сестре, поэтому и приехал сюда, прямо в поле.— Он достал из нагрудного кармана пачку аккуратно сложенных бумаг.— Вот видишь? Тут про тебя пишут. Тебе это читать незачем.— Его густые черные брови сошлись на переносице, и он со злостью разорвал в клочья всю пачку.— Ты должна понимать, что тебя окружают не только твои доброжелатели. Я не могу назвать тебе фамилии тех, кто писал. Да и не нужны они тебе. Я рад, что доносы попали именно ко мне. Будь осторожна. Прощай...»

Больше он ничего не сказал. Рывком взлетел на своего коня и вихрем помчался в сторону большой дороги.

Я стояла как вкопанная; точно во сне, появился и исчез этот молодой человек. Единственное, что от него осталось, — это клочки тетрадных листов. И те беспорядочно неслись в воздухе.

Мама тяжело вздохнула. Видно, ей трудно было дышать, и она расстегнула верхние пуговицы на своей кофточке.

— Долго я потом искала этого человека. Просто хотела сказать ему спасибо. Но так и не нашла его.

Да, так вот... Мне всегда трудно говорить о твоём отце. Мы были знакомы с ним до женитьбы около года. Жили мы в городе, оба учились. Потом его послали в район, он стал секретарем райкома комсомола. Вскоре мы поженились.

Когда мы, бывало, шли рядом, нас принимали за брата и сестру. Наверно, правда мы были похожи друг на друга. Однажды нас пригласили на свадьбу. Там была одна девушка, она попросила меня познакомить ее с Данелом, уж очень он ей понравился. А потом, бедная, поняла, что это мой муж, и не знала, куда деваться от сму-

щения. Данел любил вспоминать этот потешный случай.

Мы прожили вместе шесть месяцев. Всего шесть месяцев!

Он очень много работал. И я даже сердилась на него, потому что он засиживался над своими бумагами и книгами до поздней ночи. И вот, это была последняя ночь, я лежала в постели, а он сидел за столом.

«Хватит, ложись, пора спать!» — ворчала я.

«Сейчас, сейчас», — говорил он и что-то быстро записывал в свою тетрадь.

А потом он убрал книги и бумаги в шкаф.

Долго мы не спали в ту ночь. Вспоминала я почему-то, как он однажды пришел ко мне на свидание, а соседские мальчишки натравили на него собаку. Он хохотал и что-то говорил сквозь смех, но я ничего не поняла. В это время я услышала какой-то шорох снаружи и чьи-то шаги. Я присела на кровати. Раздался стук в дверь. Оборвался смех твоего отца. Он встал, и из коридора донесся его голос:

«Кто там?»

«Открой!» — ответил незнакомый голос.

Потом... Потом те двое, что пришли, увели его. Я ничего не понимала, я думала, что он скоро вернется. Прислушивалась к каждому шороху, выскакивала на улицу. Но твой отец не возвращался. Тогда я оделась и побежала к нему на работу. В райкоме не было ни души. Неприветливо, опечатанной дверью встретил меня кабинет твоего отца. Не помню, сколько я простояла перед этой дверью. «Куда они его повели? Куда они его повели?» — спрашивала я неизвестно кого и, беспомощно оглядываясь по сторонам, бросилась в райком партии. Там я разбудила ночного сторожа. Никого он не видел. В райком никто не приходил, никого не приводили... На улицах стали появляться редкие прохожие. Я и к ним кидалась. Никто ничего не знал.

Побежала к одним знакомым, к другим, к третьим. Отчужденно, растерянно встречали ме-

ня люди. Его прежние друзья... И говорили они со мной не как прежде...

«Он ни в чем не виноват! Не такой он человек! Может, вы его с кем-нибудь путаете?» — доказывала я в районе и в городе. Писала в Москву.

«Рассмотрим. Разберемся» — такой ответ я получала отовсюду.

Я ждала, я верила, что разберутся.

Ты родился. Шли месяцы, годы... Началась война. Кончилась война. Я ждала. Вместе мы с тобой ждали.

Мать украдкой вытерла слезы концом косынки, встала и посмотрела на стенные часы.

— Вот и все, сынок... Но человек должен жить, и нельзя строить жизнь, без конца оглядываясь назад. Погубленные не вернутся, но вернулась правда. И живой человек всегда будет стремиться к лучшему. Видишь, даже меня впрягли на старости лет. Ну ладно, утро, говорят, вечера мудренее, поздно уже.

И хотя голос у мамы дрожал и руки были безвольно опущены, но вот это — «меня впрягли» — прозвучало у нее как-то совсем необычно, я не побоюсь сказать, что это прозвучало гордо.

Мама пошла стелить постели, а я вышел на веранду.

Шел сильный дождь. Шум Таргайдона сливался с шумом ливня.

12. СПОКОЙНОЙ НОЧИ

Однажды вечером Дебола сказал мне:

— Слушай, Ахсар, надоели мне твои стоны. Ты даже по нсчам спать не даешь — бормочешь, бредишь, подпрыгиваешь в постели. Иди-ка к Мисурат на ферму и только шепни там Верочке, она тебе мигом доставит за уши Залину. А у нас тут все в полном порядке будет. Трактор твой поведу я сам, а за мой сядет Сабаз. Парень от радости лезгинку спляшет.

— Ты думаешь, я перестану после этого подпрыгивать в постели? — с улыбкой спросил я.

— Это уж я не знаю. Пока что отправляйся. Я махнул рукой.

— Не буду я унижаться...

— Иди, иди. — И Дебола подмигнул мне.

Откровенно говоря, я и правда последние дни хожу сам не свой. Бывает такое состояние, что хоть бросай трактор среди поля и беги на ферму. Но неудобно перед товарищами. Они, думаю, будут пахать в эту лунную ночь, а я... Советь надо иметь. Вот покончим с озимыми, тогда никто не помешает мне хоть всю ночь напролет бродить вокруг фермы.

— Слушай, Ахсар, скажи моей, пусть хоть разок заедет сюда. Она взяла мои вещи постирать, пусть пришлет, если сама не явится.

— Сказал бы раньше, я бы давно сбегал.

Дебола опустил на мое плечо свою огромную ручищу и дружески подтолкнул меня:

— А то бы я не нашел кого послать? Для такого дела Сабаз не хуже скаковой лошади. Иди передай от нас горячие приветы. А если будет капризничать, скажи, что мы ее похитим на тракторе.

— Ты о Мисурат говоришь?

— Иди, иди, а не то я тебе покажу Мисурат...

Я пошел, передал Мисурат просьбу Дебола и попросил ее отпустить со мной Верочку. Радости Верочки не было границ. Всю дорогу до животноводческой фермы она тараторила не переставая. Она так расхваливала Залину, будто я ее никогда не видел. Даже показала мне место на речке, где они купаются.

Верочка, в тряпичных тапочках, без чулок, бегала вокруг меня и собирала цветы. А потом, когда мы подходили уже к ферме, она потрясла передо мной своим букетом и сказала:

— Передам ей от тебя. Где ты будешь ее ждать?

— У реки, под ивой.

Ферма была недалеко от речки. Солнце зашло, но было еще достаточно светло, и я видел женщин, хлопотавших во дворе. На какое-то время Верочка исчезла из поля моего зрения. Не видно было и Залины. Но вот через несколько минут они обе появились. У Залины в руках был букет. Верочка что-то говорила, а потом вырвала у нее из рук букет и куда-то исчезла.

Я склонился над водой, вымыл с песком лицо и руки, и тут услышал шум подходившей машины. Оставляя за собой клубы пыли, машина моей матери завернула во двор фермы. Со всех сторон слетались к ней женщины. Все они зашли в коровник. А я стоял на берегу как на иголках и ждал, когда мама выйдет, сядет в машину и уедет. Но откуда мама могла знать, что ее сын бросил трактор, а сам слоняется по берегу в ожидании любимой.

Жду и злюсь на маму за то, что она так долго не уезжает, и на себя за свою нерешительность.

С запада, из-за горных вершин, словно прищуренный глаз, смотрит на ферму полоска розового заката. Луна еще не взошла, но, выслав вперед свои серебряные лучи, заиграла ими на снежных вершинах. Кончай же, мама, свои разговоры. Приезжай лучше завтра. Ферма никуда не денется. Девушки и днем здесь. Ведь скоро луна взойдет... И Верочка куда-то исчезла. Наверно, тоже извелась, как я. Ох, наконец все вышли во двор. Сумерки настолько сгустились, что я не мог отличить одну девушку от другой. Все мне казались похожими на Залину. Послышался шум мотора, несколько человек сели в машину, и опять над дорогой повисли клубы пыли.

Не прошло и минуты, как Верочка очутилась около меня.

— Уехала... Айсаду забрала ее с собой. Дуду заболела! — выпалила она.

— А что, серьезно заболела?

— Откуда я знаю? Много ли нужно старому человеку? — С этими словами Верочка скинула тапочки и зашла в воду, чуть приподняв юбку. — Ой, как хорошо, прохладно...

Мы двинулись по берегу. Верочка уговорила меня ночевать дома, а завтра рано утром подкараулить Залину. Она даже показала мне, где именно я должен быть утром.

— Ну, чего нос повесил? Может, Айсаду приведет ее прямо к вам домой. А вдруг бы ты правда пришел домой, а там Залина? Что бы с тобой было, а? — щебетала Верочка. — А может, повести тебя прямо к Залине? Хотя неудобно, раз Дуду заболела. Ну, скажи же что-нибудь, чего ты молчишь?

— Спасибо тебе, Верочка. Беги домой, а завтра я буду ее ждать там, где ты сказала.

Сквозь щели в ставнях дома Залины проникал свет. Я прошелся под окнами и вернулся на улицу. Где-то скрипнула калитка. Я прижался к тутовнику. Из соседнего дома вышла женщина с ведром. Видно, заметив меня, она чуть постояла у канавы, а потом набрала ведро воды и вернулась в дом. Ветерок шевелил листья на дереве. Тень от тутовника легла поперек пыльной дороги. Вдруг из дома Дуду послышался шум ведер.

«Идет Залина!» — подумал я.

Скрипнула калитка, и на улицу вышла Верочка.

— А ты, красавица, не боишься, что в такой поздний час тебя могут похитить прямо с ведром? — не выдержал я и пошел ей навстречу.

— Ахсар?.. Ах, хитрая лиса, ты же не собирався идти сюда... Что ты, как абрек, заглядываешь в чужие окна?

— Что с Дуду?

— Чего ты меня спрашиваешь? Раз не побоялся прийти сюда, не бойся и в дом зайти. Ну,

не задерживай меня, мне некогда, — сказала Верочка и побежала к канаве.

Она набрала воды и подошла ко мне:

— На, отсюда носи ты. — И, отдав мне ведро с водой, Верочка побежала.

— Верочка, подожди... Возьми свое ведро... В дом я не зайду.

Я пытался схватить ее за рукав, но она вырвалась, и уже со двора донесся ее голос:

— Не пугайтесь, к вам поздний гость. Я его на улице встретила. Залина, гость просил передать, чтобы ты завтра явилась на собрание. Он за этим и пришел. Если не веришь, спроси его сама. Заходи, гость, не стесняйся...

Я плелся с ведром по двору и чувствовал себя на редкость неловко.

Верочка легко взбежала по лестнице, и тут же раздался голос Дуду:

— Руку мне оторвешь, сумасшедшая!.. Подожди, куда ты меня тянешь?

На пороге появились Верочка и Дуду.

— Ну-ка, какого ты нам гостя привела? Да это же Ахсар! Заходи, дорогой. Ведро поставь в углу.

— Дай сюда, разлил всю воду. — Верочка выхватила у меня ведро. — Какие вы все неловкие, мужчины. Посмотрите, как он наследил.

Я посмотрел себе под ноги. На полу поблескивали лужицы.

— Как ты себя чувствуешь, Дуду? Говорили, что ты заболела.

— Внучка моя совсем отбилась от дома, вот я и попросила Айсаду привезти ее. Не скрою от тебя, сказала ей, что немного прихворнула. А что делать? Старому человеку не легко одному, Ахсар. Клянусь своими покойниками, в бессонные ночи ходишь, ходишь по дому, а словом перекинуться не с кем, так и хочется схватить постель под мышку и бежать на ферму, к Залине.

— Хорошо, что ты здорова... А то сказали,

что Дуду плохо себя чувствует, вот я больше из-за этого и пришел.

— Спасибо тебе, дорогой. Расту на радость матери. Я много хорошего видела от Айсаду. Одно ее слово и то бодрость в меня вливает. Много она пережила в жизни, а теперь надо поддержать ее. Помогите ей. Я вот и внучке своей говорила. Видишь, какая у тебя мать, я только сказала, что соскучилась, что беспокоюсь за Залину, и она мне ее на своей машине прямо домой привезла. А много ли сердцу надо? Оно всегда открыто для ласки, но обидеть его тоже легко... Мы с Айсаду долго вместе работали. Я знаю, какая она труженица. Народ любит ее, ценит каждое ее слово. И знания у нее большие, ведь она несколько школ закончила. Я вот Залине своей говорю: учись, чтобы из тебя толк вышел, а доить коров я тебя и сама научу.

Я с удовольствием слушал, что говорила Дуду о моей матери, я радовался за старуху, что она здорова, и все время незаметно следил за открытой дверью в надежде увидеть Залину. Оставив нас с Дуду в коридоре, Верочка прошла в комнату к Залине, и я невольно подслушивал их разговор.

— Выйди к нему, неудобно...

— А ты же сказала, что он не придет.

— Сказал — не придет, а пришел, значит, сердце не выдержало.

— Верочка, зачем ты шиплешься?

— Хватит тебе прихорашиваться, и так хороша. И так любит!

— Тише, услышит...

— Ой-ой, какие у тебя красные щеки!

— Что мне делать? Они прямо пылают...

— Полчаса назад они были даже бледные.

— Чего ты пристала?

— А ты знаешь что сделай? Приложи к лицу мокрую тряпку.

— Ш-ш-ш, не кричи! Дверь открыта...

Дуду почувствовала, что я рассеянно слушаю ее, и крикнула девушкам:

— Куда вы там подевались? Залина, Ахсар же тебя ждет!

Верочка выглянула в дверь.

— Вы еще здесь стоите? Я бы на месте Ахсара давно обиделась и убежала бы домой, — сказала Верочка и вышла из комнаты вместе с Залиной.

— Залина, ты даже приделалась? Разве сегодня у вас собрание? — ласково спросила Дуду и посмотрела на меня. Лицо ее сияло гордостью: «Это, мол, внучка моя, Залина. Моя единственная радость в жизни».

И в самом деле, Залина в своем клетчатом платье, которое мне нравилось больше всех ее нарядов, была очень хороша. Стройная, пышно-волосая.

— Здравствуй. — Залина протянула руку, улыбаясь мне одними глазами.

— Ахсар, неужели вам дня не хватает, что вы свои собрания по ночам устраиваете? — опять спросила Дуду.

— Собрание будет завтра, — быстро заговорила Верочка, — а сейчас мы с Залиной по поручению Мисурат идем к ним на ферму. Завтра рано надо возвращаться. Отпустишь нас, Дуду? Ахсар, а ты пока посиди с Дуду, — сказала Верочка и подмигнула мне.

— Мне тоже надо идти...

— Подождал бы. Дуду одной скучно, — с серьезным видом продолжала Верочка и потянула Залину за руку. — Пошли, пошли. Дуду, мы скоро вернемся.

— Идите, идите развлекитесь немного. Ты тоже иди, Ахсар. Проводи их...

— Прогоняешь его? А может, ему неохота уходить?

— Не слушай их, Ахсар. Иди с ними. Передай мое спасибо Айсаду, — улыбнулась Дуду и протянула мне руку.

Я схватил ее руку и неожиданно для самого себя крепко, крепко сжал.

— Тише! Силу свою на мне пробуешь, что ли?

— Прости, я нечаянно. — И, выпустив руку старухи, я бросился за девушками.

Я рассказал им, как на радостях сжал руку Дуду, и они покатались со смеху.

— Не знал, как отплатить старухе за добро! И на первых порах вывихнул ей руку! — нашла и тут Верочка и вдруг совершенно серьезным тоном спросила Залину: — Посмотри мне в глаза и скажи правду: Дуду знает о ваших отношениях?

— Она спрашивала меня, и я ей все рассказывала, все.

— И?..

— Она и слушать не хочет. Ты разве сама сейчас не видела?

— У меня больше вопросов нет. Счастливо оставаться. Думаете, у меня своих личных дел нет, что ли?

И Верочка убежала.

— Оставила меня одну... Подожди, я тебе косы повыдергаю, — сказала Залина, будто действительно была огорчена ее уходом.

— Одну она тебя оставила?

Я взял ее за руку. Она повернулась ко мне и, глубоко вздохнув, взмолилась:

— Вдвоем... вдвоем... Только пусти руку! Чуть-чуть не оторвал руку у бабушки, так что пока хватит.

— Бедная рука. И Верочка ущипнула эту же руку.

— Откуда ты знаешь?

— Слышал.

— Вот противная она, так громко разговаривала. А тебе не стыдно подслушивать?

— Не стыдно.

— Слышишь, как хорошо шумит река. Посмотри, посмотри, как луна купается.

— Постоим немного на берегу?

— Хорошо, только не долго. Бабушка говорила тебе, как она скучает одна? Она ничего не скажет, но мне жалко ее. Ты бы послушал, как жалобно она причитает. Ведь у нее ничего нет

в жизни, кроме меня. Она дрожит надо мной. Ждет меня. А что я могу поделать?.. Прости, пожалуйста, сегодня мне не хотелось вести грустных разговоров. Но мне правда жалко бабушку, я ее очень люблю. А как хорошо она улыбнулась, когда посылала тебя проводить нас.

— Вот тогда-то я и сжал ее руку на радостях. Это невольно получилось.

— И мою руку тоже невольно чуть не сломал?

— Твою тоже! — сказал я и прижал ее руку к груди.

Мы еще немного походили по берегу, потом сели неподалеку от старого пня. Это место Залина выбрала сама. Как и Муради, она тоже обхватила руками старый пенёк.

«Наверно, и она знает, а то бы почему она привела меня именно сюда. Помнить она не может. Кто-то ей рассказал?» — думал я и внимательно смотрел на руку Залины, обнимавшую старый пенёк.

— Ахсар, правда, бывают такие минуты, когда хочется погрустить? Я очень люблю это место. Часто прихожу сюда. Одна, чтобы никто мне не мешал, никто не подслушивал мои мысли.

— Не надо... Я знаю. Я понимаю.

Я опустил руку ей на плечо. Она оторвала взгляд от воды и посмотрела на меня:

— Откуда ты знаешь?

— Муради рассказал. Он сидел на бурке Батырбека как раз тут, где сейчас сидишь ты.

Залина промолчала и прильнула щекой к моей ладони.

Наверно, где-то в горах шел дождь, поэтому река так бушевала. Ее тяжелые волны разбивались о берег. Откуда-то из глубины доносился грохот перекатывающихся камней.

Луна купалась, перескакивая с одной волны на другую. Неожиданно подкрались тучи и спрятали луну. Река притаилась под крутизной. Но шум ее не затихал. В темноте мне казалось, будто волны вот-вот настигнут нас, подхватят мою

Залину и унесут с собой. Я ближе придвинулся к ней. Залина повернула голову, и ее пылающая щека коснулась моей. Она испуганно отстранилась, потом зашептала мне на ухо:

— Знаешь, как мне Айсаду сказала? Сегодня вечером... Наверно, ты и Ахсар родились друг для друга. Это правда?

— Правда... Правда...

У меня перехватило дыхание. Я не мог произнести больше ни слова. Залина, как ребенок, свернулась на моей груди. Она молчала. Молчал и я. Ее пышные волосы щекотали мне лицо.

— Ты все рассказал маме? — тихо спросила она.

— Все. Я от мамы ничего не скрываю.

— Мне так было стыдно. Сначала, когда Айсаду посадила меня в машину, она меня расспрашивала об институте, о делах фермы. Рассказала мне, что к зиме закончим строительство новых коровников, что для нас будет выстроен хороший клуб. Хвалила меня, будто я чем-то отличаюсь от подруг... А потом заговорила о тебе. И днем, говорит, и ночью пропадает в поле. Книги его покрылись пылью. Он так похудел, что на нем лица нет. Стал какой-то беспокойный. То бывает веселый, оживленный, а то вдруг загрустит. Когда мы уже к селу подъезжали, она мне на ухо, чтобы шофер не слышал, сказала: «Залина, я люблю тебя, как дочь родную. И спрашиваю тебя, как родную дочь: любите вы друг друга?»

Я не то что смутилась, а даже испугалась, мне захотелось выпрыгнуть из машины. Я ничего не смогла сказать ей. Она взяла меня за локоть и продолжала: «Ты ему тоже скажи, когда увидишь его. Упрекни его за то, что он забросил свои книги. Тебя он послушает. Он любит тебя...»

«Скажу!» — неожиданно вырвалось у меня. Хорошо, что в это время машина остановилась. Я открыла дверцу и выскочила. Кажется, я даже и не попрощалась с Айсаду.

— Я извинюсь за тебя... За нас обоих...

Я хотел ее поднять на руки, но она ловко отскочила в сторону и побежала.

— Пошли, Ахсар, уже поздно, — крикнула она. — Почему ты умолк?

Залина вернулась и потянула меня за руку. Я послушно последовал за ней. Мы молча дошли до их дома. Луна выглянула из-за туч, и я увидел, как блеснули глаза Залины.

— Хороший был день сегодня. И вечер хороший. Спокойной ночи, Ахсар!

Залина помахала мне рукой и побежала.



Содержание

Дубок на скале. Перевод Н. Атарова и М. Дальцевой	5

РАССКАЗЫ

Памятник в горах. Перевод Л. Либединской	9
Коммунист. Перевод Н. Атарова и М. Даль- цевой	25
Рождение песни. Перевод Ю. Либединского	32
Крестины. Перевод Ю. Либединского . .	51
Мизинчик Заремы. Перевод Ю. Либедин- ского	60
Будильник. Перевод Н. Атарова и М. Даль- цевой	73
Габоци опять засмеялся. Перевод Ю. Либе- динского	78
Чужой. Перевод Н. Атарова и М. Дальцевой	86
Украденная песня. Перевод Ю. Либединского	93
Форели Быдзыго. Перевод Н. Атарова и М. Дальцевой	113
Гости. Перевод Н. Атарова и М. Дальцевой	120

ГОРСКИЕ ЭТЮДЫ

Мать. Перевод Н. Атарова и М. Дальцевой	125
В горах. Перевод Н. Атарова и М. Даль- цевой	129

ПОВЕСТИ

Пастух Черной горы. Перевод М. Блинковой	143
Осетинская быль. Перевод автора и А. Дми- триевой	247

Цагараев Максим Николаевич

ОСЕТИНСКАЯ БЫЛЬ

М., «Советский писатель»

1965, 400 стр.

Редактор *Н. М. Андриевская*

Художник *Е. И. Козан*

Худож. редактор *В. И. Морозов*

Техн. редактор *Н. Д. Бессонова*

Корректоры *Т. И. Воронцова* и *В. Н. Стаханова*

Сдано в набор 23/IV 1965 г.

Подписано к печати 9/IX 1965 г.

А 08904. Бумага 84×97¹/₃₂.

Печ. л. 12¹/₂ (19,75). Уч.-изд. л. 17,68.

Тираж 30 000 экз. Заказ № 260

Цена 68 коп.

Издательство «Советский писатель»

Москва К-9, Б. Гнездииковский пер., 10

Тульская типография Главполиграфпрома

Государственного комитета

Совета Министров СССР по печати

г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109

68 коп.

